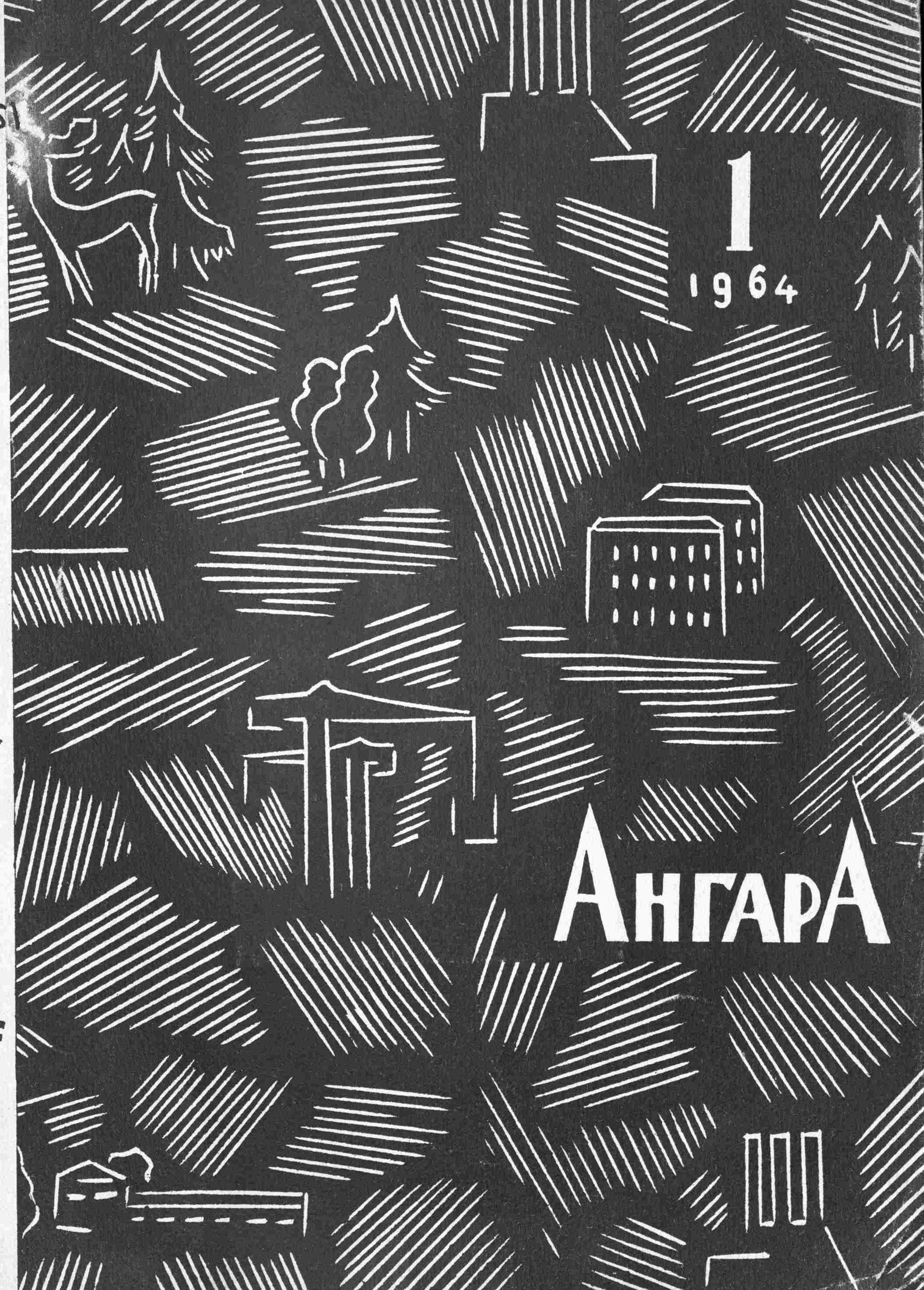
И. Дворецкий
В. Марина
А. Преловский
С. Иоффе
Л. Черепанов
Головатый
Г. Машкин



АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Орган Иркутского отделения
Союза писателей РСФСР

N 1 (62)
ЯНВАРЬ
МАРТ
1964

СОДЕРЖАНИЕ



Обложка художника *Н. Протасова*

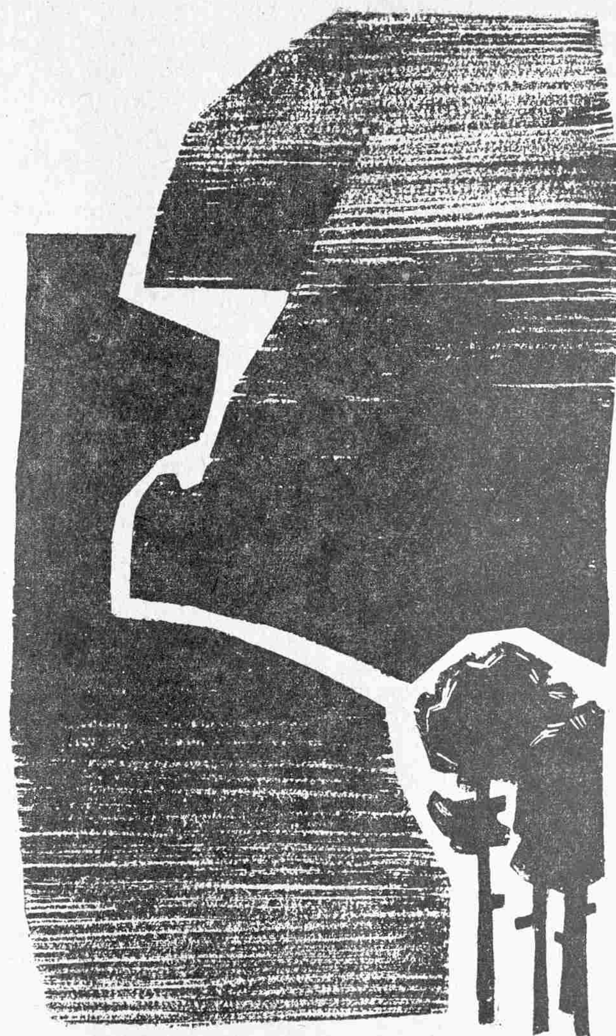
На вклейках работы студента училища искусств *Н. Морозова*

Адрес редакции:

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей РСФСР

Телефон 56—76

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1964



Игнатий Дворецкий

Источник

Повесть

Рис. художника С. Ковалева

В Давшу ведет одна надежная дорога — дорога морем. Повсюду за здешними пределами море зовется озером. В Давше никто такого названия всерьез не принимал никогда. В Давше всегда говорили: «Вернемся морем», «Уйдем мористей». Так же, как в Култуке, в Выдрино, на острове Ольхон, в Усть-Баргузине,— по всем побережьям.

Конечно, Байкал — это часть жизни. От него зависит пропитание, передвижение, выполнение производственных планов. Всем известно, что Байкал населяют нерпы, или байкальские тюлени, какими-то пустяками отличающиеся от ластоногих, плавающих в северных морях, что живут в нем таинственная живородящая рыбка голомянка, эндемичные рачки и какая-то исключительно важная для науки губка. Но не по научным данным и не по личной симпатии называют давшинцы Байкал морем, а по здравому смыслу.

Всей статью своей он не походит ни на одно из известных озер: влечет, как море, и, как море, слишком серьезен. (Нельзя отрицать, что его идиллические краски в часы покоя всегда приводили в восторг путешественников и туристов. Но десятибалльные штормы и ветры, особо отмеченные в учебниках метеорологии, изматывают волю человека). В пучине очень чистых и пресных вод разные буксирные и грузовые суда тонут так же, как и в соленых водах.

Эти повадки Байкала давно известны. Население они никогда особенно не удручали. По большой волне смельчаки, бывало, гребями ходили за многие десятки километров на небольших лодках. Высоким валом и ураганным ветром местного жителя не перепугаешь, но и называть свое море озером он не станет. И по справедливости, ничего не возвеличивая, нельзя не утверждать, что Давша всегда стояла и стоит на берегу моря.

Смотришь с берега сутки, двое, четверо суток, ни одной посудины не придет. На пятые сутки придет пароход, погудит, постоит час, порой сбросит туристов, которые тотчас уйдут в горы, и опять море одинокое. А осенью, когда Байкал становится плохой, Давша прекращает связь с миром.

Последний гудок раздается в первых числах ноября. Почта после этого не приходит два месяца, иногда три,— до ледостава. Сухопутных дорог сюда не было никогда, и даже пешему человеку, какой бы ни был он выносливый и удачливый, уйти из Давши берегами невозможно, — скалы не пустят далеко.

Пятнадцать крепких сухих домов городской постройки вытянулись над песчаным берегом лицом к морю. За домами, в огородах, которые давшинцы великими трудами ежегодно подкорчевывают и расширяют, растут маленькие елочки и небольшие кедры. За ними же сразу стоят ели и кедры большие и очень большие, то есть за стенами домов, из огородов, начинаются непроходимые заповедные леса.

А дальше идут гольцы. По ним уже в августе ложатся снега. В лесах стадами и в одиночку ходит непуганое привилегированное зверье — марал, сохатый, кабарга, медведь, рыскает бесценный соболь, ради которого и живет Давша — центральная усадьба Баргузинского соболиного заповедника.

Из пятнадцати домов десять занимают научные сотрудники, егеря, лаборанты, обслуживающий персонал. В остальных — службы.

Есть в Давше еще одно помещение. Оно находится в стороне от других — там, где лес сразу уходит вверх по склону горы. Неказистое здание, в общем, избушка из не очень толстых бревен. Стоит она на горячем источнике.

В первой половине находится раздевалка, обычный предбанничек с широкой скамьей, с почерневшим, начавшим гнить столиком из неоструганных досок, с вешалкой для одежды, тоже почерневшей, но более новой.



Здесь очень сыро и сильно пахнет чем-то похожим на запах сероводорода. Но человек, вошедший с ветра, с мороза, ничего этого не заметит. А скорее почувствует, как теплый благодатный пар, проникая откуда-то сквозь щели пола и второй двери, волнами распространяется по всему помещению, обволакивает, добираясь как бы до костей и согревая. Капельками воды пар непрерывно оседает на потолке и шершавых стенах. С потолка капает. А между бревен растет несколько грибов, желтых и чахлых. И только пол почти сух, должно быть оттого, что половицы лучше просушиваются, находясь ближе к горячему источнику, и по ним можно без брезгливости ходить босыми ногами.

Во второй половине, за дверью на проржавевших шарнирах, находится источник. Тут менее сыро и очень светло, так как есть окна. Сюда входят голыми, и тело тотчас охватывает жаркий воздух, вызывающий истому. У ног лежит озерко прозрачной воды. (К нему ведут две ступеньки из толстых плах.) Дно устилают мелкие камушки, каждый виден наперечет. Кажется, не только вода, но и воздух здесь необыкновенной прозрачности. Воздух, конечно, наполнен невидимой влагой, поэтому в солнечные дни все пространство, до потолка, пронизывают тонкие золотые лучи. Сверкает воздух, сверкает вода, сверкает каменистое дно, лежать в источнике радостно, приятно, и никто уже не замечает мокрых почернелых стен, готовых, кажется, вот-вот развалиться.

Осенью, в сентябре, каждый день уже в густых сумерках из дома, что стоит рядом с конторой, выходила крупная женщина, высокая и полная, в ватной фуфайке, в мужских кирзовых сапогах, надетых на толстые чулки домашней вязки, в грубом полушалке на голове. Она спускалась с пригорка и осторожно пробиралась тропинкой вдоль берега к источнику. Всякий раз ее сопровождал невысокий мужчина.

Сейчас он шел позади. Легко ступал по примятой траве в мягких ичигах, в руке держал зажженный фонарь. Двигались они медленно и долго.

Вдруг мужчина сказал тихим, добрым, густым голосом:

— Ты бы потише шла, Леля.

— Я уж и так,— ответила она кротко, глядя себе под ноги.

— Может, я передом пойду?— спросил он через несколько шагов.

— Мне видать, иди позади,— ответила она.

О том, кому как идти и зачем идти, говорить ей не хотелось. Пустые слова не могли помочь главному. А в слабом ее голосе слышалась суровость. И это было необходимо, чтобы держать мужчину в состоянии собранности и не дать ему упасть духом.

Она шла молча. Метрах в тридцати слева о берег шлепали волны. На крыше научной станции ослепительно вспыхивал белый про-

блесковый огонь, и вспышки эти были привычны, как тишина, как редкий шум волн.

Женщина задыхалась.

— Савелий,— сказала она, поравнявшись с магазином,— я отдохну, вот тут сяду на пенек.

Она села. Он стоял рядом терпеливо, почти не двигаясь. Желтый свет падал на ее толстые круглые колени в вязаных чулках, на пышную сатиновую юбку. Отдышавшись, она посмотрела на него. В молчании его и неподвижности — так показалось ей — она угадала нетерпение и поднялась.

— Посиди еще, Леля,— озабоченно попросил он.

— Пойдем,— ответила она тихо и решительно, как ребенку, который не знает, что ему надо. Потом неожиданно сказала:— Чо ты со мной такой возишься? Зачем я такая тебе нужна?

— Ой, Леля, что ты говоришь!— воскликнул он.

На это она промолчала,— знала его до тонкостей.

В минуту большого волнения или смущения, или просто в душевную искреннюю минуту он всегда так говорил: «Ой, Леля!» Так же он говорил с другими: «Ой, паря!», «Ой, девка!» Голос у него был густой, низкий, и вот эта маленькая ерунда, ничего не значащее «ой» выходило у него как-то уж очень сочно, убедительно. А коли сказал он «ой, Леля», то надо иметь в виду, что никакого притворства в нем нет, и если не поверить, не уступить, может он вспыхнуть, рассердиться и обложить такими словами, что хоть стой хоть падай,— и это «ой, Леля!» всегда убеждало и умиляло ее.

В предбаннике, забрав с собой фонарь, она раздевалась долго. Он сел на корточки возле прясла, закурил махорку, напряженно слушая шорохи за стеной. Слышал, она скинула сапоги и села на скамью, потом поднялась, пошла к вешалке.

— Ты здесь, Савелий?— вдруг громко, испуганно спросила она.

— Здесь,— ответил он миролюбиво, успокаивающе,— а где же мне еще быть?

Скрипнула дверь. Свет из предбанника переместился во вторую половину. Слегка всплеснула вода. Это она вошла в источник, но еще не решалась лечь. Прошли секунды, и еще раздался всплеск. Ее большое тело погрузилось в горячую воду. Он сразу поднялся, бросил окурок в траву, примял его, подошел к окну, сказал почти раздраженно, угрожающе:

— Ты смотри, Никаноровна, чтобы не больше семи-восьми минут, как тебе фельдшер Александров велел. А то наделаешь чего худого!

Она лежала в воде тихо. Он снова сел на корточки, смотрел на звезды, принюхивался к осеннему холодному воздуху и думал, что утром на землю упадет иней и тогда к обеду непременно выдастся дождь. Потом вскорости пойдут ветры и снега, наступит зима, и если не станет Лели, то что ему делать, куда ему деваться, он не знал.

Он слышал, она поднялась. Сейчас у нее могла закружиться голова, и он был начеку. Вода была сильная, давала испарину. Даже здоровый человек, полежав в ней четверть часа, чувствовал слабость.

Она долго отдыхала. Отжимала намокшие волосы. Одевалась медленно-медленно, чтобы хорошо обсохнуть и не простыть потом. Домой шли с отдыхом, разговаривая про то, хорошо ли он запер в чулане кур, разыскал ли на складе зимние рамы и нащепал ли лучин для самовара.

На полдороге она внезапно остановилась и прислушалась. Ей показалось, что с моря идет моторная лодка,— ей это часто казалось.

— Может, Павлик едет с Томпы?— спросила она.

— Погоди,— ответил он и тоже прислушался, хотя точно знал, что Пашке жить в Томпе до октября и вернуться так скоро он не сможет, работа не позволит. В последнее время она ждала его так нетерпеливо, что уж думалось как-нибудь кликнуть его оттуда, вызвать до срока. Но она не приказывала, а сам Савелий на такой шаг пока не решался.

Осень стояла сухая, теплая. На гольцах выпал снег, тайга чуть пожелтела, но такого безветрия и тепла не знал ни один давшинский сентябрь за последние десять лет. Днем вся усадьба точно вымирала. Тишина за стенами пугала Елену Никаноровну. Научные работники с лаборантами ходили походами по заповедной тайге, остальные с домочадцами и детишками засветло уплывали на лодках к покосам,— уже сгребали и ставили зароды. Попутно ведрами выносили из тайги бруснику. Понемногу начинали бить кедровый орех, но шишка была еще сырая и на колот не шла.

Савелий боялся отлучаться из дому. Изредка в паре с начальником метеостанции Семеновым или радистом Тимохой ставил сети на ночь: было у него три своих капроновых «конца», тонких, уловистых. Успел за-

солить два небольших лагуна омулей да полсотни штук навялил, но это и все, что успел приготовить к зиме.

Утром он мягко, неслышно ходил по дому в своих любимых ичигах, гремел посудой на кухне и вроде бы тихо бранился под нос.

— Ты чего?— спросила Елена Никаноровна из комнаты.

— Да так я, язви ее в душу,— смиренно и ласково откликнулся он,— так я, ты лежи.

Солнце играло на гладких половицах, крашенных желтой краской. Постепенно оно переместилось на столик, покрытый вязаной салфеткой, на книги Павлика, стопкой сложенные перед зеркалом. То прямо через дверь, то отраженным в зеркале она видела Савелия. Как всегда, он ходил по дому в истончившихся штанах военного цвета, заправленных в ичиги. Под штаны, перетянутые в тонкой талии сыромятным ремешком, подсунута выцветшая аккуратная гимнастерка,— грудь в ней выдавалась круто. Густые темные волосы Савелия уже подернулись сединой, но все еще были черны, очень черны и блестели, как напомаженные. На смуглом, сильно суженном к подбородку лице большие мягкие глаза смотрели строго. «Глаза у него отзывчивые,— думала Елена Никаноровна,— мудрые, приметливые. С глазами у него ничего не делается. По взгляду он совсем молодой, лет пятнадцать еще проживет». В ичигах он выглядел особенно цепким и ловким. Неслышный, чисто охотничий шаг так дался ему, что она, бывало, чувствовала, как он входил в комнату, а слышать не слышала.

Его маленькие коричневые руки были жилисты и очень крепки. Она вспомнила, как Павлик однажды сказал, это было давно: «Знаешь, мама, дядя Савелий, однако, на итальянца похож, такой же весь смуглый, вспыльчивый, а добрый все же...»—«Откуль ты про итальянцев знаешь?» — спросила она «В кино видал»,— сказал Павлик. Тогда она рассказала ему, что в крови Савелия течет эвенкийская кровь, бабка его была с далекого севера Байкала, из береговых эвенков. И еще она сказала с единственной целью разжечь растущую симпатию Павлика к Савелию: «Ты не гляди, что он такой невысокий ростиком, он из всех таежников таежник, у него все в руках ладится».

Она лежала в длинной полупустой комнате, на узкой кровати, натянув до подбородка зеленое жесткое одеяло. Она не любила лежать. Ей хотелось подняться, отправить Савелия за двери к мужским обязанностям, все переделать самой. Иногда она мечтала услышать песню, длинную, задумчивую, какие пели на ее родине в Курумкане. А иногда ее желания были совсем простые. Хотелось, чтобы Савелий догадался помыть полы, и тогда бы свежестью повеяло от мокрых крашеных досок. Но она знала, что он не любит такую работу, и не просила.

Он вошел в комнату, сел на корточки, прижавшись спиной к стене, закурил.

— Ты знашь, Леля, что я сейчас вспомнил,— сказал он, серьезно глядя на нее.— В позапрошлом годе соболь спустился по ту сторону гольца, имали его там по двадцать штук за сезон.

— Чо тебе об этом думать сейчас?— строго спросила она.

— Так я,— ответил он,— вспомнил что-то... Жалко, у меня товарища нет. Пашка был бы дома, сколько бы шишек набили!

— В будущем году набьете.

— Ой, Леля,— вздохнул он,— ноги у меня сегодня болят...

Она промолчала. Он что-то долго вспоминал и сказал:

— Ты знаешь, я в сорок седьмом по договору с колхозом работал, дранье драл. Работа тяжелая, а мне хоть бы что. По пять тысяч в месяц зарабатывал.

И это она тоже пропустила мимо ушей. Ей не хотелось витать в прошлом, а думать о чем-нибудь таком, что казалось несбыточным, она боялась.

— Ты о дровах думаешь, Савелий?— спросила она.

— Ой, Леля, не знаю прямо, как мне тебя оставлять!

— Иди,— приказала она,— ничего со мной не поделается, иди, Савелий.

Он поднялся и пошел. Наточил топор. Потом ушел на гору, за Давшинку, и там долго рубил тонкий сухой жердняк вниз к подножью и быстро уставал.

Она же, оставшись одна, стала думать о Павлике, о своих стариках, которые были еще живы и жили в Усть-Баргузине.

Проснувшись, она почувствовала себя хуже. Дотянулась рукой до лопаты, которой сажают в печь хлебы, постучала лопатой в стену. Подождав, постучала еще раз. За стеной как будто поняли, там послышалось движение. После этого она выпрямила под одеялом руки и ноги, старалась не двигаться, как велел фельдшер Александров, и стала ждать. Скоро пришла Оксана, жена завхоза Кехи. За ней сразу же притащилась белобрысая сопливая Лариса, похожая на отца.

— Помой полы,— попросила Елена Никаноровна. Она с трудом произносила слова.

Лариса села на пол и стала реветь.

— Хочешь, принесу голубики со сметаной,— спросила Оксана,— и с сахаром?

— Нет,— сказала Лариса и сердито мотнула головой.

— Дай ей кедровую шишку,— тихо предложила Елена Никаноровна,— там есть подсушенная шишка.

— Журнал хочу,— сказала Лариса.— Пашкин журнал!

Оксана посмотрела на Елену Никаноровну. Та спросила:

— Руки у нее чистые? Ну, дай.

Оксана мыла полы из сочувствия. Она была гибкая, ясноглазая и еще молодая, но за собой не следила. Платье было надето кое-как, грязный, замусоленный фартук, как на старухе. Волосы, золотистые, цвета спелой соломы, торчали из-под косынки в разные стороны. Ноги у нее были длинные, быстрые и всегда голые, без чулок, в тапочках.

Лариса рассматривала журнал с картинками и молчала. Оксана, напротив, все время разговаривала. Елена Никаноровна следила за ее ловкими, быстрыми движениями с придирчивой внимательностью, и в душе ее рождалась горькая, незлобивая зависть. Вместе с Оксаной в комнату врывались смех, беззаботность и такая беспутная дурашливость, какую Елена Никаноровна хотела бы осудить, да не могла. С грустью она думала, что молодость, какой неприбранной и неряшливой ты ее ни выставляй, все равно будет тянуть к себе, точно магнит.

Помыв полы, Оксана принялась чистить на кухне чугун. Весело болтала, стараясь говорить громче, нахваливала Савелия за его заботливость,— кроме чугуна не было ничего грязного. О Савелии она говорила с чувством скрытой горечи, которая, как понимала Елена Никаноровна, относилась к ее мужу Кехе.

— Какой там у вас был крик?— спросила Елена Никаноровна, когда Оксана вернулась в комнату.

— У нас каждый день крик,— равнодушно ответила Оксана. Она вытерла нос Ларисе, присела на табуретку. И сразу стала печальная и задумчивая.— Павлик письма пишет?— спросила она.

— Редко,— сказала Елена Никаноровна.

— Он мне понравился с первого взгляда,— вдруг улыбнулась Оксана.— Не знаю, рассказывал вам или нет... Когда приехал в Давшу наниматься, ночевать его у нас поставили. Он так все хорошо рассказал! Мама, говорит, у меня заболела, ей, говорит, источник нужен, я потому нанимаюсь сюда. И маму в Давшу привезу, и дядю Савелия. Наутро пошел к директору, возьмите, говорит, лаборантом, образование десять классов, умею делать чучела птиц и тяжелую работу могу, два лета работал в геологической партии. Так хорошо рассуждает! А сам — как ребенок. Иди на улицу,— прикрикнула она на Ларису.

— Не пойду,— упрямо сказала Лариса. Она бросила журнал на пол и заковыляла на кухню. Потом она вышла во двор.

— Как себя чувствуете?— спросила Оксана.

— Сегодня плохо совсем, даже говорить неохота.

— А вы не разговаривайте, я еще посижу.— Оксана рассеянно посмотрела на улицу. Там появился Кеха. Ударом ноги он широко распахнул двери сарая, выкатил старые рассохшиеся бочки, стал разбивать их, а клепку аккуратно складывать.

Елена Никаноровна ничего этого не видела, притаилась, слушала себя, пытаясь уловить, что происходит в груди. Сердце вдруг начинало биться быстро и глухо, подкатывая к горлу, и где-то под самым кадыком сильные спазмы то отнимали, то возвращали дыхание.

— Где он научился эти чучела делать, не знаю,— сказала она через силу. Ей хотелось закрыть глаза и молчать, но было ей страшно остаться одной.— Не знаю,— повторила она с трудом.— Он мне про этих чучелов никогда не говорил... Сам поехал наниматься, даже Савелию ничего не сказал.

Оксана сбросила тапочки, сидела задумчиво, одной ногой уперлась в перекладину табурета, другой водила по гладкому полу.

— Что же, он уважает Савелия?— спросила она.

— Мы с Савелием девятый год живем,— сказала Елена Никаноровна и опять прислушалась к сердцу. Дышать как будто стало вольнее. Она глубоко вздохнула.— Он к нему всегда, как к родному, относился.

— А детей у вас с ним не было?

Елена Никаноровна пошевелила пальцами, потрогала жесткое одеяло и прикрыла глаза.

— Не было детей,— сурово сказала она,— он больной, Савелий. Ему две язвы вырезали.

— Я так и думала,— кивнула Оксана,— у него в лице сильная сухощавость.

— Это у него эвенкийская сухощавость,— возразила Елена Никаноровна, не открывая глаз.— Они все такие... А операции прошли удачно. Только ему теперь надо есть помалу и часто. Он никогда про это не помнит, диету

не соблюдает, характер у него неуравновешенный. Фактически он уже несколько лет от тяжелых работ отмененный.

На время Елена Никаноровна почувствовала полное облегчение. Не стало тесноты в груди, совсем прошли спазмы. Секунду она подумала о сказанном, и ей показалось, что она что-то такое лишнее наговорила на Савелия, словно бы унизила его как мужчину.

— Раньше-то у него были дети,— сказала она безразлично, как о чужом человеке,— от первой жены. Дочка живет с той, с первой, в Усть-Баргузине. Другая дочь завсберкассой в Минусинске, а сын в Алма-Ате директором школы.— Она помолчала и добавила совсем тихо: — Жена ему сильно изменяла... Он поймал ее один раз, простил. А потом еще раз поймал с чужим мужиком. Побил он ее, видно, как следует, а она пошла на освидетельствование к доктору и в суд обратилась. Три года дали Савелию, полностью оттрубил, день в день. Вот какие подлые женщины бывают!

Оксана сорвалась с табуретки, стала ходить по комнате. Внезапно она села на кровать, в ногах Елены Никаноровны, откинула голову. По лицу ее потекли слезы.

— Ты чо? — сказала Елена Никаноровна.— Зачем ты меня расстраиваешь?

— Жить-то ведь охота, жить ведь каждому охота по-человечески,— проговорила Оксана, кривя рот от слез.— Почему мы тут живем, если ни мне тут работы не находится, ни у него заработка настоящего нету?— спросила она, и лицо ее стало злое. — Он шофер хороший, а я телефонисткой могу. Но ни в каком другом месте нам жить нельзя! А тут ему не с кем! Вот и все!— Она всхлипнула и махнула рукой.— Бабник мой Иннокентий — и весь сказ! Чего скрывать? Все знают — распущенный!

Елена Никаноровна посмотрела на нее отсутствующим взглядом. Оксана вытерла ладошкой слезы и еще раз всхлипнула.

— Я теперь согласна хоть в тайгу, хоть в берлогу, только бы не знать мне этой муки!

— Дай мне быстро воды,— сказала Елена Никаноровна,— из ведра зачерпни... накапай семь капель, вон лекарство на подоконнике...

Оксана заметалась по комнате. Выпив лекарство, Елена Никаноровна закрыла глаза, а стакан не отдала, стиснула пальцами. Лицо ее побелело и стало тоньше. Оксана словно впервые увидела его — таким молодым и красивым оно стало. Черты были правильные, лоб высокий, чистый. Нос прямой, чуть вздернутый, рот маленький с полными твердыми губами. Темно-русые волосы Елены Никаноровны были тяжелы и густы, как у девушки.

Постепенно бледность прошла. На кухне скрипнула дверь и сильно стукнула о колодину.

В дверях показался Кеха. На его скуластом лице лупилась кожа, маленькие глаза из-под темных бровей смотрели твердо и недоверчиво.

— Ты кормить думаешь?— спросил он негромким простуженным голосом.

— Уйди,— сказала Оксана.

— Я спрашиваю, ты кормить думаешь? — спросил Кеха еще потише.

— Уйди!— закричала Оксана.— Уйди от больного человека!

— Плохо мне,— тихо вздохнула Елена Никаноровна,— не стану я больше в источник ходить, сил нету. Двадцать три ванны приняла, нету улучшения. Буду лежать — что будет...

— Об этом источнике толком ничего не известно,— заметил Кеха, не глядя на нее. Он так и не вошел в комнату, стоял в дверях.— Я в него не хожу. Если я был рыбаком в молодые годы, то процентов на тридцать сердце у меня испорчено через ревматизм, а добавлять процент через источник я не стану. Я его боюсь.

Искоса оглядев Оксану, Кеха молча ушел.

— Оксана,— попросила Елена Никаноровна,— возьми листочек бумажки, я тебе продиктую письмо Павлику, пусть приедет... Оказия будет в Томпу, ты отправь. Савелию про это не говори.

Никто точно не знал силы и характера давшинского источника. Контора имела сведения о химическом составе, но как применять целебную воду — об этом всяк думал по-своему. Елена Никаноровна была теперь уверена, что источник отнимает у нее последние силы. Вечером принимать ванну она не пошла. Лежала тихо, не двигаясь, сложив руки поверх одеяла.

Савелий, сидя на низеньком и мягком сапожном стуле, сучил дратву. Он был задумчив и печален. «Какие меры принимать?— думал он.— К чему мне дратва и унты и к чему вся эта работа?» Ему казалось, что Елена Никаноровна спит, но она не спала.

Она вспомнила первого мужа и думала, что он был суровей Савелия и нелюдимей и ласковым он не был никогда, хотя и не пил и старался для дома. Подумала о наступающей зиме, о том, что так и не сшила Павлику куртку из нерпичьего меха на мол-

нии, а он мечтал о такой куртке. Припомнила по порядку все лечение, как приняла сотни уколов и ездила к специалисту в Улан-Удэ. Десятки раз побывала в Усть-Баргузинской амбулатории, слушая то одно, то другое, пока не решила, что врачевание все-таки обман и против природы бороться невозможно.

Незаметно она уснула. Ночь напролет ей снилась мычащая корова, та самая, что держали ее родители много лет назад. Корова была как будто и та и не та, но она была хорошая, дойная, с полным лоснящимся выменем. Корова бесконечно долго шла по поляне и ела цветы жарки, и мяла их копытами. Елена Никаноровна пошла за ней, ласково приговаривая: «Верба, Верба, тпруся, тпруся...» И не было в теле никакой боли, ни усталости. Она спала долго и радостно, ни разу не просыпаясь.

Утром она услышала, как пришел начальник метеостанции горбоносый Семенов.

— Тише,— вполголоса предупредил его Савелий.— Леля спит.

Семенов сказал громким свистящим шепотом:

— Мы вчера с Тимохой сети поставили. Я сейчас на покос еду, Тимоха еще спит. Ты потом с ним сети выберешь, ладно?

— Ладно,— согласился Савелий и стал собираться.

Он надел ватник, новую стоячую фуражку и пошел будить радиста. Вдвоем они спустили моторку по воду. Сети нашли километрах в двух, быстро выбрали. Омулей попалось штук тридцать, хариуса черного не считали — его только собакам. Когда вернулись и стали выбирать сеть на сушила, причалили еще две лодки.

На берегу стало шумно, весело. Кричали друг другу разные словечки, спрашивали про улов, про погоду, про зверя и про урожай на грибы, а также про то, кто куда ездил и кого видел. Савелий оживился, он любил веселье, любил, когда вокруг много людей и кипит работа, и тоже вставлял замечания в общий разговор. Но говорить ему особенно было не о чем, так как прошедший месяц он прожил безвыездно, новостей таежных не знал. Это отчасти огорчало его, но все же настроение поднялось, он почувствовал себя бодро и сбросил ватник.

Байкал покрылся мелкой рябью и блестками. Маленькие волны лениво плескались у ног. В спину Савелию пекло солнце. Утренний воздух был прян и вкусен. А напротив стоял Тимоха. В его веселых заспанных глазах прыгали искорки солнца. «Ишь ты, какой веселый парень,— радостно подумал Савелий,— маленький, подбористый, с ним можно в тайгу сходить, удалой!»

— Смотри-ка,— сказал он, улыбаясь,— утки плывут. Плывут и плывут! Вот стервы, совсем рядом и никакого дела до нас нету. Стрельнуть бы одну на обед!

— Неплохо бы,— засмеялся Тимоха.— Что только нам директор заповедника скажет?

— Да, — сказал Савелий. — Леле бы утиный супчик сварганить... Легкая пища.

Тимоха щурился от солнца. Он был в клетчатой рубахе и в зимней шапке, как настоящий таежник. Савелий опять залюбовался им.

— Радио-то слушаешь?— спросил он.

— А как же!— сказал Тимоха.— Ты чего к нам не заходишь, дядя Савелий?

— Ой, паря, я сильно политику люблю!— с восторгом в голосе сказал Савелий.— Люблю слушать про разные страны... Про наших руководителей, как они там ездят повсюду, выступают... Но ты же знаешь, отлучаться мне из дому невозможно. Вот беда, приемник наш сломался. Пашка приедет, наладит...

Он замолчал, но хотелось ему еще о чем-нибудь поговорить, наговориться бы на весь день.

— Ты Харитонова не знал?— спросил он вдруг.

— Кто это?— удивился Тимоха.

— Ну да,— согласился Савелий,— ты его и не можешь знать. Арап один.

— А что он?— спросил Тимоха.

— А в пятьдесят четвертом завхозом был у геологов,— с удовольствием сказал Савелий, и его мягкие серьезные глаза оживились,— разругался, ушел от них. Стал охотиться от промысловой артели на Горячих. Медведь у меня собаку задавил,— я того медведя потом ножиком запорол,— а тут Харитонов подвернулся... Собака у него была, он мне ее всучил за полтораста рублей. А она больна оказалась. Полкилометра зверя гнать может, а больше нет. Вот какой нечестный мошенник!

Он повздыхал, повертел головой, посмотрел на горы, покрытые лесами, и на горы за морем, синие, впечатанные в небо. Молча, задумчиво перебирал в руках мокрую тетиву. Заныла спина, и это значило, что он уже устал. Позади зашуршала галька, Савелий обернулся. Подошел рыжий охранник с дальнего кордона Петр Семеныч с мастерком в руках.

— Здорово, дядя Петро,— весело окликнул его Тимоха,— опять прибыл к нам печки чинить?

— Каждую осень, как закон,— сказал Петр Семеныч,— отзывают.— Он пожал руку

Савелию.— Там у тебя вторая комната пустует?— спросил он.

— Для приезжих, сказано, оставлена.

— Буду приходить ночевать.

Савелий несказанно обрадовался.

— Приходи! Там раскладушка есть.

— Ну, все,— сказал Тимоха,— давай, дядя Савелий, рыбу делить.

— А чо ее делить?— отмахнулся Савелий,— вон ведро. Омуль тебе, омуль мне. И весь дележ! Надо тебе, бери больше.

— Куда я его?— засмеялся Тимоха. Он поделил рыбу, схватил ведро и ушел.

Савелий понял, что и ему пора уходить. Он не знал, проснулась ли Елена Никаноровна, ему было тревожно. Но еще медлил и искал причину посидеть на солнышке и поговорить.

— Ты Харитонова не знал?— спросил он.

— Жуликоватый такой?

— Верно!— Савелий даже приподнялся, так было приятно ему, что Петр Семеныч знал-таки Харитонова. Он снова рассказал историю с больной собакой.

— Всю страну объехал этот жулик,— ответил Петр Семеныч, выслушав историю,— а теперь тут задержался. Тайга его прельстила... А все дело в том, что у него, как и у меня, четверо детей. Оно, конечно, тайга прокормит любую семью, а перспективы жизни для него тут нет, мошенничать трудно.

— Верно, верно,— сказал Савелий и опять присел. Обхватил руками колени, выгнул спину — так ему было сидеть легче.

Но теперь все уже было окончательно переговорено, а он, вроде бы страшась отправиться домой, по-прежнему что-то тянул, хотя берег был совсем пуст, и очень не хотелось ему отпускать собеседника.

— До чего же ты рыжий, Петро!— воскликнул он вдруг, точно напал на самую важную тему, без которой никак не обойтись.— Как определить твои годы? Невозможно. Ты знаешь,— сказал он, помолчав,— я последнее время к людям разным присматриваюсь, с собой все сравниваю... Вот ты как себя чувствуешь вообще?

— Как все,— усмехнулся Петр Семеныч хитрыми глазами. Щетина на его щеках была золотая, а кожа на всем носатом морщинистом лице — как красная тонкая пленочка.

— Не в том дело,— сказал Савелий и вздохнул.— У меня, понимаешь, побаливать все стало. То в спине колотье, то ломота в руках, в ногах... А я сравниваю. Ищу причину. Или уж так у всех, или у меня одного? Рано бы...

Он замолчал. Сидел, нахохлившись, небольшой такой, мудрый и огорченный.

— Пойдем к нам,— предложил он,— чаю напьешься. Лелю маленько развлечем.— Он отряхнул песок со штанов, выругался длинно и поднялся.— Ой, паря,— сказал он,— прямо не знаю, что делать. Неужели помрет Леля? Ей бы жить и жить сейчас. Кака у нее жизнь была? Никака! Мужа в войну убили. Все годы на тяжелых работах работала. На прииске тачку катала, сторожем служила... В войну дрова пилила наравне с мужиками. Ей бы только сейчас начинать жизнь! Ты знаешь, сколь ей лет?— спросил он почему-то шепотом.— Ей ведь еще и сорока пяти нету!

— Пойдем,— согласился Петр Семеныч.— я чаю выпью. А после пойду в магазин, примусь я там печь ломать.

Савелий поднял ведерко с рыбой.

Они вошли в дом, и сразу раздался испуганный голос Елены Никаноровны:

— Кто там? Посторонние не заходите!

Какие-то новые нотки почудились Савелию в ее голосе. Голос как будто послышался из далекого прошлого, когда она была здоровой и покрикивала на мужиков игриво и строго. Она так умела покрикивать в то время, что холодок пробегал по спине.

Она сидела на кровати в одной рубашке, прикрыв руками грудь. Русые ее волосы были причесаны, лицо помыто. Савелий догадался, что она вставала к умывальнику.

— Погляди, Савелий,— сказала она и осторожно приподняла ногу, положила на колено,— видишь? Ноги-то у меня седни не пухлые, отошли...

Он подошел, озабоченно поглядел на ногу, крепкой коричневой рукой погладил у щиколотки, словно бы не доверяя глазам, провел пальцами по белой коже до крепкого розового колена и улыбнулся.

— Справные у тебя ноги, Леля,— сказал он,— хорошие.— И закричал на кухню:— Слышь, Петро? Ноги-то у Лели опали, опухоли совсем нету!

— Источник у нас сильный!— ответил Петр Семеныч громким сиплым своим голосом.— Один профессор приезжал, с бородой, он в нем мылся и пил,— очень, говорит, помогает.

— Я эту ночь спала крепко,— тихо сказала Елена Никаноровна,— ни разу не проснулась.

— Ты пойди снова в источник,— ласково и убежденно сказал Савелий,— отдохни еще день и пойди. Это ничего, что день-два про-

пустишь, фельшер Александров говорил, можно и так.

Елена Никаноровна вздохнула, легла, натянула жесткое одеяло до подбородка, снова набралась терпения.

После ночного снега с дождем сумеречным утром она поднялась и стала заниматься хозяйством. И в прошлые дни она поднималась ненадолго, а нынче сама себе дала зарок, что если выдержит на ногах с утра до вечера, то окончательно поверит в избавление от болезни, постарается не думать об этом и будет жить, как все. Она даже в меру принарядилась, надела новую серую грубошерстную юбку и новую кофту из муслина. Ходила еще медленно, нагибалась не быстро, но уже чувствовала гибкость в спине. Ее литое крепкое тело постепенно оживало.

Когда она кончала уборку, зашел завхоз Кеха. Она, угадав его по громким шагам, не повернулась от стола,—было ей приятно вот так стоять, спокойно заниматься делом, как будто никогда с ней ничего не приключалось. Лишь мельком взглянув на молчащего Кеху, прошла к шкафику с посудой, не торопясь расставила белые фарфоровые чашки донышком кверху и полюбовалась ими.

Кеха первый раз видел Елену Никаноровну на ногах и, должно быть, так был поражен ее видом, что сразу ничего не сказал.

— Иль забыл, зачем пришел?— спросила она нараспев. Пошла к печи, подняла голичок и подмела на шестке остывшие угли, на которых Савелий поутру, перед уходом, варил картошку.

Кеха продолжал молчать. На нем была маленькая кожаная кепочка с пуговкой, сапоги на тонких сильных ногах аккуратно залатаны и начищены. Прислонившись спиной к двери, он отставил ногу. Елена Никаноровна почувствовала, что он разглядывает ее, и невольно подобралась под его взглядом. Ходила по кухне, делала свое дело. А он все молчал.

— А вы ничего, в теле,— сказал наконец Кеха хрипловато,— тельная, как ленок...

— Ты что это?— спросила она.

— Постоять нельзя?— сказал он поспокойнее и еще раз ощупал ее маленькими твердыми глазами.

— Стой, коли тебе интересно,— ответила она безразлично. А в глазах ее появилась усмешка, от которой Кеха нетерпеливо переступил ногами и повторил:

— Ничего, вы в теле...

— Зачем пришел?— спросила она.

— На сколько же вы будете моложе Савелия?— спросил он.— Лет на двадцать?

— Ты чо, сдурел!— воскликнула она сердито.— На десять лет я его младше. Я вижу, тебе нечего делать.

— Почему нечего,— весело сказал Кеха,— я за Савелием пришел, плотницкая работа имеется. Заработать никто не откажется.

— Какая работа?

— Ну, об этом я с ним поговорю,— сказал Кеха,— с женщинами у меня другие байки. Чего-чего, а с вашим братом умею разговаривать! Первое дело — это не торопиться.

— Чего?— протяжно спросила она.

Он переступил порог и, улыбаясь во весь рот, сказал:

— Трудно теперь будет Савелию с вами управляться. Непосильная это для него обязанность.

— Черт! Пустомеля!— яростно крикнула она ему вслед.— Савелий-то мой мужик! А ты кобель! Чистый кобель!

Она почему-то разнервничалась, ушла в комнату, села у окна, стала думать о Савелии с нежностью, как будто была виновата перед ним. От усталости у нее немного кружилась голова.

На кухне снова ударила дверь. Никаноровна вышла. Перед ней стоял Павлик и снимал рюкзак.

Она ахнула и остановилась, прижав руки к груди.

— Сыночек!— сказала она.— Сыночек приехал!

Павлик засмеялся, положил рюкзак и неловко обнял ее. Потом сразу бросился в комнату, посмотрел, что там, и вернулся. Он был очень высокий, и ей показалось, что за лето он еще немного подрос.

— Ты про болезнь-то спроси,— сказала она с укором.

— А я все знаю,— ответил Павлик.

Он засмеялся, сел на скамью, погладил коленки. Словно впервые она заметила, что руки и ноги у него огромные и длинные и он как бы даже стесняется этого.

— Водка у нас в магазине есть?— спросил он.

— Ты пить стал?— тихо спросила она.

— Не,— засмеялся Павлик,— курить пробовал, не понравилось.

— Ты бы хоть про Савелия спросил, — сказала она.

— А я знаю, здоровый.

— Ты чо все время смеешься?

— Просто,— сказал Павлик, засмеявшись.

Она отошла к окну и заплакала. Павлик притих, напряженно посидел.

— Чего плакать,— сказал он. Он подошел, смущенно потрогал ее за плечо и снова сел.

— Есть хочешь?— спросила Елена Никаноровна, высморкавшись.

— Не,— сказал Павлик,— а можно и поесть.— Он поднялся, развязал рюкзак.

— Чо у тебя там?

— Мясные консервы.

— Зачем нам мясные консервы? Они же дорогие.

— Ну и что. На-ка вот, погляди!

— Зачем тебе этот камень?

— Это колчедан. Медный колчедан.

— Зачем он тебе?

— Геологам покажу.— Он вытащил еще несколько камней, положил на стол, после этого вытащил консервы.

— Десять банок!— удивилась Елена Никаноровна. Она уже разожгла самовар и теперь накрыла на стол.

— Значит, нет водки в магазине?— спросил Павлик. Он больше не смеялся.

— Зачем тебе водка понадобилась?

— Отметить с выздоровлением... и вообще, Гусева позвать. Мы с ним вдвоем ходили, орнитолог наш.

— Позвать человека, так надо хорошо угостить и приготовиться.

— А ему ничего не надо.

— Сперва мне надо хорошо поправиться, вылечусь — тогда.

В открытую дверь, обойдя самовар, стоящий на крыльце, вошла Оксана и застеснялась.

— Гость у вас,— удивилась она.

— Сядь, посиди,— предложила Елена Никаноровна.— Видишь, какой вымахал, я ему только до плеча.

Павлик смущенно почесал за ухом.

— Садитесь,— сказал он и улыбнулся,— как живете? Хорошо?

— Хорошо,— ответила Оксана, улыбаясь.— Лариска у меня болела, сейчас ничего. Ей витамины надо, а тут нет. Такие таблетки кругленькие...

— Вот глупость,— серьезно сказал Павлик,— витамины! В тайге сколько хочешь витаминов! Кто вам внушил про таблетки?

— Мне еще в прошлом году говорили.

— Ответили бы тому человеку, что он дурак.

— Как же она ему ответит,— вмешалась Елена Никаноровна,— если он доктор?

— Доктор тоже должен быть умным. В тайге витаминов хватает, а таблетки пусть городские пьют.— Он взял со стола камень.— Смотрите, это медный колчедан. Трудно сказать, какие запасы, но там таких до черта.

Оксана подержала камень в руке и снова поправила волосы. В дверях показался Петр Семеныч. Он был в глине, вытирал руки тряпкой. За ним сразу же вошел улыбающийся Тимоха.

— Все сразу привалили!— сказала Елена Никаноровна. Она поставила на стол самовар. Лицо ее сильно порозовело.

— Приехал, значит!— крякнул Петр Семеныч, трогая пальцами рыжую щетину на щеках.— Это неплохо.

— Мы на моторке с Гусевым, остальные завтра приедут. Ты как живешь, радист?

— Законно.

— Еще бы не законно,— хохотнул Петр Семеныч. Он присел к столу и налил себе чашку чая из самовара.— Такую девку отхватил!

Оксана громко засмеялась и посмотрела на Павлика, который все время улыбался.

— Женился,— сказал Тимоха.

— Как жену зовут?

— Нелли.

— Нелли,— подтвердил Петр Семеныч, прихлебывая чай,— дочка селенгинского лесничего. Кровь с молоком! А имя дурацкое, так собачек зовут — Нелли...

— Иностранные имена,— краснея, объяснила Оксана.

— А я ее перекрестил,— засмеялся Тимоха,— вернее, она сама себя перекрестила на Наташу.

— Она у тебя фельдшерица?— спросил Павлик.

Тимоха кивнул. Павлик взял камень, подержал в руке и положил на место.

— Садитесь чаевать!— предложила Елена Никаноровна.— Почему никто не садится? Тимофей! Оксана! И ты, Павел, садись!

Суетясь, она смотрела на Павлика и думала: «Худой, совсем худой, не ел, наверное, а все таскался с этими камнями...» Он как-то сразу перестал выглядеть мальчиком. От этого ей почему-то хотелось то плакать, то смеяться.

— Садись, Оксана!— решительно прикрикнула она.

— Нет, надо мне идти,— вздохнула Оксана.

— Хорошо бы выпить с приездом,— сказал Петр Семеныч.

— Выпьем,— согласился Павлик и весело посмотрел на мать.

— Сейчас рабочее время, ты только об этом и думаешь!

— Кто пьет, тот никогда голодный не бывает. А печку сложить я и в пьяном виде смогу, еще лучше получится.

— Где только тебя приучили к выпивке?

— Я москвич,— сказал Петр Семеныч.

Павлик засмеялся и переглянулся с Тимохой. Они хорошо понимали друг друга, им уже давно хотелось куда-нибудь уйти вдвоем.

— Москвичи должны быть трезвые люди,— возразила Елена Никаноровна,— неудобно столицу опозоривать.

— А я ее не позорю. Я только добраться до нее не могу вот уже двадцать лет.

— Какие ваши годы!— захохотал Тимоха и подмигнул Павлику.

Все захохотали. Вошел Кеха. Оксана тотчас сказала ему:

— Садись, Иннокентий.

Кеха ничего не ответил, с ухмылкой оглядел компанию, неторопливо кивнул Павлику. А на Елену Никаноровну он не поглядел.

— Там ваш муж идет,— сказал он.

— Ты бы пошел, встретил,— сказала Елена Никаноровна.

Павлик отодвинул чашку и вышел. Он сбежал с крыльца. Елена Никаноровна сразу вышла за ним посмотреть, как они встретятся. Остальные, кроме Петра Семеныча и Кехи, тоже вышли. Небо на улице посветлело, тучи раздвинулись, и Байкал как будто стал шире и синее. По нему ходили белые барашки, но ветра не было. Савелий, обливаясь потом, тащил жерди. Увидев идущего навстречу Павлика, он стал улыбаться и бросил жерди на землю.

— Ух,— сказал он, вздохнув, подержался за бок и протянул руку подошедшему Павлику.— Приехал?

— Молодец, что приехал!

— Я тебе ножик привез,— вспомнил Павлик, поглядев на жерди.

— Посмотрим твой ножик,— весело отозвался Савелий.— Вот тут у меня колет, язви ее!— Он показал на бок.— А сюда отдается...— Разглядывая Павлика, он вытащил кисет и махорку.— Где взял ножик?

— Купил. На такой нож разрешение в городе полагается.

— Значит, хороший ножик. Пойдем в дом,— вдруг озабоченно сказал Савелий,— а то вон Леля ждет. Видишь, какая у нас Леля боевая стала!

С крыльца Елена Никаноровна видела, что Савелий сильно устал, но лицо у него было не грустное, а, как всегда, доброе и серьезное. Он, конечно, очень обрадовался приезду Павлика, но виду не подавал. Ему это было не нужно. А притворства он не любил. Елена Никаноровна это понимала.

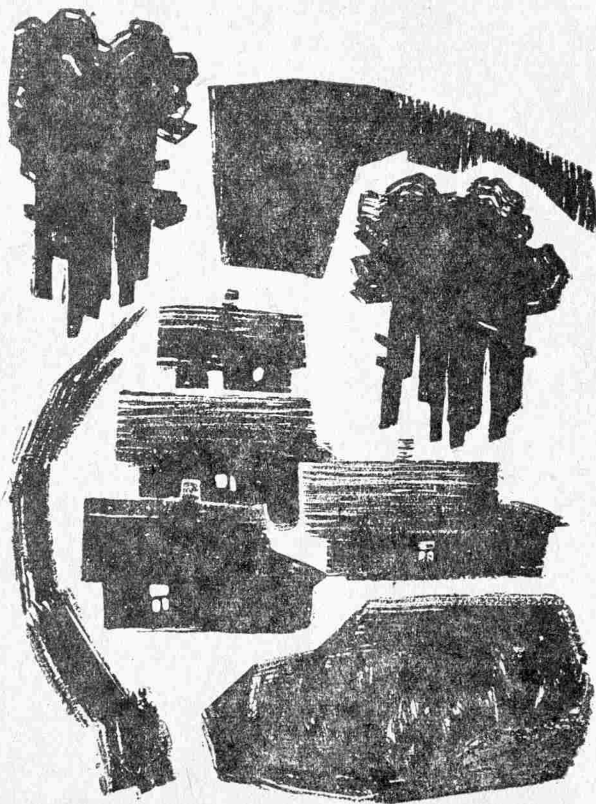
— Мужики!— крикнула она.— Чего вы там, мужики!

Ночью они опять слышали крик за стеной, а потом плач Оксаны.

— Он ее бьет?— спросил Павлик.

— Не бьет он ее,— сказала Елена Никаноровна,— просто они ссорятся. Ты бы спал, а не слушал.

— Бьет, наверное, паразит,— возмутился Павлик и быстро уснул.



Утро выдалось холодное. С моря дул ветер. Временами он был такой силы, что раздавался свист. Куры попрятались под крыльцо. Когда Елена Никаноровна вышла их покормить, они не хотели вылезать.

Возле огорода Павлик и Кеха пилили дрова, им было жарко. Накормив кур, Елена Никаноровна туже завязала платок на шее и еще постояла, глядя, как они работают. У Кехи было злое сосредоточенное лицо, а Павлик то и дело задумывался о чем-то, и казалось, что он улыбается про себя. Он бес-

престанно о чем-то думал, и ему, по-видимому, было интересно и весело наедине с собой.

Ели и кедры за огородом были очень зеленые, выше, по склонам гор, тайга уже стала наполовину желтой. Елена Никаноровна почувствовала долетевший оттуда запах смолы и даже услышала, как трещат ветви. Но это был, несомненно, обман, потому что ветер дул с моря,— каждый день теперь с ней случались подобные галлюцинации: она стосковалась по лесу, по уличным запахам и по работе. Ей нравилось, что свистит ветер. Она застегнула ватник на все пуговицы и медленно спустилась по ступенькам. Самостоятельно, без провожатого, она одна направилась в магазин, хотя ей вовсе не нужно было туда.

Выйдя из-за дома, она увидела море. Волны были небольшие, но вода была серая, как во время дождя. С криком пролетели две чайки. Она посмотрела им вслед и удивилась их необычайной белизне. Потом глубоко вдохнула воздух и почувствовала его прохладный, отрезвляющий вкус. Проходя мимо третьего дома, она заметила в окне удивленное лицо соседки и, отойдя, счастливо и спокойно улыбнулась. Она уже знала, что будет жить и что будет жить долго, что весной съездит на Баргузин, повидает стариков, будет топить печь и готовить для Савелия и Павлика, будет стирать белье, варить варенье, посолит капусту и грибы, а по вечерам станет ходить к соседям, к одним и к другим, играть в лото, разговаривать, встречать приезжих людей. Она знала, что теперь будет все хорошо.

В магазинчике, и без того крохотном, негде было повернуться из-за папиросных ящиков, наставленных вдоль стены. Завмаг Лиза стояла за прилавком в пальто и в платке, а поверх пальто был надет белый халат.

— Соль есть?— деловито спросила Елена Никаноровна.

— Есть.

— А сахар?

— И сахар есть.

— У тебя мука по тридцать две или по тридцать шесть?

— И та и другая. Почему ты все расспрашиваешь, а не берешь?

— Я сначала выясню, что мне надо, а после приду и возьму,— рассудительно ответила Елена Никаноровна.— Я теперь здоровая, меня теперь все интересует. Дочка у тебя как? Ничего?

— Бегает,— равнодушно сказала Лиза и похлопала ладошкой о ладошку — сырость хуже, чем зимой.

Елена Никаноровна отодвинулась к ящикам. Вошла полная чернобровая Тимохина жена, а за ней наблюдатель с Сосновского кордона бурят Хамаганов. Тимохина жена держалась с достоинством, но приветливо. Вежливо поздоровалась, а говорить ни о чем не стала,— обычно же, собравшись в магазине, женщины подолгу разговаривали. Она купила вафельное полотенце, носки, килограмм сахару и ушла. «Тимоха такой же маленький, как мой Савелий,— подумала Елена Никаноровна, поглядев ей вслед,— а она такая же крупная, как я». Бурят Хамаганов отсчитал четырнадцать рублей долгу, потом стал набирать продуктов домой. Взял сорок килограммов черной муки, тридцать — белой. Лиза взвешивала муку на маленьких весах в оцинкованном тазу по десять килограммов. Это продолжалось долго. Но Елена Никаноровна смотрела с интересом и ушла только тогда, когда ушел Хамаганов, ссыпав муку в мешки.

Опять она пошла по единственной, прямой, как струна, давшинской улице, радуясь покою и тишине. По улице бродили отъевшиеся зверовые собаки.



Она подошла к своему дому. Кехи и Павлика уже не было. Там, где они работали, валялись толстые чурбаки, а между ними ходили куры, разгребая опилки. Павлик, очевидно, пошел работать с Гусевым. Подумав об этом, она преисполнилась уважения к Павли-

ку, потому что та работа, которую он выполнял, была ей мало понятна.

Она решила не заходить в дом, а пойти за контору, к Савелию. Ветер подул с другой стороны, и сразу же стало теплее. Савелий стругал длинную доску, положив ее на крепкий самодельный верстак. Он был увлечен делом и не сразу заметил, как она подошла. И она не помешала ему, а сперва полюбовалась его сноровкой и азартом. Он все делал с азартом, но это ей не всегда нравилось — она хотела, чтобы он больше берег себя.

— Это ты, Леля?— спросил он, поглядев на нее ясными, чистыми глазами. Казалось, он никогда не перестанет удивляться тому, что она с ним живет.

— Конечно, я,— строго ответила она,— кому же еще тут быть?

Она присела возле на бревнышко, поглядела еще недолго, как он работает, а потом позвала обедать. Они пошли рядом молча, и она опять радовалась покою и тишине и тому, что идет с ним рядом и все у них хорошо.

Внезапно послышался сильный крик. Они ускорили шаг, почти побежали к дому.

Павлик и Кеха стояли друг против друга на соседнем крыльце, а за спиной Павлика к стене дома прижалась перепуганная Оксана.

— Отойди, сволочь!— побагровев, закричал Кеха.— Пусть она мне больше не напоминает, мне надоели ее напоминания!

— Не дам бить,— тихо ответил Павлик.

— Отойди, Павел!— закричала Елена Никаноровна.

— Ты знаешь, что такое семейная жизнь?— закричал Кеха и взял Павлика за грудь.

Павлик не сдвинулся с места, и Елену Никаноровну испугал его спокойный взгляд. Она хотела побежать и встать между ними, но вдруг заметила, что Савелий метнулся к забору и схватил здоровенный хлыст. Она знала, что он теперь непременно вмешается, и бросилась к нему, стала с ним бороться. Потом пронзительно закричала Оксана. Елена Никаноровна обернулась и увидела, что Кеха лежит на земле, прижимая ладонь к лицу, а Павлик стоит рядом и ждет, когда он поднимется.

— Вставай, вставай,— сказал Павлик почти весело, но видно было, что ему уже не очень хочется драться.

— Молодец,— искоса глядя снизу вверх, хрипло произнес Кеха,— ничего не скажу...— Изловчившись, он приподнялся, слегка оттолкнул Павлика, а потом набежал и ударил его ногой в живот.

Павлик согнулся от боли. Елена Никаноровна что-то закричала, сама не понимая, что, выпустила Савелия. Матерно выругавшись, Савелий побежал к Кехе, но она снова настигла его, схватила за плечи. Запнувшись обо что-то, Савелий упал.

— Оксана!— закричала Елена Никаноровна, держа его изо всех сил.— Ты что же стоишь, Оксана?

Оксана беспомощно тряслась от плача, а Павлик и Кеха хлестко били друг друга. По лицу Кехи размазалась кровь. Два раза подряд Павлик ударил его наотмашь, Кеха зашатался и обессилел. Но он был жилистый и хитрый, возможно даже, он притворился, что обессилел. От следующего удара он пригнулся, схватил Павлика за рубаху, а потом ударил снизу в подбородок с такой силой, что Павлик попятился немного и растянулся на земле. Сообразив наконец, что надо делать, Оксана с разбегу толкнула Кеху в спину и стала толкать все дальше и дальше. Он для вида сопротивлялся, но все же она затолкала его на крыльцо, а после в дом и захлопнула дверь.

— Вот гад,— сказал Павлик, тяжело дыша,— вот гад!— и поднялся.

— Он тебя где изувечил?— спросила Елена Никаноровна. Она сильно перепугалась.

— Ничего,— ответил Павлик.

Савелий сидел на земле и задумчиво молчал.

— Ничего,— повторил Павлик.

— Ты зачем меня держала?— с угрозой спросил Савелий.— Ты пользовалась своим здоровьем, что я тебя стукнуть не имею права? Ты это прекрати, навсегда прекрати!

— Я убийств не желаю, — ответила Елена Никаноровна,— и ты молчи, Савелий! Нам еще этого не хватает! Всего хватает... Только беды еще одной не хватает... Я с тобой после поговорю! Но, но!— прикрикнула она, видя, что Павлик смотрит на Кехину дверь.— И не думай!

— Я его бил без зла,— с горечью сказал Павлик.

— Он его бил без зла,— подтвердил Савелий,— если бы он его со злом бил, он бы его убил! Молодчина!

— Подымись с земли,— приказала Елена Никаноровна.

— Первый раз ты его хорошо ударил,— с уважением сказал Савелий,— очень славно.

— Ты что наделал?— со слезами спросила Елена Никаноровна. Вот ведь казалось — теперь все станет хорошо и начнется жизнь.—

Что наделал?— повторила она.— Разве ты знаешь, что такое семейная жизнь?

— Это не семейная жизнь,— мрачно сказал Павлик и снова посмотрел на Кехину дверь.

— Не посматривай!— предупредила Елена Никаноровна. Она задумалась, искоса поглядела на Савелия.— А с тобой я еще поговорю, подлый. Ты зачем хворостину схватил?

— Когда моих родных обижают, я терпеть не могу. Ты меня не учи, Леля.

— Идем мириться,— решительно сказала Елена Никаноровна,— придется просить прощения.

— Не будет, чтобы я просил прощения у нахала,— ответил Павлик. Он стал отряхивать штаны и рубаху.

— В семейную жизнь встревать никому не положено, иначе нам с соседями не жить. Слышишь, Павел?

— А может, и верно пойти поговорить?— неожиданно миролюбиво сказал Савелий.— Нет, конечно, надо помириться, если возможность будет...

— Разве он пойдет?— со злостью сказала Елена Никаноровна.— Разве ты его не знаешь?

— Я не люблю таких,— огрызнулся Павлик.— Я обедать пришел, а не извиняться. Если увижу, что он ее станет бить, я его не так ошарашу!— Он пошел в дом.

— А если он тебя прибьет? — закричала Елена Никаноровна, но Павлик уже не слышал.— Иди домой, Савелий.

— Я тебя одну не пущу,— сказал он.

Она вздохнула, подумала и, тяжело ступая, как будто ноги ее не несли, пошла к соседям. Савелий пошел за ней.

Кеха мылся под умывальником. Оксана стояла у стола, словно чего-то ожидая.

— Погорячились,— сказал Савелий Оксане.— Все мы горячие. Я уже не молодой, а все еще горячусь. А ссора у нас была несерьезная... Разве такая серьезная ссора бывает? Глупость — и больше ничего!

Широко расставив тонкие крепкие ноги, Кеха вытирался рваным полотенцем и молчал.

— Мы всегда жили, как полагается по соседству,— сказал Савелий Оксане,— выходит, так и надо продолжать в дальнейшем.

— Я вас приглашал?— спросил Кеха.

— Он еще молодой,— сказала Елена Никаноровна, — разве он понимает, что к чему?

Кеха жестко усмехнулся и сказал:

— Он должен понимать, что чужая семейная жизнь — это тайна для других. Я с ней всегда помирюсь, потому что у нас дочь, а с ним, еще неизвестно, захочу ли я разговаривать.

— Ты с женой всегда помиришься,— согласился Савелий.— Но в соседстве приходится жить обдуманно.

— Так вот пусть он обдумает. В общем, он свое получил, — усмехнулся Кеха. — За такие вещи, знаете, что полагается?

— Неужели мы не понимаем, что он не прав?— воскликнула Елена Никаноровна.— Но ты тоже бил не жалеючи.

— Я всегда так бью,— пояснил Кеха высокомерно.— Всегда.

— Между прочим, ты это не подчеркивай,— угрюмо пробормотал Савелий.

— Ладно!— прикрикнула Елена Никаноровна.— Соседи должны понимать друг друга,— сказала она Кехе.

— Я сказал: он свое получил. Он еще дурак и собака. Но счеты я с ним сводить не собираюсь. Исключительно ради вас я ему могу простить, потому что он ваш сын.

— Вот это товарищеский разговор,— сказал Савелий, не глядя на Кеху.

— Я всегда понимаю товарищеские отношения,— ответил Кеха.

После этого все стало хорошо. К Павлику все время шли люди. Елена Никаноровна старательно, как на работу, по нескольку раз в день ходила к соседям то за тем, то за другим, посылала Савелия, а с Павлика взяла твердое слово, что он ни о чем вспоминать не станет. Постепенно она даже пришла к выводу, что Кеха не совсем такой, каким его представляла Оксана. Кеха был, несомненно, человеком хозяйственным и домовитым, а в истории, приключившейся с ним и с Павликом, он в конце концов вел себя покладисто. А вот Оксана была неряшлива, неровна, смеялась без удержу или плакала, и возможно, неприятности ее были вызваны ею самой и никем другим. Словом, через три-четыре дня жить стало хорошо, весело, примерно так же, как в Усть-Баргузине до болезни Елены Никаноровны.

— Это просто потеха,— сказал Савелий Петру Семенычу спустя неделю.— Просто потеха, как я женился на Леле!

Петр Семеныч сидел чуть пьяненький и мечтательно поглядывал на стол, на котором уже стояли тарелки с холодцом, с засахаренной брусникой и разной другой снедью.

— Вот это еда!— причмокнул он.— Культурная еда. А чего они не идут?

— Придут, куда они денутся. Ты помнишь, Леля, как я на тебе женился? — крикнул Савелий.

— Помню, — сказала Елена Никаноровна, выйдя из комнаты. — А чего мне не помнить!

Она поставила на стол еще тарелку с тертой редькой и квас в графине. И долго еще продолжала хлопотать, поглядывая на ходики.

— Ты не переутомляйся, — предупредил Савелий, — тебе переутомляться нельзя.

— Я не устала пока, не от чего устать.

— Ох, и дородная ты, Никаноровна, — усмехнулся Петр Семеныч, — очень дородная ты баба!

— Не заглядывайся, — сказал Савелий.

— А что ему на меня заглядываться? Что я, девушка?

— Я свое откукарекал, — сказал Петр Семеныч.

— Это верно, — согласился Савелий. — Значит, не хочешь услышать рассказ, как я на Леле женился?

— А ты мне рассказывал.

— Не рассказывал я тебе, — обиженно сказал Савелий, — это ты врешь, сукин сын!

Он отошел, нахохлившись, сел в угол. Маленький такой, гибкий, с бесстрашными глазами, он походил сейчас на мальчика, на мальчика с сединой в волосах. Елена Никаноровна посмотрела на него и влюбленно засмеялась.

— Ты почему обижаешься на глупости? Вот какой ты, Савелий, не похож ты на остальных людей! Тебе все вынь да положь! А если не по-твоему — сердишься. А ты, я вижу, уже нетрезвый?

— Маленько я, — вздохнул Петр Семеныч, — совсем маленько мне завмаг подала. Вот столечко.

— Ну, так больше не пей. А то Гусев подумает, что ты пьяница.

— Я пьяница и есть, только мне пить много не удается, не на что. Поэтому я не могу быть настоящим пьяницей.

— Гусев теперь за директора, директор в отпуск пошел.

— Пусть хоть за прокурора! — засмеялся Петр Семеныч. — Мы люди вольные. Ну, ты чего замолчал? — спросил он Савелия. — Я жду, когда ты рассказывать начнешь, а ты молчишь.

— Да и рассказывать нечего.

— Как нечего? — удивилась Елена Никаноровна. — Сколь мы с тобой хороводились?

— Да уж похороводились, — кивнул Савелий. Что-то вспомнив, он удивленно усмехнулся и покачал головой.

— Ты исключительно настырный мужик, — сказала Елена Никаноровна.

— Я настырный. Я всегда был такой, с молодых лет.

— Я в огороде вожусь, — сказала Елена Никаноровна, облокотившись на чисто побеленную печь и отдыхая, — вижу, у забора маленький мужичок... Я картошку копала, думаю, что он делает?

— А я пришел посмотреть, — весело сказал Савелий, — мне люди адрес дали.

— Я-то не знала, — перебила Елена Никаноровна, — думаю, что он смотрит? Долго смотрел. Я продолжаю работать, не обращаю внимания. И сердце мне ничего не предсказывало. Потом ушел. Ничего не сказал, ушел. Странно, думаю, я всех в Баргузине знаю, а этого не знаю.

— Не заприметила, — хохотнул Петр Семеныч.

— Нет, — сердито сказал Савелий, — какой ты бестолковый, Петро! А говоришь, я тебе рассказывал... Я только из тюрьмы вернулся! Меня чужие люди к себе временно приняли. А эта сука против меня всех вооружила.

— Ты не ругайся, Савелий, — сказала Елена Никаноровна, — теперь поздно ругаться.

— Ничего еще не поздно. Я с ней еще посчитаюсь когда-нибудь.

— Всю жизнь она ему изломала, — сказала Елена Никаноровна.

— Сука, сука и есть. Даже детей против меня настроила. А что я ее ударил? Взял палочку, один раз всего и стукнул. Убить ее надо было за такие подлые дела!

— Как она живет теперь? — спросил Петр Семеныч.

— Она хорошо живет. Такие всегда хорошо живут. А ей такое наказанье надо придумать, такое каранье!..

— Ты, пожалуйста, поостынь, Савелий, — посоветовала Елена Никаноровна, — тебе волноваться вредно. Ты взялся человеку рассказывать, так расскажи до конца.

— Да, — сразу улыбнулся Савелий, — я в огороде Лелю посмотрел, очень она мне понравилась. А потом, вечером, я к ней нагрянул с одной бабенкой, знакомиться, а она ни в какую!

— Я ему дала от ворот поворот.

— Полный задний ход, — подтвердил Савелий и восторженно посмотрел на нее. — Все-таки ты настоящая молодец, Леля! Ой, какая ты молодец, просто я не знаю, как сказать!

Елена Никаноровна довольно рассмеялась.

— Почему мы с тобой раньше не встретились? — спросил Савелий с горячностью. — Почему, Петро, так бывает, что, кого надо, не



встретишь, а какую-нибудь мерзость обязательно встретишь?

В это время с улицы вбежал Павлик. Он весело отряхнулся от дождя и оглядел кухню.

— Нету, Павлик, не приходил,— сказала Елена Никаноровна.

— Где ты, Пашка, разгуливаешь?— спросил Петр Семеныч.— Тут такая еда портится!

— У Тимохи мы Бухарест слушали.— Павлик сел, загреб огромными ручищами волосы, потом вытащил расческу, стал рассеянно причесываться.— Давление падает,— сказал он.

— На сколько?— спросил Петр Семеныч.

— На две целых за три часа. На два миллибара.

— Ну что ты спрашиваешь?— возмутился Савелий.— Ты же в этом ни черта не понимаешь! Как ты сказал, Павел?

— Два миллибара.

— Ну, вот. Что ты в этом понимаешь?

— А он понимает?

— Понимает, коли говорит.

— Я понимаю, что погода мануфактурная. Погода мануфактурная, а ветер без сучков.

— Вот это ты понимаешь! И я понимаю, что осень пришла.

— Ты что взбеленился, Савелий?— спросила Елена Никаноровна.

— Надоело мне ждать.

— А я бы его не ждал,— сказал Петр Семеныч.

— Что там в Бухаресте слышно? — спросил Савелий.

— Танцевальная музыка.

— А!— кивнул Савелий и помолчал.— А ты его хорошо пригласил?

— Работали полдня вместе. Он сам хотел прийти. Он, наверно, позабыл, диссертацию пишет и позабыл... Я его сейчас позову.

Павлик ушел.

— Научники, они все рассеянные,— вздохнула Елена Никаноровна.— Я пойду маленечко полежу.

— А все-таки ты ее за жабры взял?— спросил Петр Семеныч, когда Елена Никаноровна ушла.

— Взял,— засмеялся Савелий,— первый раз ничего не получилось. Хоть мне и помогала та бабенка, получил отказ.

— Я тебе прямо ответила,— громко сказала из комнаты Елена Никаноровна,— мне мужик не нужен. Хотя мне и нужен мужик, поскольку я еще молодая женщина, я скрывать не стану, но в первую голову мне нужен отец ребенку. А без этого я могу обойтись.

— Я так и говорю, Леля,— крикнул Савелий,— я в точности так ему и говорю!

— У меня был до него один шофер,— сказала Елена Никаноровна, вдруг выйдя из комнаты. Она присела к столу и отодвинула посуду.— Месяца два у меня с ним все было хорошо, прилично... А через два месяца он сказал Павлику: «Отстань, змееныш!» Я тем же разом открыла дверь и говорю: «Вот тебе бог, а вот порог». И все.

— Я к ней три раза ходил,— сказал Савелий,— а на третий остался.

Елена Никаноровна засмеялась.

— Павлик проснулся,— сказала она,— спрашивает: «Это кто?» Я ему говорю: «Это твой отец, ты его зови тятя». — «Не буду его звать тятя», — говорит Павлик. А Савелий ему говорит. «Ты не зови меня тятя, твой отец погиб за Родину, а ты меня зови дядя Савелий». Пошел и купил ему губную гармошку...

— Значит, не хочет к нам идти товарищ Гусев,— сказал Савелий.

Вернулся Павлик, он открыл дверь и пригласил кого-то.

— Проходите.

В дверь заглянула Оксана.

— Я просто так,— смущенно предупредила она, — просто так .. Я после зайду, у меня еще дела есть...— и скрылась.

— Часто заглядывает... Не к тебе ли ходит?— спросил Петр Семеныч.

— Почему ко мне?— удивился Павлик и покраснел. Он сел на лавочку и снова причесал волосы.

— К нему, к нему,— засмеялся Савелий,— я заметил. Окрести ты ее, Пашка, и все!

— Ох, бесстыдный ты, бесстыдный!— возмутилась Елена Никаноровна.

— Дожили мы до такого возраста,— сказал Савелий примирительно, — только языком да глазами. А больше ничо не можем... Значит, отказался твой Гусев?

— Сейчас придет.

— Верно придет?— обрадовалась Елена Никаноровна.

Павлик кивнул.

— Значит, уважает тебя,— сказал Савелий.

Елена Никаноровна переставила чашки, тарелки, потом еще раз переставила. Принесла из комнаты чистое полотенце, накрыла тарелки от мух.

— Ты почему, Савелий, вечно в уголке сидишь?— строго спросила она.— Ты себя ведешь не как хозяин, а как гость. Сядет на корточки и сидит!

— Такая замашка,— сказал Петр Семеныч,— в тайге стульев нету.

— А ты почему помалкиваешь, тебе с нами скучно?— спросила Елена Никаноровна.

— Нет,— пожал плечами Павлик,— не скучно.

— Надо бы их пригласить,— показала она на стену,— все-таки они наши соседи. Только где я водки на всех наберусь?

— Ты сколько взяла?— спросил Петр Семеныч.

— Три поллитры.

— Не хватит.

— Хватит,— сказал Савелий,— я пить не буду.

— Павлик тоже не будет,— сказала Елена Никаноровна.

— Я буду,— возразил Павлик,— я хочу с Гусевым выпить.

— А ты почему не будешь?— спросил Петр Семеныч.

— Ему нельзя.

— Мне можно, но она мне не полезна,— сказал Савелий.— Была бы водка полезна, я бы ее всегда пил. Раньше-то я пил, будь здоров!

Через некоторое время пришел Гусев. Все стали говорить: «Проходите, садитесь, гостем будьте», — а Павлик стоял в стороне и молчал.

— У меня есть одно предложение,— сразу деловито заговорил Гусев, садясь за стол.— У нас есть незаполненная штатная единица. Эта единица — пожарник. Итак, — сказал он, обращаясь к Савелию,— предлагается занять эту единицу вам. Двадцать четыре рубля на новые деньги и почти никакой работы. А если случится пожар, все равно гасить будем всем колхозом.

— Ответственная работа,— сказала Елена Никаноровна.

— Всякая работа ответственна,— возразил Гусев,— надо, разумеется, смотреть за безответственными людьми, делать замечания в отношении очагов и костров, ну и держать воду в бочках, и песок чтобы был под рукой. Больше, по-моему, ничего не надо. А теперь, поскольку налито, я предлагаю выпить за здоровье хозяев.

Все поднялись и стали чокаться. Савелий немножко отпил, самую чуточку, поставил стакан на стол и поблагодарил Гусева:

— Спасибо за хорошее пожелание.

Стало шумно. Елена Никаноровна посидела и незаметно вышла. Через некоторое время вернулась с Оксаной и Кехой — у нее была такая сметка: за столом окончательно всех примирить. Кеха нес на руках Ларису.

— А!— воскликнул Гусев.— Товарищ завхоз! Очень приятно побыть в одной компании.

Сидящие за столом подвинулись. Кеха, должно быть, помня о прошлом, держался молчаливо и гордо. Павлик вторично налил в стаканы. Гусев выпил, крякнул, закусил редькой и похвалил:

— Прекрасная редька!

Молчавший с приходом Гусева Петр Семеныч решил обратить на себя внимание.

— Замечательно крякнули,— сказал он,— как мужчина вы крякнули.

— Неужели?— удивился Гусев.

— Вполне,— кивнул в ответ Петр Семеныч и засмеялся,— всяк, знаете, пьет, да не всяк крякнет!

Все засмеялись.

— А это, пожалуй, верно,— захохотал Гусев,— я сам терпеть не могу людей, которые пьют водку и при этом никак не реагируют, не морщатся и не крякают. Как думаете, товарищ завхоз?

— Я думаю так же,— степенно ответил Кеха.— У нас в городе был один тип, он каждое утро принимал по сто грамм... Он жил на пятом этаже, а я на шестом. Я на работу иду, он бежит мне навстречу каждое утро и щеки у него надутые. Я потом выспросил... Он, значит, выбегал за угол, принимал там, но не проглатывал, он бежал закусывать домой. Он был интеллигентный человек и без закуски не мог.

Гусев долго смеялся, до слез. Петр Семеныч не мог понять, почему он так долго хохочет, и смотрел на него иронически. Кеха тоже не мог понять. А Елене Никаноровне до того не понравился невежливый жеребячий смех, что она даже обиделась про себя и напустила на лицо строгость. «Смеется,— подумала она,— как будто один за столом, а все остальные чурбаны...» Павлик смотрел на Гусева влюбленно, а она вроде бы чувствовала в Гусеве какой-то глубокий холодок, хотя он был и веселым и предложил пожарную работу. Ей бы, конечно, наплевать на него, но он был начальником Павлика и от него многое зависело. Она глядела на него вежливо, но задумчиво, стараясь как-нибудь порассчетливей понять, какая же от него исходит опасность.

Павлик мигнул ей, она поднялась и принесла четвертую бутылку, которую держала в секрете. Павлик еще налил.

— Женщинам больше не надо,— быстро сказала Оксана.

Гости стали с аппетитом есть. Поев немного, Савелий закурил, вид у него был довольный и немного торжественный. Елена Никаноровна ничего не ела, а по-прежнему сидела у краешка стола и молчала. «Двадцать четы-

ре рубля,— озабоченно думала она,— это все же деньги».

— А вы, видать, ничего, выпить можете,— сказал Петр Семеныч.

— Могу,— признался Гусев,— и люблю выпить. Особенно если замерзну или устану.

— И после бани хорошо.

— Да, и после бани люблю.

— И вообще вы мужчина крепкий. Мускулатура у вас есть.

— Не жалуюсь.— Гусев пошлепал себя по руке. Он был в клетчатой рубахе с расстегнутым воротником.— В тайге трудно без мускулатуры, это вы и без меня знаете. Вот у кого мускулатура,— показал он на Павлика,— гигант!

— Какие слышны международные новости, товарищ Гусев?— почтительно спросил Савелий.

— Новости?— улыбнулся Гусев.— Понятия не имею. Я уже давно не слушал последние известия. Мне кажется, в мире все спокойно.

— Вот это бы хорошо, чтобы спокойно!— печально сказал Савелий.

— По-моему, все спокойно,— повторил Гусев.— Мне, однако, не нравится, что хозяйка дома и мать моего товарища по работе молчит и ничего нам не скажет.

— Я малограмотная женщина,— сказала Елена Никаноровна. От смущения она игриво засмеялась,— мне сказать нечего.— Потом как бы устыдилась своего смеха, опять стала серьезной. — У меня к вам просьба, товарищ Гусев, чтобы оформили в пожарники не его, а меня.

— Почему же тебя, Леля?— удивился Савелий.

— А потому, что у тебя характер нервный. В бочки ты нальешь и песок у тебя будет, а предупреждать ты не можешь. Ты станешь предупреждать — обязательно рассоришься, а потом отойдешь и простишь. А я так предупрежу, что кострами баловаться не станут.

— Можно оформить вас, можно его,— спокойно перебил Гусев,— не имеет значения. Я вам хотел сказать, Елена Никаноровна, и вам, Савелий Егорыч, что сына вы воспитали хорошего, у него есть все задатки к научной работе.

Елена Никаноровна вдруг просияла от удовольствия и опять почувствовала покой и радость, как прежде.

— У него очень хорошие задатки,— подтвердил Савелий,— парень хоть куда.

Павлик покраснел и предложил:

— Давайте-ка еще выпьем!

— Женщинам не наливать!— вскрикнула Оксана и испуганно посмотрела на Кеху.

Стало опять шумно.

— Он способный к математике,— сказал Савелий,— с детства решал задачки быстрее всех.

— Он еще никто,— закричал Петр Семеныч, он изрядно охмелел, шея налилась кровью,— он пока не ученый и не мастер. На свете есть только ученые и мастера, а все остальные шваль!

— Значит, ты хочешь сказать, что наш Павел шваль?— обиделась Елена Никаноровна.

— Не беспокойтесь,— вдруг жестко сказал Гусев.— Товарищ перебрал. Товарищ явно хватил лишнего. Вы не обижайтесь, Павлик, что я при вас говорю. Но вы человек одаренный, в вас есть замечательная деловая легкость. Я бы хотел иметь ваши задатки в определенное время. Вы еще ничего не сказали родителям?

— Нет,— мрачно мотнул головой Павлик.

Елена Никаноровна насторожилась. Петр Семеныч вдруг поднялся и пошел к дверям.

— Ты куда, Петро?— спросил Савелий.

— Не желаю,— сказал Петр Семеныч,— не желаю разговаривать с трезвыми людьми.

Он ушел.

— Ты что-то скрываешь?— спросила Елена Никаноровна.

— Нет,— ответил Павлик.

— Я направляю его в Иркутск,— сказал Гусев,— он будет работать в филиале Академии наук. Работа примерно такая же, как здесь. Устроим в университет, будет работать и учиться.

Наступила тишина.

— И когда же вы наметили, товарищ Гусев?— спросил Савелий.

— Не скоро еще,— сказал Павлик.

— И скоро и не скоро,— поправил Гусев.— Поедем последним пароходом.

— Да,— задумчиво произнес Савелий.

— Это недолго учиться,— сказал Павлик,— всего пять лет.

— Конечно, не долго,— согласился Савелий.— Ты чего, Леля, задумалась?

— Ты, Павлик, больше не пей,— помолчав, попросила Елена Никаноровна.

— Я тоже больше не буду.— Гусев поднялся.— Нам еще надо пойти в музей и поработать.

Павлик кивнул.

— Вы еще чаю не выпили,— вспомнила Елена Никаноровна.

— Чаю я бы выпил,— согласился Гусев

После этого стали молча пить чай и разошлись. Елена Никаноровна ушла в комнату и легла. Она велела Савелию, чтобы он не трогал посуду, но Савелий все как следует прибрал и вошел к ней. Она не спала.

— Ты отдохнула, Леля?— спросил он.

— Отдохнула, сейчас встану.

— Нет, ты не вставай. Ты еще поберегись.

— Поросенка нам необходимо купить,— сказала она.— Надо поплыть на Кабаний и купить.

— Надо купить,— сказал Савелий.— Теперь твоя пенсия, да плотницкая работа на всю зиму, да эти двадцать четыре рубля.

— Ты не оформляйся,— сказала она,— я оформлюсь.

— Ну, как ты хочешь, Леля,— согласился он,— все равно у нас все вместе. Мы еще Пашке пошлем.

— Он от нас не возьмет.

— Сала мы ему пошлем. Я рыбки подкопчу.

— Сала можно, все-таки гостинец.— Она помолчала.— Павлик выучится, он нас с тобой в город заберет. Будем жить в благоустроенной квартире.

— Я прямо мечтаю пожить в благоустроенной квартире,— сказал Савелий,— чтобы ванна была, водопровод, и телевизор я еще ни разу в жизни не видел.

Павлик уезжал третьего ноября. В этот день подошел «Комсомолец». Издали он казался огромным и красивым, хотя в действительности был старым рыболовецким траулером, переоборудованным для перевозки пассажиров. При подходе он дал гудок, но уже давно ждали у мостков, высунутых в море. Он бросил якорь, и его сразу же стало мотать волной и поворачивать вокруг якорной цепи то кормой к берегу, то боком.

Было всего лишь семь утра. На берегу собралось почти все население Давши, все были тепло одеты. Дни теперь были ветреными и холодными. Снег лег на вершины ближних гор. Земля подмерзла и стала твердой.

Среди других зябли Елена Никаноровна и Савелий. Рядом топтался Петр Семеныч. Он собрался к себе на кордон и объяснял начальнику метеостанции Семенову, что ему предложили сложить фундамент под новый локомобиль, но цену назначили ничтожную и он уходит в тайгу. А если цену увеличат, то вернется и сделает работу на славу и тогда в Давше наконец будет нормальный электрический свет. Горбоносый Семенов внимательно слушал и грел дыханием руки.

Моторную шлюпку, спущенную с «Комсомольца», кидало, как перышко. Из-за ветра не было слышно мотора. Павлик таскал из помещения научной станции на берег какие-то крепко заколоченные ящики. «Вот он таскает,— горько думала Елена Никаноровна,— и там, в городе, они его тоже будут заставлять что-нибудь таскать, потому что он молодой и готов делать что угодно бесплатно». Ее несколько утешило, что Гусев тоже притащил два баула. Но было ей невесело. Она знала, что учиться хорошо, но хорошо ли будет Павлику в городе одному, она не знала. Ей хотелось заплакать.

— Этот пароход,— сказал над самым ее ухом Петр Семеныч,— он для нас, как прежде престольный праздник.

— Престольный?— спросил Тимоха и громко засмеялся. Он не знал, что такое престольный праздник.

Елена Никаноровна сердито посмотрела на него. Она не могла понять, как можно смеяться в такую минуту. Но и Тимоха не понял ее взгляда. У него была молодая жена, ему с ней было еще очень хорошо, он каждый день по нескольку раз выстукивал ключом сообщения в порт Байкал и в Улан-Удэ, разговаривал с тамошними радистами, не знал одиночества и ему было чихать на то, что «Комсомолец» делает последний рейс и не придет теперь до июня.

Подошел Павлик, глубоко дыша после тяжелых ящиков, остановился возле Савелия. Он был в новой нерпичьей куртке.

— В случае чего ты мне дай телеграмму,— негромко сказал он, — и я вам дам в случае чего.

— Ты нам отбей, конечно,— ласково ответил Савелий,— а нам не про что сообщать, у нас все будет по-прежнему хорошо, ты о нас не беспокойся.

Шлюпка долго не могла причалить, на третьем заходе в нее вцепились с мостков и удержали. Никто не прибыл в Давшу — в шлюпке было лишь два матроса.

Первым рейсом на пароход отправились дети, после долгих переговоров их направляли наконец в городской интернат. Одновременно сели два научных сотрудника — муж и жена. Погрузили ящики и несколько бочоночков с рыбой. Пока шла посадка, шлюпка ходила вверх и вниз, потом ее отпустили, и она пошла с волны на волну.

На берегу внимательно следили, как она дошла, как пассажиры перебрались на палу-

бу парохода и как, развернувшись, она метнулась назад. На нее было просто жутко смотреть, казалось — вот-вот ее захлестнет ветром.

— Стихия,— вздохнул Савелий.

— Полная стихия,— подтвердил Петр Семеныч.

— Я ее всегда чувствую, стихию,— сказал Савелий,— дождь, ветер — все чувствую! Другой раз сяду — встать не могу. Что-то болит и болит. Как дальше жить, не знаю. Ой, паря, как это все быстро получается!

Пока он говорил, Елена Никаноровна внимательно смотрела на него, обняв за плечо Павлика. Он замолчал, а она все смотрела. «Господи,— думала она,— это чо же он все время жалуется? Ведь он так зря жаловаться не будет. Что же с ним происходит?»

— О чем я жалею,— сказала она, вздохнув,— жалею, что не связала я тебе теплые носки... Мне даже в голову не пришло. Очень сглуповала, Павлик!

— Зачем они мне?— виновато усмехнулся Павлик. Он топтался на месте и смотрел то на пароход, то себе под ноги. Он, должно быть, хотел, чтобы все поскорее кончилось.

— Видок у вас!— весело заметил Гусев. Он еще раз побывал на научной станции и вернулся.— Вид матерого полярника!— Он шлепнул Павлика по широкой спине.— Знаете, что мы с вами сделаем на пароходе? Первое, что мы сделаем, — это выпьем пива. Знаете, сколько я не пил пива? Примерно с апреля

— Как думаешь, Леля, мне пиво было бы полезно?— спросил Савелий.— Оно, говорят, полезно при нарывах.

— У тебя же нету нарывов.

— Конечно, нету. Но, значит, есть в ём какие-то полезные вещества.

— Ты что про это думаешь сейчас?— обиделась Елена Никаноровна.— Павлик уезжает, а ты про пиво вспомнил.

— Так не я же вспомнил,— сказал Савелий,— товарищ Гусев вспомнил. А я его никогда не любил, у меня от него живот пучит.

Елена Никаноровна отвернулась от него, засунула руки в рукава брезентовой куртки. Куртка была надета на ватник. В этой одежде она выглядела очень толстой и большой, больше всех.

— В лодке мокро,— сказала она,— все обрызгано.

— Это еще пустяки,— бодрясь, ответил Павлик,— мы один раз на Ушканьем садились с геологами, бросало так, что мотор не хватал... А потом мотор залило и нас всех залило.

— Вы синий журнал положили?— спросил Гусев, отойдя от мостков, где он пересчитал места.

— Положил,— кивнул Павлик, глядя на приближающуюся шлюпку.

— Как будто пора прощаться,— предупредил Гусев.

Елена Никаноровна понимала: Гусев очень рвался в город. Он не нравился ей.

— Рано еще,— сказал Павлик.

— Я на Ушканьем бывал,— вспомнил Савелий, глядя на шлюпку,— веселенький остров.

— На этом острове,— сказал Гусев,— вернее, на его особенностях, Ломакин построил свою теорию происхождения Байкала.

— Мотор заглох!— закричал Тимоха и побежал на мостки.

— Ну, до свиданья, дядя Савелий,— сказал Павлик. Они поцеловались, похлопали друг друга по спине. Потом он поцеловался с Еленой Никаноровной.

— Мы вас ждем,— крикнул Гусев.

— Беги,— сказал Савелий.

— Беги, а то опоздаешь,— сказала Елена Никаноровна.

Павлик побежал, сел, за ним сел Гусев. Шлюпку отпустили, она покачалась на волнах, матрос что-то дернул в моторе — и она пошла. Снова все повторилось, как во время первого рейса. Они доплыли и поднялись на палубу, но уже нельзя было различать, кто из них Павлик, а кто Гусев, лишь можно было догадаться.

С берега никто не ушел, пока шлюпку не подняли и не раздался отвальный гудок. Потом стали постепенно расходиться.

— Иди, Савелий,— попросила Елена Никаноровна, — идите с Петром. Я еще погляжу.

— Ну, постой,— согласился Савелий.

Он пошел к дому с Петром Семенычем, оглядываясь. Елена Никаноровна смотрела на удаляющийся пароход. Наверное, она плакала.

— Вот черт!— воскликнул Савелий и вытер слезу.— Когда провожаешь — горюешь, когда встречаешь — радуешься. Всю жизнь так получается. Ведь он для пользы поехал туда, с нами ему незачем сидеть, а все же обидно.

— Ничего тут обидного нет,— возразил Петр Семеныч, — мне, может, больше обидно, да я молчу.

Они вошли в дом, и Петр Семеныч принялся собирать пожитки. Савелий смотрел, как он это делает.

— Ничего,— сказал Петр Семеныч,— ничего, и мой гудок когда-нибудь загудит.

— Семья у тебя большая,— вслух подумал Савелий,— не подняться тебе.



— Не каркай,— неожиданно рассердился Петр Семеныч.— Не хочу я слушать ваши дрязги, уезжаю и вся игра!

— Ты почему болтаешь без всякого смысла?— обиделся Савелий.— Вали, уезжай!— Он ушел на кухню.

Походил там, подумал о Павлике, о том, как он сейчас на пароходе пьет пиво с Гусевым, окончательно расстроился и вдруг услышал голос Елены Никаноровны. Она громко сзывала кур: «Цып, цып, цып!» Он вышел на крыльцо. Она, действительно, сзывала кур. Вид у нее был спокойный, деловой, она даже показалась Савелию более энергичной, чем всегда. Он понял, что с отъездом Павлика все обошлось благополучно. Она вошла в чуланчик за пшеном, и он сразу нашел себе работу. Взял сухое полено, стал щепать лучины, чтобы разжечь самовар и еще раз напиться чаю, прежде чем пойти плотничать за контору. Быстро щепал и печально напевал свою любимую песню «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...»

За чаем она сказала:

— Ты знаешь, Савелий, что я надумала? Тебе надо источник попринимать.

Он почему-то долго молчал, пил чай и молчал.

— Не пойду я в источник,— сказал наконец он,— у меня есть другое средство.

— Какое у тебя есть средство? Чего ты выдумываешь?

— Я буду пить панты. Они у меня давно сохнут, второй год. Я их найду и стану пить.

— А тебе кто сказал, что тебе их полезно пить?

— Все говорят, что панты полезны. Они от всех болезней выручают. Надо было Пашке немного выделить на дорогу.

— Панты пей, но источник тоже не помешает.

— Нет,— упрямо сказал Савелий,— я буду пить.

Она знала, что его сразу не переспоришь, не стала говорить.

Их жизнь пошла по старой, проторенной колее. Зиму они встретили весело и благополучно. Была у них хорошая одежда, не новая, но теплая. Савелий временами чувствовал себя плохо, а временами очень хорошо и тогда становился необыкновенно разговорчивым, вспоминал интересные охотничьи истории. Иногда по вечерам Кеха и Оксана приходили слушать радио, которое починил Павлик. Иногда Савелий уходил на метеостанцию поговорить о политике с Семеновым. Возвращался он оттуда возбужденным и довольным. Ложась в постель, говорил: «Знаешь, Леля, про что мы толковали? Хочешь, я тебе перескажу?» «Дите!— думала она.— Чистый ребенок!» Но охотно соглашалась слушать и удивлялась, откуда он знает про политику. «Наверное, в тюрьме узнал»,— думала она.

Рассказывая в темноте, он горячился, вспоминал подробно, что он сказал Семенову

и что ему ответил Семенов. Однажды он чуть не подрался с Семеновым из-за бывшего американского президента Рузвельта. Вернулся домой совершенно взъерошенный, грозил, что устроит Семенову такое, что тот долго помнить будет. Она совершенно не могла понять, почему он волнуется и портит себе кровь из-за никому неизвестного человека.

— Зачем тебе Рузвельт? — возмущенно спросила она.— Ну, зачем он тебе понадобился? Неужели у тебя других забот нету?

Он рассердился и стал кричать:

— Я за справедливость! И всегда был за справедливость! Разве ты меня не знаешь, Леля? Все должны быть за справедливость. Если человек живет без справедливости, то он совсем барахольный человек. Рузвельт был капиталист, но еще не означает, что его не положено уважать. Он был полезный капиталист. У него был справедливый подход. Семенов имеет партийный билет, а дурак дураком. Рузвельта все наше правительство уважало в войну. Семенов воевал, а в политике он мало понимает.

Через несколько дней он все же снова пошел к Семенову. И Елена Никаноровна его строго-настрого предупредила:

— Рузвельта не касайтесь. Вам его поминать не к чему.

К тому времени отшумели на Байкале штормы — они длились весь ноябрь и часть декабря. На земле уже лежал снег, а в море пока не появилось ни одной льдинки. Потом один раз показался ледяной остров, его пригнало ветром с севера и разбило на глазах у давшинцев. Затем постояло два или три тихих дня и снова начался шквальный ветер. Он подтащил к Давше сразу несколько ледяных островов, они маячили вдали от берега на синей воде. На одном острове бегал и выл волк, вой его был слышен, когда ветер дул с моря. На другой день волк куда-то исчез. У берега стал образовываться припай, он все рос, его ломало водой, откалывало, но он все же рос, шел навстречу ледяным островам. И однажды мальчишки побежали по нему, лед гнулся, и они побоялись отойти далеко и вернулись. В эти дни была большая облачность, а туман лежал над морем, в распадках и даже на склонах гор. Когда же туман исчез, на море все побелело, затянулось, появились торосы с острыми сверкающими краями, синева пропала совершенно, то есть не стало видно воды. И вдруг начался неимоверный грохот, как канонада из множества орудий. Все вздрагивало и гудело, а тишина после казалась неправдоподобной и ненадежной. Грохот слышался почти неделю и почему-то чаще всего ночами. Люди просыпались, и многим становилось страшно, хотя все знали причину: последними усилиями море взламывало льды на больших глубинах. Но это были последние усилия.

В середине января Савелий вместе с Кехой подрядился сложить каменный фундамент под локомобиль. Это была та самая работа, от которой отказался Петр Семеныч.

Сразу они приступили к делу. В старом пустом помещении разобрали пол и выкопали небольшой котлован. Чтобы не замерзал цементный раствор, поставили железную печку, докрасна топили ее и работали в одних рубахах. Часто приходилось выскакивать за материалом на улицу, и Савелий, по-видимому из-за этого, простыл. Утром пришла Тимохина жена, смерила температуру, потом поставила банки. Она велела из дому не выходить, греться, пить аспирин.

Елене Никаноровне пришлось заменить его. Как раз кончился подвезенный камень, решили таскать носилками. Снег все еще был рыхлый, они проваливались, и Кехе было особенно трудно, потому что он шел первым. Он ругался, она же относилась к неудобству терпеливее, молчала и думала о том, сколько за работу заплатят и как она распределит деньги. Глядя на нее, Кеха дивился ее выносливости и сноровке. Когда они сели отдыхать, он сказал:

— Будь у меня такая жена, мне бы больше ничего не надо.

— У тебя хорошая жена,— сурово ответила она,— не болтай. А я бы не могла быть твоей женой, потому что ты моложе меня.

— Намного ли,— сказал Кеха,— на три-четыре года.

— Все равно. Мужчина должен быть старше и умнее. Я бы никогда не связалась с мужиком, который младше меня. За такие дела женщину всегда осуждают.

— Это предрассудок, старинное понятие.

— Ладно, не хочу про это разговаривать.

Она поудобнее устроилась на камне, поджала толстые крепкие ноги, протянула руки к печи. У нее было много забот. Надо было сшить Савелию белье, рубаху, себе сшить платье и какую-нибудь кофту. Шла зима, и надо было хорошо питаться. Савелий, как она думала, нуждался в молочной пище, и вообще ему лучше давать питательное, но не тяжелое. И зимой надо еще обязательно думать и о весне.

Кеха, отдохнув, открыл дверцу и бросил в печку несколько поленьев. Он пошуровал огонь, плюнул в него.

— Первый муж был у вас хороший?— спросил он.

— Хороший,— кивнула она.— Он меня девушкой взял и никогда ни о чем со мной не советовался. Он считал, что если женщина, то ума у нее нет. Для него женщина была все равно что мебель. А в остальном он был хороший.

— Я так полагаю из ваших слов, что вы его не любили.

— Я тогда не понимала, что такое любовь,— сухо ответила она,— жила и жила.

— А когда же поняли?

— Нечего нам говорить про любовь, Иннокентий. Для нас с тобой этот разговор бесполезный.

— Я это понимаю,— сразу и как-то необыкновенно легко согласился Кеха,— я уже понял, что вы за женщина. У меня никаких особенных планов нет.

— А что ты понял про меня?— спросила она спустя некоторое время.

Кеха долго обдумывал ответ.

— Вы женщина такая,— сказал он,— вы баловства не допустите.

Ей показалось, что он сказал не так, как думал. Но она не стала его расспрашивать, ей было не до него.

— Пойдем,— сказала она,— еще два раза сходим, этот угол доведем, а после пойду готовить обед.

Они принесли еще двое носилок, немного отдохнули, и затем она намесила свежий раствор, а он уложил несколько камней, примерил и пошел к дверям за кувалдой.

— Отойди-ка,— сказал он.

Она отошла. Он расколол самый большой камень, стал примерять куски, потом расколол другой. Она тоже колола камни и подавала ему. Он долго не мог выравнять угол. Когда же это удалось, они сняли камни на землю и принялись садить их на раствор. Он работал хорошо, он был ловким в работе, и она это оценила. Она особенно ценила в людях умение работать и любила, когда работают весело.

Между делом она рассмотрела его сапоги. Они были старенькие, дрянненькие, но аккуратно залатаны. Она разглядела все заплатки и оценила его аккуратность.

— А все-таки любовь на свете существует,— вдруг неожиданно и убежденно сказал Кеха.

Она посмотрела на него, как на глупого, и протяжно спросила:

— Неужели?

Он посмеялся, сделал вид, что не заметил насмешки.

— Факт!

— Ты о другом говорить не можешь?

— Меня этот вопрос интересует давно,— сказал Кеха, орудуя мастерком.— Никто в точности не знает, сколько раз человек может любить. У нас на автобазе был начальник АХО, он говорил, что любить можно три раза... Он три раза любил.

Она подала ему камень и схватила лопату, чтобы бросить раствор на ровную кладку. Ему как-то удалось ее очень хорошо выровнять.

— Вы сколько раз любили?— спросил он.

— Нисколько.

— Так я и поверил,— усмехнулся Кеха. Он присел и, пока она накладывала раствор, рассматривал кладку сбоку.— Вы мне правду скажите,— настаивал он,— у вас были мужчины раньше?

— Были,— неожиданно просто сказала она,— я семь лет прожила вдовой, за мной многие ухаживали. Но я сама была себе хозяйка, потому что я изучила мужчин... Мне тяжело жилось, а из них никто этого не понимает. Бывало, в доме ничего, кроме картошечки, не было, а они все одинаковые, все эгоисты.

— Савелий знает про то?

— Он меня никогда не спрашивал.

— Значит, не ревнивый...

— Все мужчины ревнивые,— сказала она,— не ревнивых нет.

— И ни разу не спросил?— искренне удивился Кеха.

— Нет,— с гордостью сказала она.— Все спрашивают, а он никогда не спросил, у него другие заботы в голове. Он охотник прекрасный, это тут он попустился охотой, потому что заповедник и запрещают. Ты когда-нибудь слыхал, каким манером он на Голоустной медведя запорол? Про это многие знают... Он с ним один на один оказался, лег под него по эвенкийскому обычаю и живот разрезал. А люди с баркаса смотрели, боялись подойти. Пойдем! Пойдем,— заторопилась она. Сняла фартук, вымыла руки в ведре и вышла, не дожидаясь Кеху.

Она открыла дверь в дом и сразу увидела Савелия. Он стоял коленками на подоконнике и что-то делал. Был он в подштанниках и в нижней рубахе.

— Что ты делаешь, бессовестный!— закричала она.— Ты в чем одетый!

— Я же один,— удивился Савелий,— в дому никого нет. А тебя мне стесняться чо? Ты же моя жена.

— Что ты там елозишь? Ты почему в постели не лежишь?

— Надоело мне, Леля. Ужас, как надоело!

— Ты что, окна промазываешь?

— Ага,— засмеялся он,— внутренние рамы. Замазку сварганил и промазываю. Там у меня олифы немного осталось, хорошая олифа, первосортная, у Оксаны мелу попросил... Я ей постучал, она пришла. Мел у них очень хороший, мягкий.

— Ты что же, в таком виде предстал перед ней?

— Ну, а чего же особенного, Леля?

— Бесстыдный ты и больше ничего!

Савелий довольно рассмеялся.

— Оксана девка добрая, не осудит!

— Она неряха.

— Это есть,— согласился Савелий.

— Она мужа содержать не может, причесаться не может.

— Так она же еще молодая, Леля! Зато она хлопотливая.

— Иди в постель, Савелий!

— Нет, — сказал он, — я лучше оденусь, мне характер не позволяет лежать. Ну их к чертовой матери, докторов! Их слушать — тогда жить не надо, я их никогда не слушался и не буду!

Он промазал замазкой рамы, оделся, пообедал и собрался на улицу.

— Пойду сделаю топорище, — сказал он

— Ты же больной, Савелий, и нам топорище сейчас не нужно.

— Нужно,— ответил он,— я знаю. Ты, Леля, не командуй, а то у нас неизвестно в дому — кто баба, а кто мужик!

Он ушел, она думала: «Как его лечить? Разве его вылечишь!» Когда она убрала со стола, помыла посуду, он пришел погреться.

— Пойди уж натаскай воды, старичок,— попросила она,— я стирать примусь.

— Ты что же меня так величать стала, Никаноровна? — удивленно спросил он.

— Да это ведь я так,— ответила она.— Был бы ты старичок, разве я бы стала называть тебя так?

— Верно,— согласился он.

Но он, по-видимому, продолжал думать об этом. Через час, когда натаскал ей полный ушат воды и сел отдыхать, глядя, как она стирает, он сказал:

— Ты у меня молодая... Скоро совсем тебе не буду нужен.

— Ты чо, сдурел?— рассердилась она, на время перестала стирать, выпрямилась над корытом, укоризненно поглядела на него и покачала головой.— Здравствуйте, Савелий Егорыч! Я вас не узнала!

— Я так говорю,— вздохнул он,— просто так говорю и все. Ты совсем молодая женщина.

— Молчи, дурачок,— сказала она, опуская руки в пенную воду,— у нас с тобой разница всего десять лет.

— Большой срок десять лет.

— Я женщина,— сказала она с презрением к себе.— Из материала-то я из какого сделана?

Это его неожиданно убедило.

— Ну да,— самодовольно засмеялся он,— материал-то у вас хреновый!

Довольно посмеиваясь, он еще посидел возле нее и пошел на двор заниматься хозяйством. Однако скоро вернулся и радостно сообщил:

— Совсем я тебе забыл сказать! Лед на Байкале совсем прочный стал. Такой толстый, крепкий, аж звенит!

— Скоро машины придут, письмо от Павлика получим.

— Он мастак письма писать,— сказал Савелий,— красиво излагает!

Это был субботний день. После стирки она уговорила его пойти в источник.

— Ты мне дай слово, что пятнадцать раз подряд сходишь,— потребовала она.

— Панты я буду пить,— снова возразил он.

— Но ты же не пьешь, только говоришь.

— Вот скоро начну.

— А ты начни и пей. Сам же говоришь, что у тебя в теле ломота.

— Почти каждый день ломота.

— Значит, надо лечиться, когда я болела, я тебя слушалась.

— А знаешь, пожалуй, верно! Буду источник принимать и панты пить. Это будет правильно. Сразу два лечения: одно снаружи, другое снутри.

Стало смеркаться, и они пошли. Был легкий морозец без ветра. Под ногами приятно поскрипывал снег. Давно кончилась облачность, прошли туманы. Небо было чистым, ясным. Днем из окна всегда были видны горы на противоположном берегу, а до них было семьдесят километров. Белое поле Байкала было розовым, и конца ему не было. Хотелось пойти по нему, побежать или покатиться. А вокруг стояла неслыханная тишина.

Савелий быстро убегал вперед по тропинке, протоптанной в снегу, а потом останавливался и поджидал ее.

— Вот тут ты всегда отдыхала,— показал он на заснеженный пень возле магазина.

Она улыбнулась и ничего не сказала. Ей так было легко шагать по морозцу, такую силу чувствовала в теле, что даже совестно было признаться.

— Ой, какая благодать!— сказала она.

— Ну, пойдем, пойдем быстрее,— позвал он,— я хочу поскорее начать лечение.

Они скоро добрались до источника, вошли вдвоем и закрылись изнутри на крючок.

Вернулись они усталые, разморенные, счастливые. Дома у них сидел Кеха, он держал на коленях Ларису и крутил приемник в темноте. Елена Никаноровна зажгла свет. Кеха увидел, какие они распаренные, медлительные, спокойные и, ухмыльнувшись, отвернулся. На нем была городская полосатая пижама, и он тоже был весь чистый, гладко причесанный, и Лариска была чистая. Елена Никаноровна сообразила, что они всей семьей ходили в баню.

Она разожгла самовар, поставила на стол хлеб и варенье. Долго разглядывала Кехину пижаму. Она видела такие пижамы в Баргузинском магазине, но там их никто не покупал и не носил.

Скоро пришла Оксана. Она была розовая после бани, на голове у нее было намотано мокрое полотенце.

— Ну, как помылись вдвоем?— вдруг многозначительно спросил Кеха.— Вдвоем-то хорошо мыться?

— Ох, паря, и не говори, как хорошо!— засмеялся Савелий.— Вам-то втроем приходится, это похуже будет.

— Не говорите глупостей при ребенке!— строго прикрикнула Елена Никаноровна.

Оксана схватила Лариску на руки, стала кружиться с ней по комнате и, как безумная, хохотать. Поглядев на нее удивленно, Савелий накинул полушубок, зажег фонарь, пошел в чулан за пантами. Его долго не было. Елена Никаноровна продолжала присматриваться к пижаме. Кеха выглядел в ней необыкновенно хорошо. Он походил в ней на кого угодно, только не на давшинского завхоза. «Вот ведь какой представительный мужчина, когда чисто оденется,— подумала Елена Никаноровна.— Очень у него славный вид». Она подошла и пощупала материю.

— Я ему купила,— сказала Оксана.— у нас еще Лариски не было. Никогда не надевал, а сегодня ему захотелось...

Вернулся Савелий с узелочком в руках.

— Сними ты это полотенце!— засмеялась Елена Никаноровна.— Пускай волосы сохнут.

Оксана развязала полотенце, распустила волосы по плечам и опять схватила Лариску на руки.

— Что это такое панты?— спросила она.— Никогда не видела.

— Молодые рога,— объяснил Кеха,— от оленя или от изюбря.

— Рога,— подтвердил Савелий.— Мне один знакомый эвенк подарил, очень ценная вещь. В них имеются такие вещества, позабыл название, даже беременным женщинам помогает.— Он развязал узелок и показал совсем маленькие рога, обросшие шерстью.— Их как делают? Три дня понемногу варят, подсушивают, после еще дня два понемногу варят. Потом вешают куда-нибудь на вышку, на солнце. Они высохнут и тогда делаются хороши, не воньки, лежат себе хоть год, хоть два готовые. Вот тут у меня в тряпочке готовые. Понюхай-ка возьми.

Оксана понюхала.

— Ну как?

— А я не понимаю.

— Напрасно, могут каждому пригодиться. Я их помелю маленько и поставлю на водке настаивать. А еще бы лучше на спирте. И буду пить по три раза по столовой ложке. Три раза в день.

— Только говоришь,— попрекнула Елена Никаноровна.

— Нет, теперь буду. Раз слово дал, значит, так.

Они сели пить чай с вареньем, и Лариска за столом уснула. Ее положили на койку в комнате.

— Надо в город перебираться,— сказал вдруг Кеха.

Оксана испуганно посмотрела на него и быстро сказала:

— Нечего нам там делать! Я городскую жизнь ненавижу! Там плохие люди живут...

— Хороших-то людей больше, чем плохих,— возразил Савелий.— Хороших везде больше,— и долго молчал.— Ой, я город люблю!— сказал он вдруг.— Прекрасная там жизнь, в городе. Посмотришь, там все так прилежно да так ловко... На здания посмотришь, так все, паря, красиво. Зову Лелю — поедем на Братскую ГЭС! Семья небольша... Пашка бы к нам приехал.

— Мечтатель ты, Савелий,— засмеялась Елена Никаноровна,— чистый ребенок!

— А что?— сказал Савелий.— Разве плохо на Братскую ГЭС? Там бы мы зажили. Там прекрасно народ живет! Не хочешь, Ле-

ля,—пригрозил он,—так я один уеду. Поеду и посмотрю.

— А я без тебя куда?

— А чо с тобой будет?— сразу обеспокоенно ответил он.— Я поеду, вернусь... Гостинец привезу. Я всегда о доме думаю, все стараюсь к дому поближе.

Кеха задумчиво сидел за столом, барабанил пальцами.

— В таких годах, как у нас с тобой, люди далеко не ездят. Нам и тут хорошо. Мы с тобой неплохо живем.

— Неплохо, есть и похуже живут,— согласился Савелий.— Но какие у нас с тобой года? Еще небольши у нас с тобой года. Вот только болезнь нападает. От этого сейчас и успеху никакого нету. Даже в голове толку нету. Ты знаешь, Кеха, какой я раньше был удалец! Вот Леля не даст соврать! Спросика ее!

— Хватит тебе, Савелий!

— А чо хватит? Я люблю прошлое вспоминать.— Он поднялся из-за стола, сел на корточки и прислонился к стене.

Елена Никаноровна знала, что сейчас он начнет вспоминать детей, первую жену, начнет ругать ее и расскажет, как побил. Она много раз слышала про это, но всегда слушала с интересом. Он горячился, и она горячилась с ним вместе, заново переживала. Иногда он говорил, что ударил ту жену три раза, а иногда — один раз, и то не палкой, а щепочкой, совсем маленькой щепочкой. И она была в восторге от того, что он хитрит, умеет скрывать то, что надо. Бывали случаи, когда он все это рассказывал ей одной, и она бросала работу, внимательно слушала, вздыхала и восхищалась его поступками и им самим. У него была ухватка сильного, смелого человека, и он был таким на самом деле — она это всегда чувствовала в нем. И она верила каждому его слову. Он был для нее мужем, и сыном, которого она хотела оберечь от всего дурного. Когда вышла за него, она его не любила. Лишь поняла тогда, что он трезвый человек и не грубый и что к Павлику относится разумно. А большего ей тогда и не нужно было. Да лишь только то, что она сразу, на первых порах открыла в нем, казалось ей огромным, замечательным — до того натерпелась она от грубости пьяных и безразличных к ее судьбе мужиков. А ведь столько вдов вокруг мучилось с детьми, и все они были ничем не хуже ее!

Но нет, тогда она еще не любила его, а лишь радовалась встрече с подходящим человеком. Она даже не доверяла надежде на долгую жизнь с ним. «Как он так может?— думала она.— Пришел с улицы и стал, как свой...»

А скоро она открыла в нем много всяких качеств и самое дорогое то, что он хорошо относится к ней, и давно хорошо относится, и не изменяет хорошего отношения. Это поражало ее. «Ходит, как все,— удивленно думала она, привыкая к нему, а привыкала она долго, привыкать ей мешала настороженность и въевшаяся в нее недоверчивость,— говорит, как все, а совсем другой человек, о себе нисколько не думает. Как такие люди рождаются? Вот ему бы образование, он пошел бы далеко. Он стал бы очень большим человеком! Конечно, разве большим человеком станешь без образования? Какой бы ты ни был, но без образования ты не очень-то заметный. А по мне он и так хорош,— думала она тогда,— я сама только читать умею, а пишу очень плохо. И хорошо, что он не слишком грамотный. Разве бы я его удержала? Если уйдет, мне такого уж не найти. Да таких добрых и нету. Надо Павлику сказать, чтобы не грубил и не спорил, я его бить буду, если станет спорить. Где я возьму такого человека? Теперь дом у нас, семья, а раньше был проходной двор. Я его бить буду, если станет грубить ему».

Она бы никогда не оценила его, если бы не настрадалась до этого одна на краю Баргузина, в маленькой избушке со своенравным мальчишкой на руках. И она полюбила его, хотя они никогда про это не поговорили. Но она знала, что полюбила его. И продолжала любить, потому что уж очень намучилась и настрадалась, когда жила одна, и еще потому, что таких людей, как он, на свете очень мало, почти совсем нету, так она один раз про себя решила и с тех пор не передумывала.

Савелий продолжал сидеть на корточках, а она ждала, когда же он начнет рассказывать. Он вздохнул и вдруг длинно матерно выругался. Оксана захохотала, а Кеха усмехнулся и ничего не сказал.

— Я тебя вот тресну ухватом за такую ругань, — сказала Елена Никаноровна. Но ей нравилось, как он ругается. Все таежники любили корявое слово, и для нее в этом тоже был признак мужественности. Тем не менее она всегда кричала на него, когда он ругался.— Ты не распускайся, а то будешь ночевать на улице. Ты знаешь, что будет, если рассержусь!

— Да я не ругаюсь вовсе, а матерюсь... Ты что, Леля, какая же это ругань? Привычка одна... Другой раз без такого слова ничего и не можешь сообразить.

— А про что тебе соображать? Спать уж пора.

— Я про Братскую ГЭС думаю. Были бы деньги, я бы съездил туда.

— Втемяшилось тебе в голову. Ему если что втемяшится, ничем не вытравишь!

— И мой такой же,— сказала Оксана,— копия.

— Ты лучше в источник ходи регулярно, а не думай о другом.

— Буду ходить, раз начал. Завтра опять пойду. И панты буду пить.— Он помолчал.— А что если я ребятам напишу, чтоб помощь оказали? А?— задумчиво спросил он.

— Десять лет мы с тобой живем, десять лет ты им собираешься написать.

— Ой, Леля, неловко как-то.

— Она их всех против тебя настроила.

— Я на них обиделся.

— И правильно обиделся. Бросили они тебя на произвол судьбы, мерзавцы!

Но он уже не слышал ее.

— Ой, Леля,— сказал он, загораясь,— а что если я съезжу к своим ребятам? Сначала в Минусинск, а после в Алма-Ату? Детишек ихних хочется посмотреть.

— Я никогда не возражала против поездки, — сурово сказала она.

— Тоскую я по ним, сильно тоскую. Другой раз ночью подумаю про них — слезы прямо текут. Жалко мне их.

— Что же жалеть их вздумал?— рассердилась она.— Они получше тебя живут.

— Они очень хорошо живут. А мне их жалко.

— Ну, все,— сказал Кеха, стукнув кулаком по столу.

— Что все?— спросила Оксана.

— Переезжаем в город!

— Никуда мы не поедем!— закричала Оксана.

— Ты чего кричишь?— удивился Савелий.

— Я знаю, что кричу! Он уже давно надумал! Он сегодня весь вечер об этом думает! А я не хочу и не поеду.— Она заплакала.— Я все его думы знаю. Пижаму надел... Мне город не нужен! И не думай, и не думай!— Она бросилась в комнату, схватила спящую Лариску.— Дочку ты у меня не получишь! Один можешь ехать!— Она выбежала и оставила дверь раскрытой.

— Вот псих!— смущенно сказал Кеха и поглядел на дверь маленькими твердыми глазами. Он поднялся, затворил дверь и снова сел за стол.

«Разве она жена ему?— подумала Елена Никаноровна.— Разве эдакому мужику такая нужна? Ей бы надо держаться гордо, а не устраивать скандалы без причины. До весны все равно уехать нельзя, а до весны его сто раз уломать можно...» Она поглядела на задумавшегося Кеху и неожиданно пожалела его.

— Ты пойди, Леля, успокой ее,— приказал Савелий,— ревет без причины.

— Не ходите,— сказал Кеха.

— Буду я тебя спрашивать!

Елена Никаноровна вышла. Кеха сразу нагнал ее.

— Не ходите,— попросил он,— я с ней сам объяснюсь.

— Бить будешь?

— Не буду,— глухо сказал Кеха. Он вдруг схватил ее за руку и сильно обнял.

Он был такой сильный, что у нее зашлось сердце.

— Ты что? Ты что, парень,— сказала она и оглянулась на свою дверь.— Ты с ума-то не сходи! Я тебе что говорю? — Она вырвалась и, размахнувшись, ударила его.

Отбежав, она оглянулась. Он стоял, опустив плечи.

— Сволочь!— сказала она и подхватила упавший платок. Она пошла в дом, в сенцах немножечко отдышалась и вошла.

— Ну что, плачет?— спросил Савелий.

— Не была я у них, не пустил он.

— Он тоже хорош,— сказал Савелий.— Ну их всех к чертовой матери, пускай сами разбираются.— Он подошел к столу, взял узелок, положил на полочку.

Она убрала со стола и пошла стелить постель. Он покурил и лег. Она тоже легла, обняла его. «Старичок ты мой, старичок,— подумала она,— лучше ты всех у меня».

— Ты вот поросенка не купил,— сказала она,— не съездил на Кабаний, поленился.

— Я сам об этом думаю. Я на охоту пойду, добуду что-нибудь.

— Тут нельзя, а где можно — далеко отсюда.

— Далеко. А придется пойти. Километров за тридцать уйдешь — можно. Летом-то на лодке хорошо можно уплыть. А летом куда мясо девать?

Он замолчал. Она думала, он уснул.

— Леля, можно тебя спросить?— негромко сказал он.

Она насторожилась.

— Про чего?

— Ты помнишь того кузнеца?

— Какого кузнеца?

— Ну, того кузнеца... Неужели ты не помнишь того кузнеца? Мы еще на покос ездили.

— На какой покос? Не помню, про что ты говоришь, Савелий?

— Ну, как же так, Леля?— Он приподнялся, и она увидела в темноте его взволнованное лицо.— Мы на покос ездили, нам дали

разрешение косить на холодном ключе, за Барабинским хутором. Неужели ты не помнишь? Целая компания собиралась и там кузнец был... он еще к тебе приставал, а я его припугнул.

— Так он вовсе не кузнец был, он был механизатором из МТС.

— Он был механизатор и кузнец, он же сам нам говорил, тебе и мне говорил, мы сидели вместе и немножечко выпили. Как же ты позабыла?

— Так ведь давно было,— равнодушно сказала она. Отодвинулась от него, легла на спину и закрыла глаза.

— Давно, конечно, мы с тобой второй год вместе жили.

— Первый!

— Нет, второй! Он все время приставал к тебе, а я ему предъявил пару слов.

— Я помню,— сказала она вдруг, стараясь польстить ему,— ты его сразу отшил от меня.— И помолчала.— Зачем ты про это вспомнил?

— Я тебя хотел спросить: у тебя чего-нибудь было с тем мужиком, с кузнецом этим?

— Я вижу, у тебя совсем ум за разум заходит! Он же мне совсем незнакомый человек, тот кузнец! И ты же рядом был каждую минуту! Как у тебя язык поворачивается?

— Ты, я вижу, все позабыла, Леля,— засмеялся Савелий.— Я же потом ушел, я хотел случаем воспользоваться... Ты помнишь, я на охоту пошел? Сутки я ходил, козу принес, мы из нее потом похлебку варили и домой мяса принесли. А меня ровно сутки не было!

— Про мясо я помню, а что ты уходил, этого, по-моему, не было.

— Было, было, Леля!

— Значит, ты меня подозреваешь, Савелий?

— Да не подозреваю я тебя вовсе! Я тогда ничего не заметил, а потом почему-то подумал вот так... Ладно, раз сердишься, давай спать.

— И не спрашивай. Мне эти глупые разговоры ни к чему!

Она лежала и думала: «Почему он про это вспомнил? Неужели услышал, как ко мне Иннокентий пристал? Может, открыл дверь и послушал?— У нее похолодело в сердце, она отодвинулась еще и посмотрела на Савелия, он спокойно лежал.— Нет,— решила она,— ничего он не слышал. Если бы услышал, он бы не лежал так. Он бы сразу взял тулку и пошел стрелять. Он бы сразу пошел, не задумался ни на минуту. Или я его не знаю, какой он отчаянный? Он бы сейчас всех на ноги поднял. Он бы не задумался, убил! Следующий раз я его не так в морду двину. Сволочь такая!— Она повернулась на бок, потом обняла Савелия, он спал. Она успокоилась.— Мы с тобой еще поживем, миленький ты мой. Еще дождемся, когда Павлик учение закончит, поедем к нему. И отдохнем как следует! И я тебя вылечу от ломоты, заставлю в источник ходить! Уж если мне источник помог, то тебе он поможет... Подумать только — что вспомнил! Память у него цепкая, а чутье у него, как у зверя...»

Она покрепче прижалась к нему и уснула.

А в Давше после долгой тишины стало внезапно шумно, в той степени, разумеется, в какой вообще могло быть шумно в Давше,— по льду пошли машины. И новости, а также разные события, возможно, мелкие, но в однообразии давшинской жизни казавшиеся крупными, совершенно захватили Елену Никаноровну и Савелия.

Первым на мотоцикле приехал участковый милиционер, пожил два дня в той самой комнате, в которой раньше останавливался Петр Семеныч. Делать участковому в Давше было нечего, и он два дня рассказывал, как ловил алиментщиков в дальней геологической экспедиции. А затем, после милиционера, и пошли машины, и заработала таежная беспроволочная связь.

Маршруты были старые, известные. От бухты Давшинской справа находится мыс Тоненький, слева — Жирянский. За Жирянским стоит мыс Черского, за ним — мыс Туркулик. За Тоненьким в свою очередь идет мыс Черный, а дальше — Большая Речка и т. д. Так по всему побережью известно и кто где живет, и где кордон, или поселок, или рыбацкий стан, или же просто зимовье. Новости из всех этих мест не только необычно интересны, но и полезны.

Словом, по льду пошли грузовые машины! Иногда по разным направлениям мимо проходили целые караваны. Теперь еженедельно появлялись новые люди. Были получены два мешка почты, газеты, письма, в том числе и от Павлика. Две машины привезли в Давшу кирпич, а следом появился и Петр Семеныч, он занял прежнюю комнату.

Те же машины привезли еще кирпич и, разгрузившись, направились на Большую Речку. А в это время прошел слух, что на Большой очень дешевы поросята. Машины задержали. Поехали Тимохина жена, Оксана, Савелий и однорукий бухгалтер заповедника. Сборы в поездку были внезапными, шумными, не успе-

ли как следует поговорить. Савелий долго махал из кузова. Машины на большой скорости ушли по льду и исчезли.

В тот же день Елена Никаноровна наконец занялась шитьем. Накупила мануфактуры и засела. Она шила возле окна, на кухне, раздвинув занавески, чтобы было светлее. Швейная машинка у нее была ручная, старинная, но Елена Никаноровна привыкла работать на ней. Машинку купил Савелий на барахолке в первый же год их совместной жизни.

Под вечер, наработавшись, пришел Петр Семеныч. Напился чаю, рассказал про житье-бытье на кордоне.

— Между прочим,— сказал он,— фундамент вы сложили негодный, я ходил смотрел. За такой фундамент надо руки поломать! Тебе, и твоему мужу, и вашему завхозу! А директора бы под суд отдал. Если я, например, прокурору в район напишу, то тюрьмы ему не миновать за халатность. Но я, конечно, писать не стану, мне с высшей точки наплевать. Такому директору все равно долго на своем посту не удержаться. Теперь государство строго ставит вопрос насчет бесхозяйственности. Так работать — государство в трубу вылетит дважды два.

— Мели, Емеля,— усмехнулась Елена Никаноровна.

Она слушала и спокойно шила. Она знала, что фундамент получился крепкий и выдержан по размерам, хотя и не так красиво выглядит. Ей нравилось сидеть за машинкой. В такой работе была домовитость, хозяйственность, покой, в такой работе была солидность — было бы чего шить, вернее, было бы из чего!

— Ты бы квашню поставила,— предложил Петр Семеныч, — утром пирогами бы накормила.

— Ничо я делать не буду до приезда Савелия,— ответила она.— Муж вернется — я вам пирогов настряпаю с груздями.

Приоткрылась дверь, и показался Кеха.

— Иди-ка, Петр,— позвал он.

Петр Семеныч как-то очень быстро собрался и ушел.

Оставшись одна, Елена Никаноровна зажгла свет и продолжала шить. Ей хотелось как можно больше сделать к возвращению Савелия. Примерно через полчаса пришли Петр Семеныч и Кеха. Кеха вынул из кармана полушубка две бутылки водки и громко поставил на стол.

— Вам тут распивочное заведение?— строго спросила Елена Никаноровна.— Идите куда-нибудь, здесь не дам пить. Ты почему к себе не идешь?

— Я дочку усыпил,— засмеялся Кеха. Он был в хорошем настроении.— Видали, снег пошел на улице? Такая теплынь!

— Ты бы дала какую-нибудь закусь,— попросил Петр Семеныч,— и села бы, чем ругаться ни с того ни с сего.

— Нет уж, пить я с вами не буду.— Она встала, принесла им соленого омуля и луковицу, достала из шкафчика тарелку с хлебом.

— А грибочков не дашь?

— Нету грибочков. Ты их мне собирал?— рассердилась она и снова села за машинку.— Не собирал, так нечего просить.

Петр Семеныч молча почистил омуля, помыл руки под умывальником и сел за стол. Она шила, даже не слушала, о чем говорят. Они сперва разговаривали вполголоса, а потом расшумелись.

— Мне бы денег собрать,— вздыхал Петр Семеныч,— я бы в Москву укатил! Москва есть Москва! Там народ другой. Мастеровые люди, у всех товарищеское отношение.

— Метро я видел,— сказал Кеха,— а больше там ничего интересного нет. Сутолока одна. Ну, еще театры.. А сколько в них можно ходить? Раз-два — и надоест!

— Там, парень, аромат другой! Двадцать лет, как я сюда забрел, а привыкнуть не могу.

— Зачем забрел? Там бы и жил!

— Я правильно забрел, каждому хочется на жизнь поглядеть. Жениться не надо было. Ездить можешь где угодно, а жениться надо на родине. Те женщины, которые там, они для нас домашние, они наши привычки лучше понимают, они поэтому помягче, а здешние бабы для нас суровые. Я, парень, когда в Давшу приезжаю, меня тоска берет.

— А там? Там у тебя совсем тайга да два дома.

— Там моря нет, вот в чем дело. А тут, как на море посмотришь, тоска. За морем горы, а там еще горы... Я на них двадцать лет гляжу, а добраться никак не могу!

— Выпей с нами, Никаноровна,— позвал Кеха.

— Ладно, ладно, не сговаривай,— ответила она. — Я вам не мешаю, и вы мне не мешайте.

— Пойдем к Семенову,— неожиданно предложил Петр Семеныч, пригорюнившись.

— У нас одна осталась. Чо мы к нему пойдем?

— Две будет. Я Семенова знаю. К нему если с водкой придешь, он обязательно свою выставит. Он такой человек, не жмот.

Кехе не хотелось уходить.

— Капельку бы выпила,— предложил он,— слышишь, Никаноровна?

Пить она не согласилась, и они ушли, забрав с собой непочатую бутылку.

Она оставила работу, напилась чаю, убрала со стола. После, не торопясь, перечитала письма Павлика. Его пока не приняли в университет, опоздал. Гусев, по-видимому, ничем не помог, он улетел в Москву. Про работу Павлик ничего не писал, но сообщил, что получает восемьдесят пять рублей, и описывал город. Письма были коротенькие. Спрятав их, она подумала в одиночестве о Павлике, потом постелила постель, погасила свет.

В комнате было светло от снега на улице, и все было видно. Она легла. После этого прошло минут тридцать или сорок, и пришел Петр Семеныч.

Он долго топтался, наверное, искал выключатель. Она хотела окликнуть его, но раздумала — он бы занялся разговорами и не дал спать. Она слышала, он пошел по кухне, запнулся о табуретку. «Совсем окосел»,— сонно подумала она. Потом, когда он вошел к ней, она увидела, что это Кеха. Он сразу же сел в ногах у нее. Сон слетел с Елены Никаноровны, и она испугалась.

— Ты зачем?— спросила она.

— Поговорить, — ответил он.

Она поняла, что он пьян, но не сильно.

— Если ты поговорить, то приходи завтра,— она старалась говорить рассудительно и спокойно.— И сойди с кровати, Иннокентий, не место тебе тут сидеть.

— Я вас не трогаю,— тихо сказал он.

Они были вдвоем во всем доме. Она знала, что он когда-нибудь вот так придет к ней. Никогда не думала об этом, но знала.

— Муторно мне от всей моей жизни,— сказал он,— только вы одна можете понять! Поговорите со мной, как человек с человеком.

— Ну, про что ты хочешь говорить?— спросила она.— Ты пришел поговорить, а люди подумают бог знает что.

Она уже знала, что он не уйдет. Он не ответил. Поднялся, покачнулся и остановился, как бы в задумчивости. Все-таки он был сильно пьян.

— Слышишь, Петр идет!— сердито сказала она.

— Петр упал у Семенова... Упал и все,— пробормотал он и наклонился к ней.

Она быстро устала бороться с ним. «Господи, господи», — сказала она несколько раз, чувствуя, что слабеет. Еще крепко держала его за руку, но обессилела, замерла, тупо скосив глаза в подушку. Он, наверное, почувствовал, что она покоряется, скинул сапоги и бросился на кухню, закрыть двери. Когда он вернулся, она плакала. Лежала перед ним в короткой рубашке, не прячась, не стыдясь, не подняв одеяла, упавшего на пол, и сильно плакала и вся тряслась от слез.

— Ну, чего ты, ну, чего!— грубо сказал он, немного опешив.

Она заплакала еще громче.

— Ну, чего,— повторил он.

Внезапно она вскочила и побежала. Он нагнал ее на улице. Она стояла босыми ногами на снегу, держа ватник, который успела ухватить по дороге.

— Уходи, уходи,— с ненавистью сказала она.

Казалось, она не чувствует, что стоит на снегу. Он изумленно посмотрел на ее ноги, выругался и пошел прочь.

После этого она вернулась домой, набросила крючок. «Где Петр?— подумала она, прислонившись к стене.— Где Петр?» Неожиданная догадка осенила ее. Она стала быстро одеваться. Спешила, дергала на себе одежду, скручивала перепутанные волосы. Ей пришло в голову, что они сговорились. Она знала жизнь маленьких поселков, многие годы прожила в них, знала, что это значит. Одевшись кое-как, она выбежала на улицу. Она знала закон: что бы ни случилось, виновата женщина. Ей надо было восстановить честь, о другом она не думала. Инстинктивно она понимала сейчас, что если не сбережет доверие Савелия, то уже ничего не останется главного в жизни.

«Подлые, подлые»,— зло повторяла она, быстро идя по поселку. Дойдя до метеостанции, громко, решительно постучала к Семеновым. На кухне зажегся свет, Семенов спросил через дверь:

— Кто там?

— Где Петр?— закричала она,— он у вас спит?

— Давно ушел,— ответил Семенов,— давным-давно, вместе с Кехой.

Она сбежала с крыльца, секунду постояла, думая, куда пойти. Обостренное чутье помогло ей. Злая, она повернула к источнику. Теперь не сомневалась, что они сговорились. Через несколько минут она нашла Петра Семеныча. Согревшись в тепле, он действительно спал здесь, облокотившись о столик. Она нащупала его в темноте и с силой выпихнула на улицу.

— Иди домой, мерзавец!— закричала она.— Иди сейчас же домой!

Она погнала его по тропе, как гонят скотину. Он смущенно и послушно шел впереди

нее и молчал. В доме она ударила его кулаком в грудь. Ударила сильно, замахнулась еще, он отскочил. Она была такая злая и разгневанная, что он не посмел возмутиться, а лишь, виновато моргая, спросил:

— Ты за что дерешься?

— Ах ты, гадина!— закричала она.— Ты с Савелием дружбу водишь, а ко мне завхоза прислал! Собирай свои вещи и уходи! Чтобы я тебя больше не видела здесь!

— Куда же я ночью денусь?— виновато спросил он.

— Спать пошел... в источник!— закричала она.— Все сообразили, сволочи! Дескать, Савелий заболел, а ей это нужно... И ты готов стараться! Что ты теперь станешь болтать? А? Что станешь говорить?

— Да я знал, что у него ничего не получится,— смущенно признался Петр Семеныч,— это вроде шутки получилось, вроде спора...

— Я тебе покажу спор!

Петр Семеныч бочком присел у стола и ничего не отвечал — он был не только смущен, он был к тому же сонным и не совсем трезвым. Она поняла, что он про нее ничего плохого не подумал, это ее немного успокоило.

Долго еще кричала на него, а потом ушла в комнату. Он тоже ушел к себе и лег. Прошло, наверное, несколько часов. Она встала с постели, зажгла свет, торопливо накинула халат и зашла к нему, разбудила.

— Не смей ничего Савелию говорить про свою подлость,— сурово предупредила она,— слышишь? Я спать не могу, как подумаю, что он сделает с вами!

Она вернулась на постель и не спала почти совсем. Теперь она знала, что где бы ни оказалась вместе с Кехой, что бы ни случилось, она уже никогда не ослабеет. Ей казалось, что она раньше немного жалела его. «До чего же подлый,— с гневом подумала она,— до чего подлый!» А себя в мыслях она называла самыми грубыми мужицкими словами.

На другой день к обеду вернулся Савелий. Она встретила его напряженно — очень боялась. Трудно было вообразить, что сделает Савелий, если вдруг что-нибудь заподозрит или узнает. Лаской, добром с ним можно было сделать все, что угодно, но обида делала его безумным. Он мог собрать вещички и уйти куда глаза глядят, не подумав, что делает. Она это знала, и ее так это страшило в первые дни, что не находила места. То был ее старый страх перед одиночеством и перед той жизнью, которую испытала она, живя одна среди мужиков на приисках и на лесозаготовках, да и в Усть-Баргузине.

Савелий вернулся нездоровым. Возился на дворе, оборудуя теплый свинарник, и вдруг захандрил. Как-то сразу почувствовал слабость, стал жаловаться на сердце. И вечером она повела его в источник.

На этот раз он пошел без возражений, согласился сразу. Вошел в помещение один и лежал в воде минут десять. Она прохаживалась на дворе и думала, что Кеха перестал заходить и как бы Савелий не придал значения этому.

Из источника после горячей воды Савелий вышел возбужденным. Заявил вдруг, что на другой же день пойдет на охоту с Тимохой и Семеновым — они предупредили, что собираются.

Однако утром проснулся вялым, хмурым и никуда не пошел.

— Сил нет, Леля,— сказал он,— вот чувствую, нету сил и нету.

Она молча мыла посуду и думала, не съездить ли ему в Усть-Баргузин к фельдшеру Александрову. Александрову она верила теперь больше, чем всем докторам на свете.

Она помыла посуду, а он лег на лавку. Она сердилась, что он лежит на жесткой лавке, когда лучше лечь в комнате на постель. Но в комнате он ложиться не хотел.

— Мне тут тебя видно,— объяснил он,— поэтому мне легче лежать.

Она принесла ему подушку.

— Почему я сердце стал чувствовать?— спросил он.— Колматит и колматит!

— А воздуху хватает?

— Воздуху вроде хватает.

— Тогда ничего опасного нету,— сказала она убежденно.

— Ой, рано я рухнул, Леля!— воскликнул он.

— Не говори глупости!— рассердилась она. Она почти не сомневалась, что он быстро поправится, если займется лечением серьезно,— так же, как в фельдшера Александрова, она свято верила теперь в действие источника.

Он молчал, потом спросил:

— Ты как думаешь, мне ванн пятнадцать хватит?

— Ванн двадцать тебе хватит,— уверенно ответила она.

— Ох, долго это ходить надо,— вздохнул он и улыбнулся.

Вскоре Петр Семеныч снова ушел к себе на кордон — теперь до следующей осени. И Елена Никаноровна совсем успокоилась. Опять жизнь потекла по-старому. Все было

бы хорошо, но Савелий понемногу терял силы. Внешне это было почти незаметно, но она понимала по его голосу, и по настроению также, и по тому, как работал.

Однажды она нашла старую ученическую тетрадку с переписанными давным-давно молитвами, ушла на берег Байкала и помолилась за него. Знала, что молитва вряд ли поможет, но, помолившись, сильнее поверила, что он вылечится.

Лечить его было трудно, невозможно заставить надолго лечь в постель. В источник он ходил кое-как, пропускал. Его томило сидение на месте. Его так огорчало, что Тимоха и Семенов почти каждую субботу теперь встают на лыжи и отправляются на охоту и всякий раз приносят мясо! Каждый раз, когда собирались они, собирался и он. С вечера непременно говорил, что пойдет.

— Конечно, пойди,— уверенно говорила Елена Никаноровна,— давно ж не ходил.

— Ой, давно не ходил,— подтверждал он возбужденно и волновался, предвкушая будущий день,— завтра я обязательно пойду. Хватит мне за твою юбку держаться!

И опять она говорила ласково и уверенно:

— Пойди. Я тебе котомочку приготовила. Яичек я тебе утром отварю, рыбки солененькой положу.

Она знала, что он не пойдет, сил не хватит, а старалась говорить с ним, как с человеком здоровым и сильным.

— Ты бы побрился,— говорила она.

— Обязательно побреюсь,— отвечал он,— утром я себя оскоблю.

Волосы у него были по-прежнему черные и блестящие, но на бороде появилась седина.

— Брейся, брейся сейчас же,— говорила она весело,— а то на постель не пущу тебя! Слышишь, что старуха тебе заявляет?

А дни наступили сплошь солнечные. И солнце было ослепительным. Впрочем, зимнее давшинское солнце всегда было ослепительным. От него сверкало все на дворе. Оно заливало комнату и кухню.

Как-то с крыш закапала вода. Это еще не была весенняя капель, до весны оставалось много времени, но теплынь стояла необычайная. А лед на Байкале был все еще недвижим. Только теперь он был не просто белым, а белым с синевой. Солнце же сверкало такое, что долго смотреть на лед было невозможно, болели глаза.

В тот день Елена Никаноровна опять затеяла стирку. Савелий помог натаскать воды, а потом устал и лег полежать. Он часто соскакивал с лавки, видя, что ей надо помочь, вылить помои, налить в корыте. Он совершенно не мог не помогать ей, она давно привыкла к этому, но всегда удивлялась и была благодарна.

Она стирала, а он весело и хвастливо рассказывал ей, как торговал поросенка на Большой Речке.

Около одиннадцати из конторы неожиданно принесли денежный перевод от Павлика на двадцать пять рублей. На бланке сообщения было написано несколько слов: «Здравствуйте, мама и дядя Савелий! Живу хорошо. Работаю благополучно. Начал заниматься баскетболом. Тренируюсь в спортзале клуба милиции. Все в норме!»

— «Все в норме»— это как по-нашему «полный порядок»,— возбужденно объяснил Савелий.— Он головастый парень, наш Павлик. Ты не беспокойся, он еще поступит куда надо!

— Деньги прислал,— с радостным удивлением сказала Елена Никаноровна,— я ему говорила не присылать, а он прислал.

— У него душа такая,— тихо засмеялся Савелий,— у него душа такая же, как у меня.

— Он добрый, Павлик, и такой же обидчивый, как ты.

— Я лягу, Леля,— сказал он вдруг.

— Поспи, а я достираю. Я тебя потом разбужу.

— Ей-богу, храпану! Только я здесь, возле тебя.

Он лег на лавку, сказав:

— Ты полоскать пойдешь — я белье отнесу к проруби и обратно отнесу домой.

Поспать ему сразу не удалось — неожиданно пришел Кеха. Остановился, как обычно, у дверей, дальше не захотел пройти. Елена Никаноровна наклонилась над корытом, не поглядела на него.

— Ну, что скажешь, Иннокентий?— весело спросил Савелий.

— Елена Никаноровна, вы у нас пожарником оформлены?— официально сказал Кеха.

— Она оформлена,— ответил Савелий,— а чего хотел?

— Директор велит бочки покрасить.

— Директор мне ничего не говорил,— сказала Елена Никаноровна, не поднимая лица.

— Вам не говорил, а мне говорил. Значит, пойдите и покрасьте!

— Не ходи,— вдруг рассердился Савелий.— Пусть наряд оформят! А после пусть заплатят!

— Наряд никто оформлять не станет,— возразил Кеха.

— А ты пойди, Леля, и спроси директора.

— Не пойду я его спрашивать,— облегченно вздохнула она.

— А я тебе говорю, пойди! И спроси!

— Ты чего кричишь, Савелий? Это, наверно, входит в мои обязанности? Я пожарником оформлена, а ничего не делаю.

— Ты, Леля, со мной не спорь!— сказал Савелий.— Пожарники никогда ничего не делают.

— В общем, сказано покрасить,— сухо повторил Кеха и вышел.

Елена Никаноровна молча продолжала стирать. Савелий снова лег на лавку.

— Ну ладно, я покрашу,— задумчиво сказал он.— Завтра мне лучше станет, я бочки покрашу. А ты все же пойди к директору и спроси!

Через минуту он уснул. Повернулся лицом к стене и спал все время, пока она стирала. Она сложила белье в ведра и понесла к морю полоскать, а он все еще спал.

У проруби Елена Никаноровна неторопливо выложила белье на лед. Все вокруг сверкало от солнца. Солнце уже постепенно скатывалось вниз, но по-прежнему оно было ослепительным. Руки у нее покраснели от холодной воды, но она не обращала внимания, для нее это была привычная работа, как всякая другая.

Методично, неторопливо опускала она в прорубь мокрое тяжелое белье и полоскала. У нее было хорошо на душе. Она разгорелась от работы, с интересом поглядывала вокруг, глубоко дыша. На ней была телогрейка, подпоясанная для удобства широким военным ремнем, и сапоги, потому что в валенках к проруби никак нельзя подступиться. Она видела, как от локомобильной шли Семенов и Хамаганов, о чем-то разговаривая. Они остановились возле магазина и постучали в дверь. Лиза открыла им и, по-видимому, обругала, но в магазин впустила. Вся Давша была красной и розовой от солнца. Все дома были видны, как на ладони.

Со льда были видны не только дома, но и сосны на горах и даже узкая и темная санная дорога, уходящая в сторону ближнего гольца через распадок. Елена Никаноровна выпрямилась, чуть передохнула, потом отжала туго-натуго две последние простыни, уложила в ведро. Еще передохнула, подняла ведра и пошла. Шла осторожно, прочно ставя толстые ноги, чтобы не поскользнуться на льду.

В то же время у дома, на косогоре, внезапно показался Савелий. Он был в расстегнутом ватнике, махал ей рукой и что-то кричал. Она не могла расслышать слов и остановилась, не выпуская ведер. А он уже бежал к ней быстро, по-мальчишески легко. Чтобы сократить путь, он бежал прямо через Давшинку, где еще с лета оставались жерди, положенные вместо мостика. Пройдя по ним, он миновал полузаснеженные лодки, осенью вытащенные на берег через устье Давшинки. А подбежав близко, озабоченно закричал:

— Ты что же, Леля, не разбудила меня! Я же сказал, что белье оттащу!— Сильно запыхавшись, он остановился рядом и улыбнулся. Глаза у него были ясные.— Я, понимаешь, проснулся, тебя нет... Думаю, побегу, встречу Лелю. Тяжело тебе? Наверно, руку сильно нарезало дужкой? Белье, оно ведь очень тяжелое! Дай-ка я понесу. Нет, ты давай мне оба ведра!

Она отдала ему ведра. Он схватил их и опять легко побежал к Давшинке мимо лодок — он ничего не умел медленно делать. Она, усмехаясь и дивясь его мальчишеской прыти, покачала головой, идя за ним.

У нее нехорошо подвернулась портянка в сапоге, она остановилась, присела на колодину и мгновенно переобулась. Савелий был уже далеко. Чтобы не лезть в глубокий снег, он пошел с ведрами по скользким жердям и вдруг упал, и ведра вырвались из его рук, несколько штук белья выпало. «Вот дурной,— подумала она,— не может делать спокойно!» Он лежал под жердями в снегу и почему-то не поднимался.

Она закричала:

— Савелий!

Он не отозвался, лежал, даже не пытаясь подняться. Елена Никаноровна еще раз закричала и побежала к нему. Он лежал, странно откинув правую руку, и совсем не двигался. С ходу упав на колени, она пыталась приподнять его, но не смогла, он был тяжелый. Сердце у нее сжалось от страшного предчувствия.

— Савелий,— позвала она плача,— Савелий!

— Ой, плохо, Леля,— сказал он едва-едва слышно чужим, непохожим голосом.

Ей показалось, что он прощается с нею. Она упала рядом с ним в снег, сильно обхватив его спину, как бы закрывая от чего-то дурного. Потом сразу поднялась на ноги, но ноги у нее подкосились. Он больше не ответил на ее слова. Она стала кричать, просто инстинктивно кричать, потому что чувствовала уже, что никто помочь ей не может. После упала в снег, ожидая людей, и ей уже не хотелось ни кричать, ни двигаться.

Как сквозь сон слышала голоса, кто-то хотел приподнять ее, взяв под мышки. Она поднялась, отчужденно села на жерди, покрытые

ледяной корочкой, потом полулегла на них. Видела, как уносят Савелия, и не было у нее сил подняться, страшный страх охватил ее.

Она не могла поверить в то, что это конец. Просто нельзя было поверить, что это может случиться так сразу, без предупреждения, без единого слова, без ее согласия,— ведь только-только начала налаживаться жизнь... Заплаканная Оксана стояла рядом с ней и повторяла одно и то же: «Пойдемте, Елена Никаноровна, пойдемте!» А Елене Никаноровне все казалось, что падает она в темную-темную пропасть.

Но вдруг она поднялась. Вздохнула глубоко, сухо вытерла ладошкой лицо и пошла. Шла, твердо ступая, как солдат, готовая ко всему. Но по ровному шла, как в гору.

Савелия уложили в постель. Глаза его были открыты, но неподвижны, и он молчал, словно задумался или испугался. Рядом с ним была спокойная и степенная Тимохина жена Нелли.

Когда Елена Никаноровна подошла, в глазах Савелия появилась улыбка. Она не могла видеть эту неживую улыбку. Нагнулась, осторожно поправила одеяло, подушку, а он следил за ней взглядом, и все видели, что он улыбается — чуть заметно, как будто улыбаться ему больно.

— Лежи,— сказала она,— ради бога, ты лежи, Савелий, тебе волноваться вредно,— и сразу быстро вышла на кухню, боялась, что заплачет.

На кухне было много людей, как тогда, когда приезжал Павлик. Говорили громким, суетливым шепотом. Елене Никаноровне хотелось, чтобы все ушли. Она села на лавку у стены. как чужая в доме, и молчала.

Потом Савелий уснул. И люди ушли. И Нелли ушла к себе. Елена Никаноровна взяла табурет, села у стола против кровати, ни о чем не думала, но все время чего-то ждала.

Стало смеркаться и быстро темнеть. Луны не было. От снега за окнами шел мутный свет, а после все в комнате стало серым. Она не зажгла лампочку, боясь разбудить Савелия. Сидела не двигаясь, слушала, как он дышит. Он, наверное, просыпался в темноте и снова засыпал, но она этого не знала.

Глубокой ночью сон сломил ее. Облокотившись на стол, она поспала час или полчаса и внезапно проснулась, настороженная, как будто и не было сна. В страхе прислушалась. На дворе шумел ветер. Скрипела и постукивала отбитая доска в чулане. Она быстро поднялась, подошла к кровати. Ей показалось, что Савелий дышит хорошо, не часто. Отойдя к столу, она опять долго прислушивалась к его дыханию. И тут первый раз подумала о том, что ей делать, если не будет Савелия. Никто не мог заменить ей его, потому что таких людей больше нет,— это она твердо знала. Она отчетливо знала, что никому уже не будет нужна так, как всегда была нужна ему. Он всегда жалел, что их встреча в жизни была слишком поздней, а она всегда радовалась тому, что есть... Разве можно было подумать, что так быстро все оборвется!.. Она думала об этом, и тихие слезы текли по ее щекам. Глубокий сумеречный свет не менялся вокруг, будто все остановилось. Она не слышала теперь ни ветра, ни стука доски, лишь безотчетно ловила каждый его вздох. И в ответ что-то напряженно отдавалось у нее внутри.

Будто только что это случилось — так явственно сейчас видела она себя в огороде и маленького мужичка, остановившегося возле прясла и разглядывающего ее добрыми глазами. Она могла вспомнить каждый день жизни с ним, потому что он всегда был с ней рядом, даже когда уезжал или уходил. Она была уверена, что ее уже никто не станет любить, а он полюбил и не было дня, чтобы она не ощущала его удивления перед ней,— он не переставал удивляться тому, что она живет с ним. Он, наверное, тоже настрадался от одиночества и от неправды, если так весь отдался ей, весь доверился. Все изменилось в доме с того дня, как подошел он к ее вдовьему огороду в Усть-Баргузине, но она долго не могла поверить, что все действительно изменилось. И когда осталась ненадолго с кузнецом из МТС, она еще не знала, как будет жить дальше. Тогда она еще хотела жить посвоему закону: ни в чем не открываться людям, обманывать, раз обманывают тебя, брать у жизни, что можно. Она хотела беречь себя, только себя, и не верить никому. А с Савелием так было уже нельзя.

Под утро сон еще раз сковал ее, она упала лицом на стол. Вдруг показалось ей, что Савелий поднялся. Держась за стену, прошел и напился на кухне из ковшика. Она не могла понять, привиделось ей или он и вправду поднимался. Она хотела встать, посмотреть, а сон уже не пустил. Лишь чуть приоткрыла усталые глаза: Савелий неподвижно лежал. Но так явственно видела она, что он поднимался, и так это было похоже на него — он, наверно, не хотел обеспокоить,— что радость охватила ее. И она тихо засмеялась во сне. Сон ее и на этот раз был коротким, но не тревожным, как давеча. Она все время помнила, что он поднимался и пил из ковшика.

ГАЛЕРЕЯ „АНГАРЫ“

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ.

В ЭТОМ НОМЕРЕ АЛЬМАНАХА ОТКРЫВАЕТСЯ ГАЛЕРЕЯ «АНГАРЫ». ЗАНЯТЫЙ БЛАГОРОДНЫМ И НАПРЯЖЕННЫМ ТРУДОМ НА СТРОЙКАХ СИБИРИ, В КОЛХОЗАХ И ЛЕСПРОМХОЗАХ, НА ПРИИСКАХ И ШАХТАХ, ТЫ НЕ ВСЕГДА ИМЕЕШЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫВАТЬ У ХУДОЖНИКОВ ИРКУТСКА, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫСТАВКАМИ ИХ РАБОТ, ЗАГЛЯНУТЬ К НИМ В МАСТЕРСКИЕ.

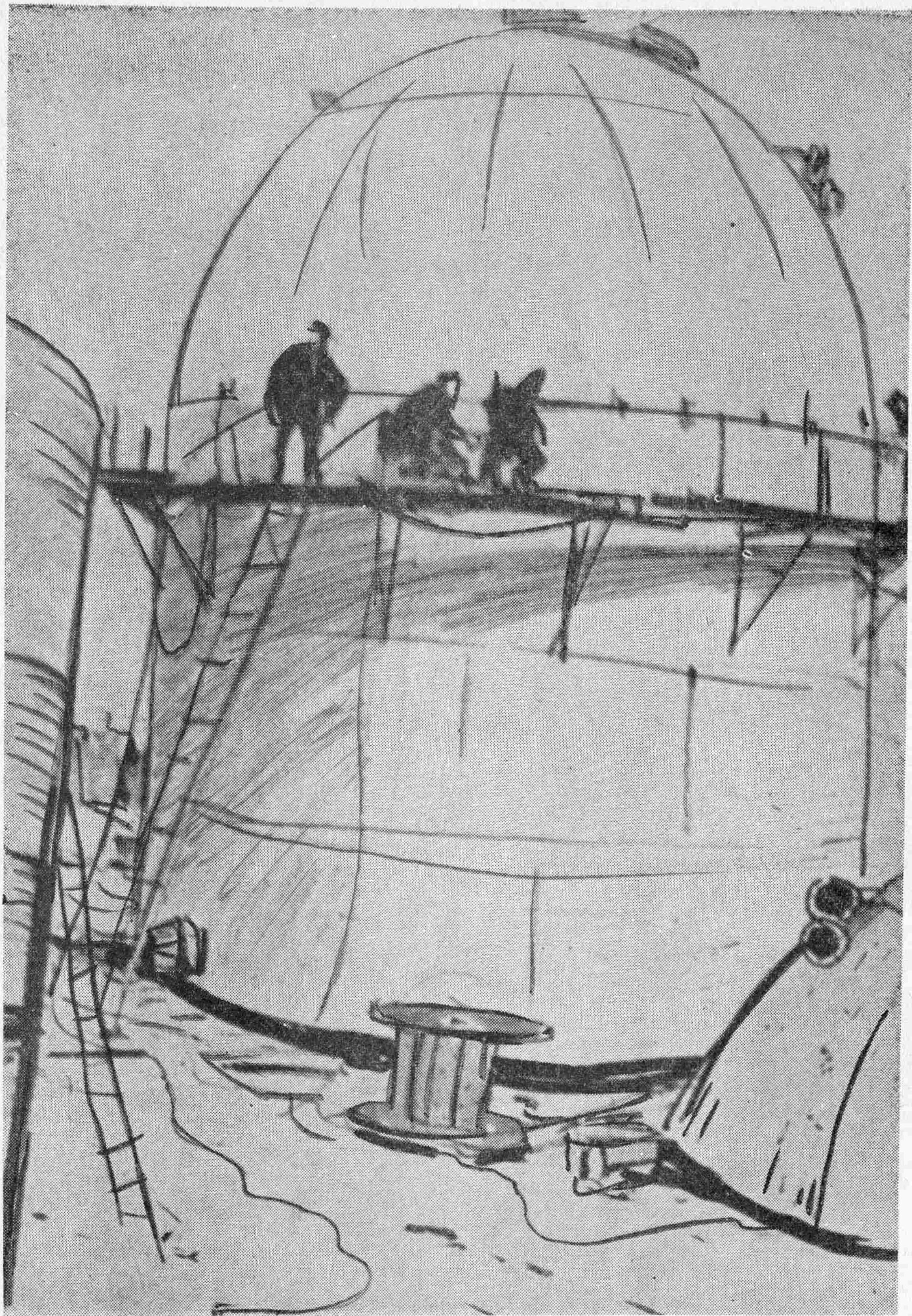
И ВОТ ПЕРЕД ТОБОЙ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ САМЫХ МОЛОДЫХ ЖИВОПИСЦЕВ И ГРАФИКОВ НАШЕЙ ОБЛАСТИ — УЧАЩИХСЯ ИРКУТСКОГО УЧИЛИЩА ИСКУССТВ. ИХ РАБОТЫ ОПУБЛИКОВАНЫ НА СТРАНИЦАХ 38—41, 77—78, 99—100, А ТАКЖЕ В КОНЦЕ АЛЬМАНАХА, В РАЗДЕЛЕ «САТИРА И ЮМОР» И НА ВКЛЕЙКАХ.

И ЕЩЕ — НАПИШИ НАМ, КАК ПОНРАВИЛАСЬ ТЕБЕ ВЫСТАВКА; ЧТО ХОТЕЛ БЫ ТЫ УВИДЕТЬ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ.

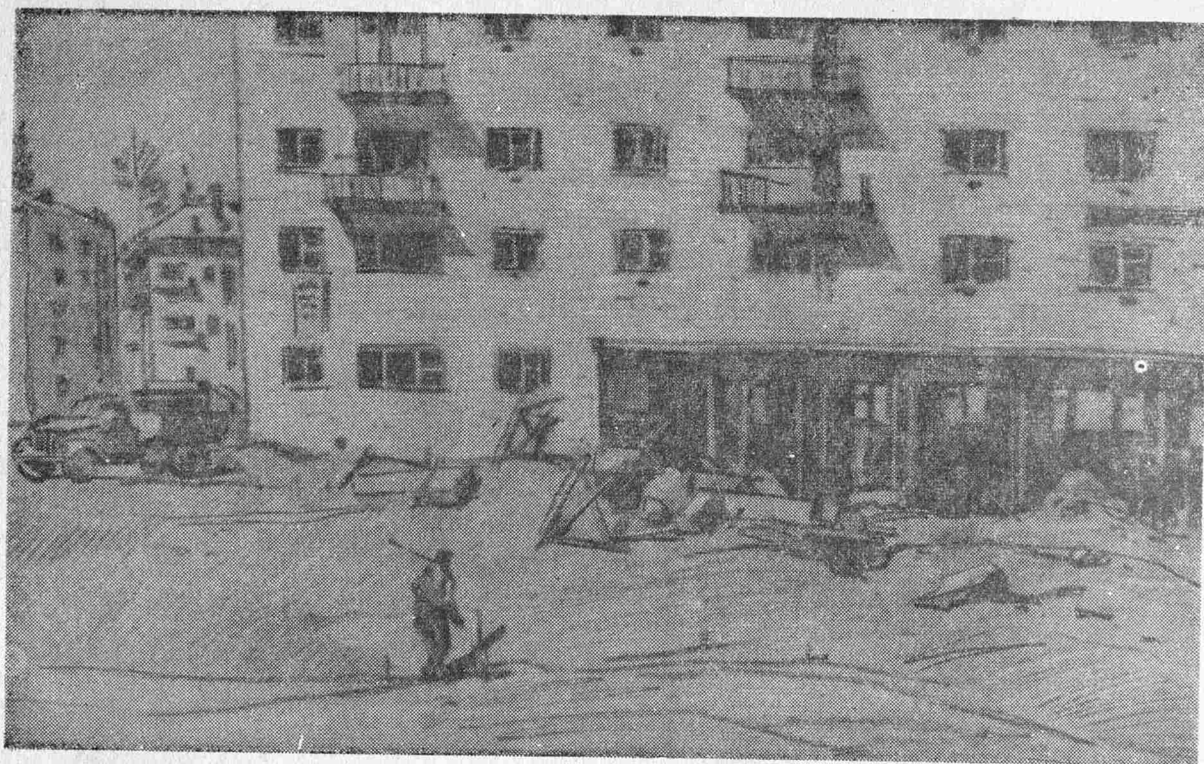


О. Солдатенко. Из серии «Братск строится».

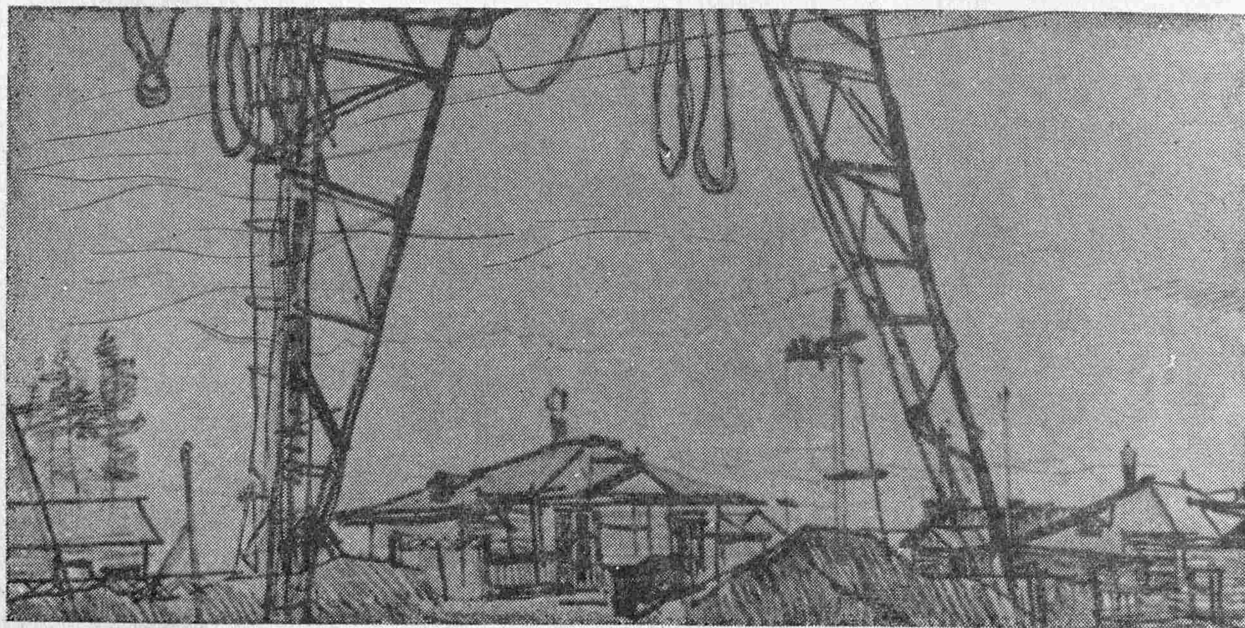
А. Аносов. Из серии «Братск строится».



О. Солдатенко. Из серии «Братск строится».

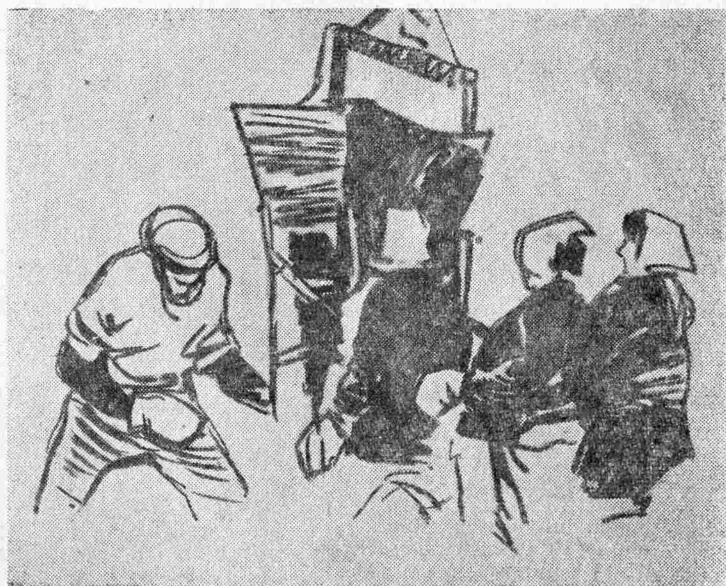


А. Аносов. Из серии «Братск строится».



Л. Талащук. Из серии «Братск строится».

Г. Мамилов. Из серии «Братск строится».



А. Першанин. Из серии «Братск строится».

АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ

Стихи из книги «Лестница»

В НОЧНОМ

Кусты задохлись от полночных трав,
поля от тишины оглохли,
телега замерла, задрав
свои зенитные оглобли.
И лошадь в тишине земной
неведомое людям слышит:
не до травы ей —
надо мной
стоит, бессонная, и дышит.
Сегодня не приснятся ей
трубач и праздничная площадь.
В машинном веке скоростей
поближе к людям жмется лошадь.
Вот и стоит,
и дышит надо мной,
молчит, прядет ушами шало —
все слушает за тишиной
иную жизнь земного шара.
От глаз ее попробуй убеги:
сто тысяч лет они глядели в войны,
в сплошные войны —
ну-ка, убеди,
что в мире мир,
что впереди спокойно.
Им все известно, грустным лошадям,
они людей своею меркой мерят —
судьбу свою
спокойно вверят нам,
но в наши уверения не верят.
А верят в свой настороженный сон,
и в ястреба, что в черном небе реет,
в запряженные колесом
стволы телег и лобогреек.

РАДОСТЬ

Набив карманы неудачей,
я по безденежью иду
и, радости своей не пряча,
беду
веду
на поводу.
Она идет за мной послушно,
готовая косить и жать,
чтоб все,
что кто-то нам порушил,
спервоначалу продолжать —
от неуспеха до победы
пахать надел свой по стерне.
Кем стал бы я, беды не ведав?
Так позавидуйте же мне!

ПОЭТЫ

Поэты умирают, не оставив
любовницам и женам ни рубля.
Их книг не издают,
народ не славит —
не бременем, а пухом им земля.
Их
на иные ценности меняют
любители сенсаций и шумих,
и лишь ученики припоминают
учителей:
не лица — мысли их.
Одна строка —
и горько, обнаженно
предстанет мир, и низок, и высок:
вожди,
друзья,
победы,
войны,
жены —
вчерашний день, сегодняшний песок,
что под ногой у нас лежит, не пряча
богатства нержавеющей удачи
и самородки неразменных строк.

ТЕМ И ЖИВУ

Убивая птицу, убиваюсь.
Верю в сны и в сказки наяву.
Ошибаясь в людях — ушибаюсь.
Верю вновь и вновь.
И тем живу.
Ничего живу, почти как в песне —
ни любви, ни смерти не боюсь.

Но не знаю,
что мне делать, если
я однажды вдруг
не ошибусь?
Как войти мне в сбывшиеся сказки?
В этот ставший бытом сон?
Я ведь даже от дешевой ласки
никакой броней не защищен...

ПОЛЕТ

Как мне трудно с тобой —
как с землею,
на которой живу и дышу,
по которой легко прохожу
и которую знаю и строю.
Ничего от тебя я не скрою:
незнакомое небо любя,
я — земной,
я угласт и нескромен.
Потому мне и мало тебя.
Ты меня научила движенью,
мои взлеты —
твое торжество.
Где же, где же твое притяженье?
Я в полете
теряю его.
На земле я о звездах мечтаю,
воплощенье мечты торопя,
но летаю к ним —
будто врастаю
в почву, в землю, в большую —
в тебя.

НОЯБРЬ

Снег придавит завалинки,
дым завьется из труб,
ты обуешься в валенки
и натянешь тулуп —
и пойдешь по метелице
из домов да в дома.
То, что не переменится,
перемелет зима:
нерешенное — вырешит.
и, снегами скрипя,
все неглавное выкрошит
из тебя —
для тебя,
чтобы жил ты распахнуто,
для иных холодов,
точно лемех — для пахоты,
был железно готов.

П. Ланда

САШЕНЬКА

Повесть

Полина Ланда — журналист. Живет она в Комсомольске-на-Амуре, но начало ее творческого пути связано с Братском. Несколько лет проработала она на Ангаре, в многотиражной газете великой стройки, жила одними думами с первыми комсомольцами, прибывшими сюда из разных концов страны, делила с ними и радости и трудности палаточного быта.

«Сашенька» — первая повесть молодой писательницы.

ГЛАВА I

Летом Саша любила вставать раньше всех. Часов в шесть. В общежитии сонная тишина, а она уже сидит на подоконнике, обхватив колени руками. Смотрит в тайгу, не наглядится.

Это были всегда прекрасные часы, когда можно побыть наедине с собой и природой. Люди еще спали, а природа уже просыпалась. В тихой торжественности утра остро ощущаешь себя частицей огромного прекрасного мира.

Сероватые неподвижные полусумерки — и вдруг откуда-то снизу, от реки, к поселку ползут первые лучи света. Длинные, они тянутся над землей, как бы прощупывая каждый метр тайги. Вдруг приподымаются, веером скользят по стволам сосен и лиственниц, касаются темных макушек деревьев — мохнатые ветки на секунду засветились розовым сиянием, а через мгновение уже стали отчетливо зелеными. А лучи уже поднялись над кронами и продолжают тянуться вверх. Они поднимают синий полог неба выше и выше, пока сами не растворяются в синеве.

— Где еще такое небо? Скажи, Иринка!

— Может быть, в Италии...

— Нет, не лучше этого!

Через несколько минут мы уже бежим по тропинке среди огромных сосен, великанов-лиственниц и тоненьких юных березок.

Сашенька бежит впереди. Она легко пробирается через чащобы, находит тропки, перепрыгивает через огромные поваленные бурей стволы... Несмотря на все изящество ее маленькой фигурки, она кажется мне живым воплощением неукрощенной дикой сибирской природы. И даже в лице ее, в матовом блеске черных глаз, в смуглости щек, в порывистости движений проскальзывает что-то своеобразное, дикое и смелое.

Неудивительно, ведь она настоящая сибирячка. Дед ее был выходцем из России, а бабка — якуткой. От нее-то Сашенька и унаследовала черные блестящие волосы, матовую кожу и чуть выдающиеся скулы. Но эти восточные черты еле уловимы, и, в общем, лицо ее озарено неяркой, но сильной и необычной красотой.

Я была благодарна Сибири и стройке и за то, что они столкнули меня с Сашенькой. Ее непосредственность освежала, как чистый таежный воздух. Она заражала меня своей любовью к жизни. Она по-детски радовалась солнцу, деревьям, хорошим людям.

— Ты представляешь, какой скучной была бы наша тайга без лиственниц! — говорит Са-

ша.— Сосны — совсем другое. Они такие важные, положительные, сосредоточенные. Я когда смотрю на них, мне всегда хочется молчать и думать о серьезном. А лиственница! От нее легко на душе!

— Ты же совсем девчонка, собкорр! Наш редактор ни за что не взял бы тебя в многотиражку.

— Ничего ваш редактор не понимает! Быстрее на стадион!

И она мчится по беговой дорожке. Конечно, ей мало стометровки — обегает полный круг. А потом еще делает «ласточку», кружится, приседает и еще чего только не выдумывает, пока я не заявляю, что пора на работу.

Тут она убегает вперед и к общежитию приносит охапку диких ирисов.

* *
*

Вечером, когда я вернулась из редакции, Саша, склонившись над своим маленьким магнитофоном, прослушивала свежие записи.

— Где сегодня побывала?

— В котловане. Послушай!

— Установили насосы?

— Да. На той неделе начнут откачивать котлован. Ангара клокочет в проране как бешеная! Волны огромные! Так и лижут перемычку! А ее подняли высоко, она как крепостная стена. Здорово!

— То ли еще будет, Сашенька! Очень нам с тобой повезло, что попали на такую стройку.

— Правда, Иринка. Что я в городе видела? Литературная редакция, рассказы, написанные другими. А жизнь? Благополучная, однообразная. Что вчера, то и сегодня. Молодые не должны так жить — скучно! Вот я отпросилась сюда. Ты бы видела, как всполошились наши редакторши, отговаривали, чуть не оплакивали! «Куда поедешь, Сашенька? Ты дитя города, подумай!» А у меня деды были охотники и бабки жили в тайге! Вот и потянуло на волю, к простым людям, к настоящей жизни. Ох, и хорошо же здесь, Иринка! Сама себе завидую!

— Даже наш надменный Поляков признался, что только здесь он понял гордость быть человеком, а в городе ничего подобного не испытывал.

— Знаешь, Ирина, а ведь Юрка хороший человек. Он по-огромному, по-настоящему любит Сибирь. Только он это не выставляет. А все замечают в нем лишь плохое: «Поляков надменный». Меня это злит в нем: не может, что ли, держаться попроще?!

— Как же, обезличиться? Нет уж, избавьте.

— К вам можно, девочки?

— Юрка? А мы тебя только что ругали.

— За отрыв от масс?

— За индивидуализм.

— Я как раз хотел для массы пригласить вас подбодрить и поругаться, разумеется. Вечер чудесный!

— Пойдем, Ирина!

— Не могу, мне надо править передовую.

— А я, пожалуй, пойду.

Они ушли и, наверное, отчаянно спорили всю дорогу.

* *
*

— Между прочим, Сашенька, мы пойдем на подстанцию, за двенадцать километров.

— Тем лучше: успеем друг друга перевоспитать! Не понимаю, для чего вы в своих очерках так приукрашиваете жизнь! Свои новеллы вы пишите со вкусом, красиво, умно. А очерки?! Это же грубая стряпня! Встречи с разъяренными медведями, громкие фразы — какая-то ложная романтика! Как вы можете так халтурить, Юрка, вы, умный, тонкий человек?! Разве герои сами по себе ничего не стоят, не вдохновляют вас?

Юра морщится, как от кислого, и начинает объяснять снисходительно, словно маленькой девочке:

— Святая наивность! Герои! Обыкновенная рабочая сила, механизмы во образе человецех. Им хорошо платят — они работают. Ради денег живут в дырявой палатке, долбят мерзлую землю, в мороз кладут бетон. Культурных потребностей никаких — была бы водка. Вот ваши «герои». Конечно, приходится их приукрашивать.

— Как вы гадко говорите о людях, Юрка. Вы просто их плохо знаете. Вот мы с вами ни за какие деньги не пойдем на трассу долбить мерзлую землю, месить бетон покатами, ставить опоры в тайге, а они шли. Думаете, из-за больших денег? Такие ли уж большие деньги они получают? Нет, они шли потому, что это было нужно. Мне кажется, даже самые рядовые строители все же лучше нас: они умеют не жалеть себя.

Во всяком случае я постоянно чувствую себя в долгу перед рабочими: жизнь-то они строят.

— Какие сентименты, Сашенька! Они делают свое дело, мы — свое. Но слова ваши я

запишу: когда соберусь писать повесть, вставлю эти слова в речь передовой героини. Мне самому до такого не додуматься. Разрешаете?— Он остановился и вытащил из кармана блокнот.

— Не стану с вами больше разговаривать об этом, неисправимый халтурщик. Как вас в редакции терпят?

— Не только терпят, но очень высоко ценят, Сашенька.

Некоторое время они шли молча, недовольные друг другом. Наконец Юра спросил:

— Хотите стих?— Он высоко закинул голову и начал читать, широко шагая по дороге:

> День прозрачный. День синий и сонный.
> Дремлют сосны, качаясь во сне.
> И осина в краю зеленом
> Робко пробует зеленеть.

Голос у него был густой, красивый. Сашенька невольно залюбовалась Юркой, его тонким умным лицом, которое портила только тень самолюбования.

> Ветерок подгулял. И пылко
> Рвет косынку с ее плеча,
> Добирается до затылка,
> Поцелуями щекоча.
> Но сдаваться не хочет осина,
> Оплела паутиной ветвей,
> Тихо шепчет ему: «Дурачина,
> Ты подумай, что скажет ель!»

— Ну как?

— Мне понравилось первое четверостишие. А потом? Зачем наделять природу нашим мелочным легкомыслием?

— Это стих-шутка, Сашенька. Надо понимать. Сказать вам, что я задумал?

— Грандиозную поэму о себе?

— Я бы хотел уехать в глушь. Пошел бы в лесники. Представляете: жить одному в тайге?! Свежие лиственничные стены, тишина! Шуршат красные угли в печке. Всю ночь пиши! Красота!

Я бы с удовольствием жил в аквариуме, Сашенька, совершенно изолированно от людей. Мне достаточно моего собственного мозга. Исследовать все лабиринты его фантазии — богатейшая жизнь!

— Юрка, вы совсем зафантазировались!— улыбаясь возразила Саша.— Для того чтобы писать в одиночестве, надо быть уже сильным, сложившимся человеком. Вы же и месяца не проживете без людей, хотя бы потому, что всегда должны перед кем-то высказываться и красоваться.

— Признаю себя побежденным. Сдаюсь на милость мудрого собкорра радио Сашеньки Гошевой.— Юра остановился и с шутливой серьезностью склонил голову.

— Пойдемте быстрее! Где же подстанция?— заторопила Сашенька.

— Вот она, за поворотом.

Опоры линии электропередачи по широкой просеке привели их к квадратной площади, вырванной у тайги. Поваленные огромные золотистые стволы сосен громоздились по обочинам дороги. Квадратные и прямоугольные котлованы изрезали поле. В центре площади возвышалось кирпичное здание подстанции, еще не достроенное, в лесах. Вокруг него на земле распластаны длинные металлоконструкции, вырисовываются ажурные арки первых смонтированных порталов. Внимание Сашеньки привлек большой фанерный щит, на котором огромными правильными буквами красной краской были написаны слова: «До пуска подстанции осталось...» и мелом торопливо начертано: «100 дней!»

— Неужели успеют?— спросила Сашенька.— Здесь еще так много работы.

— Но ведь они герои!— иронически возразил Юра и добавил серьезно:— К первому сентября, пожалуй, не успеют, а к октябрю сдадут.

Они обогнули строительную площадку. Здесь у живой изгороди тайги выстроились в ряд пять светлых рубленых домиков. Из раскрытых окон лилась жалоба радиолы: «Джонни, ты меня не любишь! Джонни, ты меня погубишь!»

— Вот и общежития героев,— комментировал Юра.— Зайдемте, Сашенька, мне нужно отыскать Турова, бригадира знаменитой бригады, той, которую премировали поездкой в Москву, на фестиваль.

— Мне это даже интересно,— отозвалась Сашенька.— Они всей бригадой ездили?

— Да.

— В такое горячее время?

— В комитете комсомола мне рассказали, что они отличились на трассе, за это их и послали,— нехотя объяснил Юра.— Туров лучше расскажет, пойдемте.

Они вошли в сени ближайшего домика. На стене висели рабочие комбинезоны, в углу свалены сапоги, пар десять. Постучались. Ответили ребята. Поляков приосанился, снял с лица улыбку и открыл дверь.

Сашенька вошла за Юрой и остановилась у порога, ошеломленная беспорядком. Большая комната была заставлена койками, посредине стояла печка и длинный самодельный стол. Вокруг плиты на полу были разбросаны поленья, засохшие ветки черемухи и цветы, окурки и картофельные очистки. На стол же

страшно было и взглянуть: он был завален остатками вчерашнего ужина и сегодняшнего завтрака. Зато на тумбочках у кроватей лежали стопки книг, а на отдельном столе среди вороха пластинок сверкала новенькая радиола. Возле нее вертелся невысокий худощавый парнишка в майке и трусах. Другой сидел на койке, кое-как накрытой синим измятым одеялом, и, склонив голову к баяну, тихо подбирал «Сказки Венского леса». Это было очень неожиданно среди такого хаоса неприхотливой обстановки. Баянист был поглощен звуками штраусовского вальса, ничего вокруг для него не существовало. Он даже не заметил, как вошли Сашенька и Юра.

Поляков, не обращая внимания на мелочи быта, шагнул к радиоле и громко спросил парнишку, здесь ли живет Туров.

— Нет, их бригада в последнем доме. А вы кто такие?

— Корреспонденты.

— Нашей многотиражки?

— Областной газеты и радио,— солидно сообщил Юра.

— Ну, тогда, конечно, вам нужен Туров, а не мы!— задорно сказал парнишка и посмотрел на Юру дерзкими недоверчивыми серыми глазами.— Только о Турове и пишете. Ваш очерк был о героях-туровцах?

— Мой,— снисходительно обронил Юра и намеревался уйти, но дерзкий мальчишка явно бросил вызов. Юра остановился, посмотрел на парнишку сверху вниз холодным, непроницаемым взглядом своих зеленых глаз. Сашенька ненавидела, когда Юра так смотрел: «Надел броню,— подумала она,— зачем он отталкивает от себя людей?! Этот парнишка его, конечно, невзлюбит, а ведь у Юрки было такое тяжелое детство: война, отец погиб, а он, босоногий, кастрюли лудил, чтобы заработать и помочь матери, а теперь смотрит как гусь: собкорр областной газеты! Вдвойне обидно: ведь он неглуп!»

— Ничего особенного нет в ваших туровцах!— запальчиво проговорил паренек.— Повезло им и все: сначала в тайгу послали на дальний участок. Конечно, там можно было поработать! А здесь, на подстанции, что?! Их бригаде отдали половину всех земляных и бетонных работ. Представляете?!

— Так что же, совсем они никудышные ребята?— улыбаясь спросила Сашенька. Дерзкий парнишка с неистово недоверчивыми глазами ей очень понравился. Она решила с ним поговорить. Паренек смутился, но не опустил дерзких глаз, он рвался в спор. Сашенька поняла, что ему необходимо высказаться.

— Нет, они, конечно, молодцы, только обидно... Другим почему-то не дают настоящей работы. Вот мы с Коськой сколько раз просились у Рафорта в тайгу на ЛЭП!— Не посылает. Говорит: «Поработаете здесь, мальчики». А какой тут может быть героизм? Порталы красим!

Не пошлют на ЛЭП — уедем в Якутию на алмазы,— заключил он решительно.

— Вы бы сначала подстанцию построили, а уж потом — прямо на Северный полюс, зачем в Якутию,— насмешливо спокойно сказал Юра.

Парнишка сильно покраснел.

— Думаете, мы против подстанции?! Дали бы нам только настоящую работу! Как девчонки, с красками возимся! Да у нас же специальность есть! Мы электромонтеры, ремесленное училище окончили в Москве.

— Как тебя зовут?— спросила Сашенька.

— Коля, Никитин.

— Знаешь, Коля, а ведь ваши порталы очень красивые! Серебристые, легкие, они украшают площадку. Представляешь, когда вы все закрасите, какая это будет красота!— сказала Сашенька.— Пройдет каких-то три-четыре месяца, и вы с Коськой будете уже работать на подстанции монтерами. И как приятно вам будет, что не просто так пришли со стороны, а сами ее строили, правда? Это неважно, что туровцам — половину всех земляных работ! Зато вам с Коськой все порталы красить! Эх ты, не терпится стать героем!

— Ну, что вы,— опять смутился Коля.— А вообще-то, знаете? Заберешься на опору, посмотришь сверху на подстанцию — здорово! трассу видно, не всю, конечно, опор пятнадцать. А ведро с краской болтается у нас на веревке — смешно! Мы с Коськой, как обезьяны, лазаем по опорам. Между прочим, Турову или кому из его ребят тяжело показалось бы так лазать: они мощные все.

— Ну, вот и договорились наконец!— засмеялась Саша.— Оказывается, вам с Коськой поручили не самую пустяшную работу, а, пожалуй, самую нелегкую? Ты по комсомольской путевке приехал?

— Нет,— неохотно ответил Коля.— Не давали мне путевку. Подумаешь, семнадцати лет не было.

— Ну и как же ты?

— Очень просто! Узнал, когда эшелон идет.

— Вы бы сели,— сказал Сашеньке баянист, который уже перестал играть и прислушивался к разговору. Ему понравилось, что девушка так хорошо поняла Колю. Парнишка был любимцем всей комнаты. Баянист подви-

нул к Сашеньке единственную свободную табуретку, но тут же отвел глаза, устыдившись своей галантности.

— Пойдемте, Саша!— нетерпеливо сказал Поляков.

— Подождите,— несмело посоветовал баянист.— Сейчас придет Юра Ведерников, наш комсорг. Он собирает ребят на бюро, там и Туров будет. Ведерников вас проводит.— Он замолчал и несмело посмотрел на Сашеньку, словно не верил, что она послушает его совета, а вот сейчас встанет и убежит. Сашенька внимательно посмотрела на него. Они спросили взглядами: «Что ты за человек?» и поняли друг друга. Взгляд баяниста сказал ей, что он всю жизнь мечтал увидеть такую девушку, как она. И вот Сашенька стоит перед ним наяву, а он взглянуть не смеет. На его некрасивом невыразительном лице светились светло-карие, прозрачные до самой души глаза. В них стояла грусть и невысказанная, недерзская мечта. И еще в них было такое выражение, словно парень прислушивался к мелодии, которой ни Сашенька, ни Коля, ни Юра, находившиеся с ним рядом, не умели услышать. Сашенька сразу же поняла, что это прекрасной души человек, но не каждому он эту красоту откроет.

— Сыграйте,— попросила она.

— Я не умею играть,— ответил он грустно.

— А это?— Она кивнула на раскрытые ноты.

— Если бы я умел это играть,— он произнес последнее слово осторожно, ласково,— меня бы уже приняли в консерваторию.

Юра Поляков нетерпеливо перебил разговор:

— Где же этот ваш Ведерников?

В комнату стремительно вошел юноша в спортивных шароварах. Хотя еще совсем недавно стало тепло, его голубая майка и светлые волосы, стриженные «ежиком», успели выгореть. Лицо, плечи и мускулистые руки покрывал бронзовый загар.

— Тут тебя ждут!— весело сообщил Коля.

Мигом оценив обстановку: незнакомая девушка и страшный ералаш в комнате,— Ведерников отчаянно звонким мальчишеским голосом спросил:

— Кто сегодня дежурный?!

— Коська,— невинно ответил Коля.— Только он на охоту ушел. Тебе он нужен?

— Еще спрашивает! Ты посмотри, что творится на полу!

— Ну, подумаешь, я мигом подмету.— Скорчив веселую рожицу, Коля помчался в сени за веником.

— Что ж, пойдемте в красный уголок,— официальным тоном предложил Ведерников, тоже стараясь выглядеть солиднее: как-никак — комсорг. Коля поднял веником пыль до потолка.

— Ты побрызгай,— посоветовала Саша тихо, чтобы Поляков не слышал.

— Приходите к нам еще!— крикнул ей Коля. Это значило, что он признал Сашеньку своим человеком.

За каких-нибудь тридцать шагов до палатки Юра Ведерников выложил Сашеньке все свои комсомольские новости.

— Ребята наши занимаются в спортивных секциях, почти все. Увлекаемся греблей. Вечерами ходим на водную станцию. Хотя далековато, но для разминки полезно.

А вот с девчатами хуже: никуда их не вытащишь. Вообще не знаю, чем их занять. После работы они принимаются наводить чистоту. Конечно, это хорошо. Но разве обязательно каждый вечер драить полы? А потом жалуются мне: «Скучно у нас, Юра! Культурного отдыха нет!»

— Что же вы не организуете самодеятельность?— удивилась Саша.

— Некогда мне с самодеятельностью возиться, поймите! А наш культмассовый сектор, Клава Иванова, не имеет подхода к людям и не хочет работать. Составила список желающих и все.

— Что же остальные члены бюро?— спросила Сашенька.

— Зачем вы суете нос в их дела?— тихо проворчал Поляков.

— А вы журналист или бюрократ?— тоже тихо спросила Саша.— Интересуетесь людьми только «от» и «до»?

Красный уголок помещался в новенькой палатке, еще не выгоревшей на солнце.

В глубине ее под портретами членов правительства стоял длинный стол, покрытый красным полотнищем. Вдоль стен — длинные самодельные скамьи. В углу тумбочка с новенькой радиолой. Так выглядел «полевой» красный уголок.

За столом сидели две девушки и кудрявый паренек. Одна из девушек, толстая, с невыразительным, словно заспанным лицом и ленивыми глазами, неприязненно и тупо уставилась на радостно возбужденную Сашеньку. Другая девушка живо обернула к вошедшим веснушчатое лицо. Ее короткие рыжие косички смешно дернулись. В зеленых живых глазах девушки мелькнуло нескрываемое любопытство, и она без стеснения спросила:

— Из комитета комсомола?

— Нет, Зина. Это корреспонденты, к Турову пришли,— пояснил Юра Ведерников.—

Знакомьтесь,— сказал он Сашеньке и Юре,— Зина Федорова, бригадир женской бригады землекопов. А это Клава Иванова, наш культмассовый сектор.— Он кивнул в сторону полной девушки.

— А-а,— разочарованно протянула Зина.— Я подумала: из комитета комсомола, наконец, к нам пожаловали, а вы только к Турову...

Подсчитав отсутствующих членов бюро, Юра Ведерников снова заторопился:

— Сбегаю за остальными!

Но в дверях он столкнулся с ребятами.

— Что же вы!

— Точно семь,— спокойно ответил вошедший. Его синие глаза искрились смехом. Коренастый, светловолосый, в аккуратно отглаженной белой блузе с расстегнутым воротничком, он шел по палатке вразвалку, уверенной и усталой походкой хорошо поработавшего сильного человека. Его открытое широкое лицо с упрямым лбом было спокойным и уверенным. Подойдя к столу, он добродушно улыбнулся рыженькой Зине и весело спросил:

— Что, заседать будем?— При этом на лице его промелькнуло выражение не то насмешливое, не то простодушное.

Вошедший выбрал себе место в углу, не на виду. Его глаза хитровато улыбались, будто говорили: «Что ж, и позаседать можем. Разве мы хуже других? Только лопату держать нам, что ли?»

— Ну как, Леха, сегодня уже работали?— спросила у него Зина.

— Запросто,— ответил парень. Голос у него был глуховатый и негромкий.

— Куда поставили вас?

— Пока траншею роем под кабельные каналы,— ответил он, произнося слова врастяжку.— Скоро начнем бетонить большой фундамент под асинхронные компенсаторы, как экскаватор закончит выемку.

— После экскурсии не трудно работать, Леша?— льстиво спросила толстая девица, поедая его глазами.

— А что?— ответил он, даже не взглянув на нее. В глазах его опять заиграли смешинки: «Разве нам что трудно».

— Это Туров,— шепнул Сашеньке Поляков и тотчас подсел к молодому бригадиру.

В это время в палатку вошел еще один член бюро и отвлек внимание Сашеньки от разговора Полякова с Туровым.

— Привет, синьоры! Привет, синьорины!— произнес парень.

— Оставь церемонии, Игорь Михайлович, садись,— спокойно предложил Туров.

Игорь Михайлович выбрал место повиднее, в самом центре. Не обращая внимания на остальных, он раскрыл журнал «Экран», лежавший на столе.

Поляков еще не договорился с Туровым, а заседание бюро уже началось, и Сашенька подумала, что им придется просидеть здесь до конца, чтобы дождаться, когда Туров освободится. Но она не огорчалась, потому что новые люди всегда были для нее интересны. Ей захотелось лучше узнать этих ребят, правильно понять их. Может быть, когда-нибудь придется писать очерк о рыженькой Зине или о комсорге Юре Ведерникове, но сейчас она об этом не задумывалась. Ей просто было на редкость хорошо среди этих людей.

— Сейчас мы должны обсудить, как поднять нашу самодеятельность,— решительно, скороговоркой выпалил Юра Ведерников.— Вернее, самодеятельности у нас совсем нет!— голос его зазвенел.— Все мы виноваты и я в том числе, потому что слишком увлекся спортом. У меня все. Давайте все высказываться!— Юра постучал по столу карандашом, будто поставил точку.

— Ничего не получается!— начала толстая девица.— Баяниста нет! А без баяниста какая может быть самодеятельность?! Был хороший баянист, женился. Теперь жена не отпускает его на репетиции. А что же мы можем без баяниста?

— Как это нет баяниста?— вдруг спросила Сашенька.— Только что в вашем общежитии мы видели паренька, который играет по нотам.

— Володька,— подсказала Зина.

— Да ну его!— перебила толстуха пренебрежительно.— По нотам! Штрауса какого-то играет, а нам надо такое, чтобы мы все знали,— частушки!

— Попросите — он разучит ваши песни.

— Стану еще просить его!— фыркнула толстуха.

— Ну, ты не права, Клавка,— возразила Зина.— Парень собой не видный, плох для тебя. А если разобраться, так для нашей самодеятельности он клад настоящий! Ты ему нагрубила, обидела человека.

— Подумаешь,— ответила Клава,— стану я дипломатию разводить из-за него!

— Оставь свои капризы, Иванова,— возмутился Ведерников.— Володька в нашей комнате живет. Мы-то его знаем: парень душевный, а играет... что и говорить, здорово играет! Так что давайте улаживайте ваши отношения и организуйте хор.

— А тебя, Иванова, выбрали в бюро для того, чтобы ты о других заботилась, вот и занимайся хором!

Саша удивилась, отчего Юра Ведерников, такой славный, живой парень, вдруг заговорил с комсомольцами казенным скучным языком. «Наверное, думает, что комсоргу нельзя иначе».

— Не буду я хором заниматься!— отрезала Клава.— Мне хватает комсомольских поручений да с нарядами в конце каждого месяца сидишь до ночи! Отдохнуть некогда!

— Ну, уж кто бы другой говорил,— вставила Зина. — Не высыпается, бедняжка — с восьми до восьми дрыхнет!

— Не твое дело,— проворчала Клава.— Пусть другие постараются. Вот Игорь Михайлович — герой труда, поет? Пусть и руководит хором.

— Ну, что вы, леди,— очнулся Игорь.— Я увлекаюсь только сольным пением: Ив Монтан, Жерар Филипп, буги-вуги... Ваши частушки не в моем репертуаре,— проговорил он важно.— Пригласите руководителя из клуба. Видали, на танцах дирижирует такой старичок с трубой, глухой на оба уха? Заплатите ему, он живо организует хор.

— У нас нет специальных денег. Не годится это, Игорь,— возразил Ведерников.— Надо самим, на то и самодеятельность. Ну, давайте еще подумаем. Возьмись, Игорь Михайлович, кроме шуток!

— Не сможет он,— вмешался Туров.— До пуска подстанции мы будем работать в две смены.

— Значит, опять у нас не будет хора!— разочарованно протянула Зина.— Сколько ребят поет, а девчата все бы до одной стали ходить!— горячо сказала она и с надеждой посмотрела на Юру Ведерникова.

— Какие же вы неорганизованные,— забеспокоился он.— У нас никогда такого не бывало: хотим заниматься спортом и занимаемся, а вам кто мешает? Ну где взять руководителя? Сам я не умею ни петь, ни играть...— С минуту он подумал и вдруг сказал решительно:— Вот что, Зина, ты будешь отвечать за явку, соберешь желающих петь, а я поговорю с Володей, он будет играть.

— А кто дирижер?— не унималась Зина.

— Ну, сами как-нибудь обойдемся, не академический хор.

— Знаете, что?— неожиданно для себя сказала Сашенька.— Конечно, я посторонний человек... Но если никто не возражает, могла бы немного помочь: я в университетском ансамбле занималась года четыре.

— Вот хорошо!— обрадовалась Зина.— Давайте сразу назначим репетицию. Приходите в четверг, хорошо?

— В четверг, пожалуй, я смогу, — ответила Саша. — Приду пораньше записывать репортаж со строительства подстанции и останусь. Песни у вас есть?

— Ничего нет! У Володи — тоже.

— Да, у него классика. А какую бы вы хотели песню?

— «Величавая Ангара»!

— Попытаюсь найти ноты. Хороший клуб на правом берегу. У Собенникова, наверное, найдутся ноты. Завтра еду туда, обязательно зайду к нему.

— Синьорина, мы дадим самую широкую рекламу, по радио!— пышно объявил Игорь Михайлович.

Все заулыбались: Туров — широко, Зина смешливо, Ведерников растерянно, не зная, может ли комсомольский секретарь улыбаться шуткам пижона. Юра Поляков сохранял полуироническую усмешку. Только толстая нормировщица Клава Иванова не улыбалась.

Заседание бюро кончилось. Тут же начались танцы.

Чем-то недовольный Поляков подошел к Сашеньке.

— Зачем вы впутываетесь в дела этих первобытных комсомольцев?! Идемте!

— Сначала потанцуем,— беспечно возразила Сашенька.— Вы умеете?

Юра шутливо-церемонно наклонил голову и протянул к ней руку. Но танцевал плохо. Переступал неуклюже, как гусь. Несколько раз наступил Сашеньке на ногу. Сашенька, чуть подавшись назад, будто «улетая» от своего незадачливого партнера, легко кружилась.

Туров стоял возле радиолы и насупясь смотрел на улыбающуюся Сашеньку. В сердце заворошилась неприязнь к Полякову. Жизнь у него, наверное, легкая: сначала с папой-мамой, потом — институт, а теперь смотрит со стороны, как другие работают. Очерки катает! Разве узнаешь в них кого! О нашей бригаде так написал, что все ребята смеялись. «Герои-комсомольцы пришли в тайгу... Сильные, закаленные парни в солдатских гимнастерках...» Нет, не все они пришли в тайгу закаленными. Из армии — только он да Володька с Сашкой, остальные — только что из школы. Один Игорь Михайлович чего стоил! Сколько пришлось с ним повозиться, чтобы научить работать сына полковника...

Туров задумался, вспоминая первые дни работы на трассе...

Первые дни работы на ЛЭП. Однажды он с Володей и Сашей шел на новую вырубку. За ними плелся какой-то парень и ругал Си-

бирь. Они отлично слышали его брюзжание. Парень, что называется, работал «на публику».

— Одно название «тайга»,— ворчал он.— Мелочь какая-то! Медведи и то редко встречаются. Вот Уссурийская тайга — это стиль! Лианы, тигры! А здесь что? Обыкновенные березы.

Действительно, они вошли в березняк. Заиндевевшие ветви вплелись белым узором в синь неба. Загляденье! Туров даже остановился, протер глаза — снова засмотрелся.

— До чего же хорошо! Просто чудо!— сказал он недовольному парню.— Или ты русской красоты не понимаешь?

Потом, когда они вдвоем с Сашкой повалили первую толстенную березу и отдыхали, усевшись на ствол, Алексей заметил, что метрах в пяти от них работает Володя с тем презрительным парнем. Причем у Володи была совсем кислая мина: его напарник едва водил пилой и меланхолически насвистывал. Тогда Алеша решил выручить друга. Да и на этого «фрукта» посмотреть захотелось поближе.

«Пижон»,— решил он про себя.

— Спаруемся?— предложил Алеша лентяю.

— Давай,— вяло согласился парень.

Р-раз! Пила так стремительно двинулась на напарника, что тот невольно быстро потянул ручку к себе.

— Шевелись, брат!— подзадорил его Туров, широко улыбаясь.

Самолюбивый парень начал нервничать — чуть не выдернул пилу из рук Турова.

— Ты полегче, не дергай,— спокойно посоветовал Алексей.

Удар топора по комлю — подпиленная береза тяжело рухнула в снег. Отерев пот с лица, напарник Турова во весь рост растянулся на широком пне.

— Здорово мы ее!

Туров присел рядом.

— Береза лет сто простояла!— сказал он.

— Закурим?— примирительно предложил напарник, протягивая Турову пачку сигарет с красивой этикеткой «Ангара». На ней были изображены крутые пороги и скала.

— Местная экзотика,— заметил он небрежно.

Туров засмеялся. Его голубые глаза заискрились. Лицо стало простодушным, добрым.

— Ну, давай познакомимся!— он протянул свою квадратную ладонь.

— Игорь Михайлович!— солидно отрекомендовался напарник.

— Манеры у тебя какие-то светские,— очень серьезно сказал Туров.— В армии не служил?

— Нет,— признался Игорь.— Но отец мой полковник.

— Вот оно что! Поэтому и ты надел гимнастерку?

Игорь смутился.

— Просто удобнее в ней...

«Он совсем еще мальчишка!— подумал Туров.— Жизни не нюхал, а показать не хочет. Фасон — только для маскировки, а так он совсем, может быть, неплохой мальчишка! Только избаловала мамаша, наверное».

— Ну, давай еще одну свалим!— предложил он.

— Давай!— охотно согласился Игорь.

С первого дня Игорь признал старшинство и опытность Турова, охотно ему подчинился, отбрасывая весь форс. Зато перед другими ребятами он всячески фиглярничал и был все тем же неисправимым «стилягой» Игорем Михайловичем.

«А все-таки Игорь сильно переменился, стал настоящим работягой!»— с удовольствием подумал Туров.

Очнувшись от воспоминаний, Туров отыскал глазами Сашеньку. Она по-прежнему танцевала с долговязым корреспондентом и лукаво улыбалась. «Отбить бы!»— вдруг подумал он и хотел пригласить ее на следующий танец. Но странная нерешительность удержала его на месте: «Не пойдет! Я же не интеллигент! Да и она мне не пара: такая возвышенная, наверное!»— Он сам себя настраивал против Сашеньки, но нестерпимо хотелось подойти и пригласить ее на танец!

Почему-то ни одна девушка еще не нравилась ему так с первого взгляда. Ребята смотрят на него. Игорь Михайлович подмигнул — все понимает. Нет, не будет унижаться бригадир Туров!

Он только едва заметно, досадливо махнул рукой и быстро пошел к выходу, упрямо наклонив голову. Ребята потянулись за бригадиром.

— Напишет Вам Туров заметку?— спросила Сашенька Юру Полякова.

— Отказался,— неохотно процедил Юра.— Пойдемте, Саша! У меня дома лежит второй том Ибсена. Собирался почитать, а вместо этого теряю время, черт возьми!

«Работяга, видимо, оказался с характером!»— подумала Сашенька.

— Мне кажется, вам очень полезно таким образом терять время, Юра,— заметила она.—

По-моему, ребята здесь — не такие уж примитивы, как вы думаете.

— Еще хуже,— проворчал он.

Сашенька заметила, что Туров хмуро взглянул в их сторону и ушел сердитый. «Интересно, на кого из нас он зол?— подумала она. — Скорее всего на Юру. Корреспондент для Турова — лицо эпизотическое: пришел— и ушел. Это несправедливо: бывая на разных участках, причащаешься к их большому делу. В записной книжке корреспондента — вся стройка, а в сердце — любовь к этим простым героям. Кто рассказывает всей области, всей стране о Туровых? Наш брат. Только некоторые торопятся сообщить новость и в спешке путают. Отсюда и улыбочки, и неправильное представление: «А, корреспонденты?! Только не перепутайте». Не все же корреспонденты верхогляды! Не все гонятся за легкой информацией. Жаль, что такие ребята, как Туров, этого не понимают... А что вдруг тебе стало так важно мнение Турова?» — спросила себя Сашенька.

Их провожал Ведерников. Площадка подстанции осталась позади. Вышли на дорогу, засыпанную свежей щебенкой.

— Пробежимся?— вдруг живо предложил Юра Ведерников, забыв о солидном тоне общественного деятеля.

— Побежали!— отозвалась Сашенька и оглянулась на Юру. Конечно, он сделал «каменное» лицо и нарочно пошел медленнее.

Сашенька с Ведерниковым добежали до поворота, где скрещивались дороги из карьеров, в поселок, на подстанцию и спуск к Ангаре. Здесь они чуть не наскочили на человека, который, видимо, направлялся на подстанцию.

— Коська!— воскликнул Ведерников.— Чего бродишь по тайге?! Я с тобой поговорю серьезно.— Юра снова обрел тон комсорга.— Ты что, с дежурства сбежал? На рыбалку ходил?

— Да нет, Юра!— спокойно ответил Коська.— Я был в поселке, закупал продукты на ужин. Хочешь хлеба? — И он протянул Юре свежую булку и пучок какой-то зелени.

Ведерников догнал Сашеньку.

— Хотите? Черемша.— Он протянул ей хлеб и пучок зелени.

Сашеньке стало необыкновенно легко и весело, так молодо и легко! Будто стала она снова девчонкой, что бегала босиком по луговой траве, ни о чем не заботясь! Отчего приходит такое ощущение молодости и легкости?! От общения с природой и от душевности человеческой. «Ох, до чего же хорошо с такими ребятами!— подумала Сашенька.— Какие же они радушные и открытые, без утайки! Вот ведь какой вечер хороший: узнала таких людей.

— В следующий раз вы к нам пешком не ходите,— сказал Ведерников.— До этого поворота круглые сутки ходят МАЗы от промплощадки — до самой почти подстанции.

Несколько огромных машин пронеслись мимо них, обдав душным дыханием, ослепив огромными фарами.

Со скучающим видом подошел Поляков, Ведерников остановил приближавшуюся машину, и они забрались в просторную кабину. МАЗ рванулся и с ревом помчался в темноту, раздвигая фарами стену тайги.

— Приезжайте!— крикнул Ведерников, но Сашенька не расслышала его слов. Она вся подалась вперед, охваченная радостью бешеной езды. Ей казалось, что никогда она еще так не мчалась, как в этом грохочущем самосвале. Кабина была поднята высоко над дорогой — гигантские деревья мчались навстречу, казалось, прямо в окно.

Поляков ругал тряску и Сашенькино любопытство.

— Когда только приедем? Пропал вечер!

Как бы испытывая Юрино терпение, шофер направил самосвал в сторону, противоположную поселку. Подъехали к огромному котловану карьера.

— Погуляйте тут, пока нагружусь,— сказал шофер, притормозив ход.

По крутому спуску цепочка самосвалов сползала под ковш огромного электрического экскаватора. Он рокотал и ворочался в центре карьера, этот огромный неутомимый работяга, освещая прожекторами свой забой и машины.

Сашенька наблюдала, как экскаватор проворно поднимал стрелу, как раскрывал над кузовами самосвалов четырехкубовую пригоршню ковша. Медленно, точно боясь расплескать щебень, нагруженные самосвалы объезжали, переваливаясь на ухабах.

— Как быстро растет стройка!— сказала Сашенька.— Надо написать об экипаже этого экскаватора. Отсюда, очевидно, идет материал на все дороги левого берега? Я обязательно побываю у них с магнитофоном.

— Можно выбрать объект и поближе,— скептически ответил Юра.

— Залезайте!— крикнул над их ухом шофер.

— Это «наш» самосвал!— обрадовалась Сашенька.

— За промплощадкой вас высажу — там и до поселка недалеко,— сказал шофер.

Но сначала они заехали на строительство железной дороги.

— Дорожники успевают раньше всех!— восхитилась Сашенька.— Но ведь мост через Ангару — плотина — будет года через два. К чему так торопиться?

— Готовят подъезд к котловану,— пояснил Юра.— По этой ветке пойдет бетон с промплощадки.

Если Сашенька проводила дни на участках, среди рабочих, Поляков предпочитал посещать кабинеты начальников управлений и главных инженеров. Поэтому общая картина строительства была ему известна лучше.

МАЗ шел по только что высыпанным грудам щебня — передний край отсыпки. По невыровненному полотну не очень-то уютно кататься. Сашеньку подбрасывало до потолка кабины.

«Нервная работа для шофера,— подумала она.— Попробуй так восемь часов, по этим ухабам, не выпуская руля! Понятно, отчего такой сердитый водитель».

Между тем шофер виртуозно развернул МАЗ поперек узкого полотна — передние колеса уперлись в ствол огромной сосны, сваленной в обочину, задние — чуть не повисли над краем высокой насыпи. Самосвал вывалил свой груз — этого не было видно на глаз, но насыпь увеличилась. Один за другим вываливали самосвалы щебень; так и не было видно, как увеличивается насыпь, но она росла. Шофер за баранкой и не замечал этого — он только возил и возил.

Они отъехали от края отсыпки, и шофер минут пять переругивался с молоденькой учетчицей — другие водители в это время нетерпеливо сигналили и кричали что-то веселое. Удовлетворенный «серьезным разговором» с учетчицей, шофер успокоился и неторопливо вывел машину на хорошую дорогу. Его смена подходила к концу. Он мог немного передохнуть. Он даже что-то запел, негромко, конечно, и не для пассажиров, а так, про себя.

Машина мчалась по бесконечной просеке. Сашенька уже не узнавала дорогу, по которой днем не раз шагала на промплощадку с магнитофоном. Веки ее уже смыкались, и она невольно клонила голову на плечо Полякова. Шофер только покосился на нее. Неожиданно он притормозил машину и сказал:

— Приехали! Пройдете через лесок — тут и будет ваш восьмой квартал.

— Спасибо!— крикнула Сашенька, выпрыгнув из кабины.

— Чего там!— ответил шофер.— Гуляйте!

«Кажется, он принял нас за нежную пару,— подумала Сашенька.— Вот забавно!»

Раздраженный Поляков шел торопливо, цепляясь длинными ногами за корявые валежины. Он молчал. Ему все надоело. Он устал.

«Как гусь!— подумала Сашенька улыбаясь.— Сухарь! Полное отсутствие непосредственности! И что это я, в самом деле? — поймала она себя.— Будто стараюсь увидеть в Юрке только плохие черты. А ведь он серьезный, организованный человек! Поучиться надо у него умению время беречь, а не подтрунивать по мелочам!»

Конечно, Поляков считает, что этот вечер потерян: слишком много времени затрачено на организацию одной заметки. Сашенька тоже не уносила с собой ни репортажа, ни выступления — она даже ни одной записи в блокноте не сделала (и самого блокнота с собой не брала). Но что-то важнее записей переполняло ее: живые, свежие впечатления. Когда она «теряла» время так, как в этот вечер, она никогда не жалела об этом. Сашенька не относилась делячески к своей жизни и работе. Она просто никогда не думала, что часы «от» и «до»— это для нее работа, а остальные — ее личное время. Она могла бродить по стройке до вечера или писать очерк — до утра, не задумываясь, что она лично при этом теряет какие-то часы отдыха. Для нее главное было — чувствовать себя счастливой, а счастлива она бывала в такие дни и такие вечера, как сегодня: когда бывало такое приподнятое настроение — и она уже знала, что будет писать, что сможет написать об увиденном. И если бы ей отводили в радиокомитете не какие-то минуты, если бы ей позволили включить микрофон на целые сутки, то и тогда наверняка у нее хватило бы материала для такой колоссальной передачи! И еще не обо всех она бы успела рассказать.

Юра Поляков много трезвее относился к работе. Он знал, сколько строк от него потребует редакция, сколько часов в неделю он должен этому отдать. Работа его достаточно интересовала — он уехал из областного центра, чтобы находиться непосредственно на крупнейшей стройке, чтобы увидеть все своими глазами (а может быть, и для того, чтобы «быть в первых рядах»). Но, работая, он не забывал ни о своем личном времени, ни о своих личных интересах. Он мог спокойно отложить недописанную корреспонденцию и

раскрыть книгу на заложенной странице. Сашенька жила нерастраченным порывом.

В резком серебре ночи Сашеньке отчетливо вспоминались лица новых знакомых: рыженькая Зина с огрубевшими от лопаты пальцами, дерзкий восторженный Коля, робкий, с затаенной в глазах нежностью баянист Володя, добродушный Туров, стремительный Ведерников — какие славные ребята! «Даже Игорь Михайлович с его показным стилем, наверное, хороший парень»,— думала Сашенька.

Когда они с Юрой вышли из лесу, женское общежитие № 5 уже спало. На их стук долго никто не отзывался. Наконец заспанная вахтерша открыла, подозрительно оглядела Юру и проворчала вслед Сашеньке:

— Шляются по ночам!

ГЛАВА II

Собирая материал для очередной передачи, бывая со своим магнитофоном на разных участках огромной стройки, Сашенька не забывала, что ей нужно найти хорошую песню. Она побывала в постройкоме и у руководителя духового оркестра, сухонького старичка Льва Ананьича. В постройкоме ничего не нашлось, Лев Ананьич предложил ей революционную песню «Замучен тяжелой неволей».

В комитете комсомола Сашеньке показали альбом с видами Москвы — подарок студентов-строителей, узенький гобелен величиной с тетрадь — дар китайской делегации, и роскошный набор репродукций Ленинградского Эрмитажа.

— Песен пока никто не шлет,— сказал секретарь комитета.— Заявлений от желающих ехать на стройку каждый день получаем полный мешок, а песен нет. Самим нужно сочинять!

Сочинять было уже некогда, последняя надежда оставалась на хваленый клуб правого берега.

Действительно, у директора клуба «Гидростроитель» Миши Собенникова, неуклюжего, медлительного парня со свирепым скуластым лицом, нашлась не одна песня. Его кабинетик был завален макетами фотовитрин, рулонами стенгазет, костюмами, красными и зелеными сапожками, духовыми инструментами. Здесь нашлась и пухлая серая папка «Для дел», наполненная вырезанными из газет и журналов или просто переписанными от руки на тетрадных листочках словами и нотами песен.

Собенников собирал хорошие песни по общежитиям у ребят и девчат.

В папке встречались и напыщенные стихи с нелепым набором слов: «Ангара-Ангара — золотая пора!» Были и хорошие песни. Наконец Сашенька нашла и песню с москвичах добровольцах.

А на следующий вечер состоялась первая репетиция. Прижавшись друг к другу, девушки задушевно пели:

Дом родимый свой
У Москвы-реки
Мы оставили навсегда,
Чтобы здесь, в тайге,
Встали фабрики,
Встали новые города.

— А про нашу ЛЭП нет слов, и про подстанцию,— сказала голубоглазая круглолицая девушка лет семнадцати. Сочинил бы кто-нибудь! — сказала она мечтательно.— Ведь так замечательно мы там жили, правда, девчата?!

— Расскажите,— попросила Сашенька.

До сумерек просидели они в палатке, вспоминая жизнь на трассе. Рассказали, как Руска стерла ладони, ревела и копала — это в первый раз. А самой выносливой и ловкой оказалась маленькая Валя.

— А помните, как ребят перевоспитывали?! От водки отучали.

— Нет, девчата, лучше всего были танцы! Прямо перед палатками танцевали, и зимой — и так весело!

Многое услышала от них Сашенька о трудной и веселой жизни на трассе. Этим девушкам не раз приходилось тащить через тайгу мешки с хлебом и цементом. Когда бетонировали фундаменты под опоры, отогревали бетон своими телогрейками, ночами дежурили, жгли костры, чтобы не заморозить.

— Трудно до чего было, а ведь не хотелось уезжать с трассы, когда закончили работы.

— Ребята наши еще остались там, монтажниками. Опоры собирают. Не скоро еще приедут...— задумчиво сказала Зина и загрустила.

— На пуск подстанции они обязательно приедут. Мы такой праздник устроим!

При этих словах на лицах девчат расцвели улыбки. Видимо, многие ждали этой встречи.

Сашенька была благодарна репетиции, которая помогла ей узнать этих славных девушек. Веселые, самостоятельные и решительные, они сильно отличались от ее институтских подруг, воспитанных довольно теплично. Эти же девчата покоряли своей силой и бод-

ростью. Вот она и не думала собирать материал для очерка, а узнала, пожалуй, больше, чем порой с блокнотом и карандашом, когда налетом знакомишься и спрашиваешь. Раскрытый блокнот и нацеленное перо журналиста нередко пугают. В непринужденном разговоре люди раскрываются лучше.

— А ты, Саша, откуда приехала?— спросила ее Зина.

— Из Иркутска.

— Ты где-то училась на корренспондента?

— В университете.

— Мы тоже обязательно будем учиться! В учебном комбинате открыли приемный пункт. Можно поступить даже в МИСИ! Это очень здорово! Представляешь, заканчивается строительство, а мы едем на следующее и в отдел кадров: «Здравствуйте, мы инженеры-гидротехники»,— спокойно, вежливо.

Например, начальник отдела кадров захочет поинтересоваться: «А вы, товарищи инженеры, бетон класть умеете?» А мы ему скажем: «Мы, товарищ начальник отдела кадров, знаем, что такое трасса, что такое подстанция, что такое ГЭС! Посмотрите на наши руки!»

— Ох, и расхвасталась ты, Зинка!— засмеялась Руся и схватила маленькую Зину в охапку.

— А что, разве не правда? Ведь ты поступила на ПРС,— сказала она победно,— мы поступим! Подготовимся на курсах и поступим. И ты мне не запрещай мечтать, Руска!

Тут все развеселились. В красном уголке поднялся веселый гам, беготня, смех. Наступила разрядка после серьезного разговора.

Девушки вышли проводить Сашеньку. Когда они поравнялись с небольшой площадкой, освещенной прожектором, к ним подбежали ребята в черных спецовках и белых широкополых шляпах-накомарниках. Лица их скрывал черный тюль, опущенный с полей шляп. Вынырнувшие из темноты на свет прожектора, их фигуры были довольно экзотичны.

— Здравствуйте, синьорины!— громко сказал первый из них, подбегая к Сашеньке.

— Игорь! Вы здесь работаете?

— На нашу бригаду взвалили все фундаменты. Взгляните, этот надо забетонировать до утра.

Сашенька заглянула за высокий щит опалубки и удивилась: бетон был еще только на дне блока.

— Сто кубиков!— сказал Игорь.— Наш атаман решил «сделаем», значит, сделаем.

В это время к ним неторопливо подошел еще один рабочий. По коренастой фигуре Сашенька узнала Турова. Лицо его, как и у других, закрывала черная сетка накомарника. Туров поздоровался с Сашей и остановился чуть в стороне, покуривая.

— Вот и наш бригадир!— объявил Игорь, будто бы Саша не видела Турова, стоявшего рядом.— Знаете, ведь он у нас герой! В прошлом году в «Красной звезде» был напечатан его портрет. Вы не видели этого номера? Когда это было, ребята?

— В мае,— подсказал высокий худощавый паренек.

— За что его так отметили?— спросила Саша.

— Он из своего орудия сбил чужой самолет, перелетевший нашу границу. Сержант Алексей Туров за три секунды привел орудие в боевую готовность. Сбил на огромной высоте! Вот какой у нас атаман.

— Ребята, бетон везут,— спокойно предупредил Туров. До этого он не мешал разговору.

Ребята разбежались.

— Саша, посидите возле костра,— неожиданно сказал он Сашеньке так же спокойно, как говорил с ребятами.— Мы скоро вернемся и отправим вас на машине.— Сказав это, он неторопливо, вразвалку пошел к котловану и скрылся за опалубкой.

Сашенька подтолкнула в костер необгоревшие концы поленьев и присела рядом с костром на бревно, обхватив колени руками. Из костра роями вылетали искры и, вспыхивая, таяли в темноте. Неподалеку, за дорогой, чернела тайга.

Рядом что-то жестко зашуршало и дробно посыпалось, как камушки с откоса. Сашенька обернулась и увидела, как из поднятого кузова самосвала медленно скользит тяжелая масса бетона. Худощавый паренек, каким-то чудом уцепившись ногой за поднятый борт самосвала, поддел лопатой густую массу, и она шарахнулась вниз на плоский деревянный лоток. Самосвал, тарахтя пустым кузовом, развернулся и ушел.

Игорь и худощавый парень принялись выбрасывать бетон из деревянного ящика на ленту транспортера. Худощавый сбросил гимнастерку. Саша видела его мускулистые плечи и тонкую талию, которая сгибалась и наклонялась быстро и легко, как в танце. «Удивительно, как это он?! Ведь бетон тяжелый»,— подумала Саша, наблюдая за его легкими движениями. Ей вдруг отчаянно захотелось встать рядом с этим парнем и кидать бетон.

За дощатой опалубкой мелькал яркий свет большой лампы, слышалось урчание вибратора — там по дну щели, образованной деревян-

ными стенками опалубки, перетаскивая тяжеленный вибратор, орудовал Туров.

После захода солнца тучи гнуса вылетали из тайги. Вернувшись, ребята застали Сашеньку, отчаянно отмахивающуюся от облака мошкары. Подошел Туров.

— Они же вас совсем заедят!— Он снял свой накомарник и протянул Саше.

— Как же вы?

— Меня не тронут. Я курю,— возразил он спокойно.

— Синьорина, вам идет эта вуаль!— сказал Игорь Михайлович.

Сашенька вдохнула приятный дымный запах накомарника, еще пропитанный папиросой, и подумала, что рабочие ребята, оказывается, умеют так просто проявлять внимание к женщине. Как все-таки не прав Юрка, назвавший их грубыми механизмами!

Туров присел рядом на бревно.

— Леша, я сбегаю посмотреть, как дела на бетономешалке!— крикнул худощавый, скрываясь в темноте.

За чем-то ушли еще двое, Володя и Саша. Игорь вскарабкался на ленту транспортера. Что-то проверяя, он напевал песенку из нового кинофильма.

Туров молчал. Сосредоточенно глядя на костер, он затягивался дымом папиросы и о чем-то думал.

Сашеньке даже нравилась его молчаливость. На его месте любой из ее знакомых обязательно завел бы разговор, в котором выставил бы себя в выгодном свете. Она знала, что ни один мужчина не устоит перед соблазном покрасоваться перед женщиной.

А Юра Поляков? В первый же вечер знакомства заговорил о своей славе журналиста, об успехах у женщин.

Туров помалкивал и думал о Сашеньке. Что она за человек? Простая, душевная. Пожалуй, не похожа на тех девиц с высшим образованием, которые себя ставят выше всех. Впрочем, сразу не узнаешь.

— Как вас мама отпустила на стройку?— неожиданно спросил Туров.

— А вас?— отпарировала Сашенька.

— Ну, я другое дело, с тринадцати лет работаю,— спокойно сказал Туров.

— А я с десяти лет не живу с матерью.— Сашенька нахмурилась и замолчала.

— Ну, значит, с отцом жили,— почему-то настаивал Туров.

— И жила бы!— упрямо сказала она.— Что в этом плохого? У меня батя был хороший, советской властью управлял в соседнем районе. Только давно это было: погиб в сорок втором.

— И мой,— задумчиво сказал Туров.

Они помолчали.

Тут снова подошла машина с бетоном и прибежали ребята. Теперь Туров встал у лотка и не торопясь принялся выбрасывать бетон. Казалось, он действовал очень медлительно. Между тем на его стороне лоток очистился раньше, чем у быстрого, верткого Вадима.

Сашенька не утерпела, подошла к Турову и попросила:

— Дайте попробовать!

— Что вы!— сказал он удивленно, посмотрел на ее белое платье и тонкие руки.— Запачкаетесь!

— Ничего не будет, дайте!

Он уступил ей свою лопату и вдруг смутился:

— Постойте!

Сашенька еще не поняла, в чем дело, а Туров, быстро наклонившись, положил у ее ног широкую доску.

— Становитесь на нее,— сказал он твердо.— Мы работаем в сапогах, а вы можете забетонировать туфли,—объяснил он, словно оправдываясь.

Саша начала выбрасывать бетон из лотка, стараясь это делать спокойно, как Туров. Вначале ей даже показалось, что это вовсе легко, но уже после пяти-шести бросков она с сильным напряжением поднимала лопату.

— Трудно?— спросил Туров и хотел отнять у нее лопату.

— Нисколько!— упрямо возразила она. Но еще несколько минут, и она просто не смогла бы поднять лопату с бетоном.

К счастью, бетон в лотке кончился.

— Мы в первый раз так же себя чувствовали,— сказал Игорь Михайлович.— Уверяю вас, через неделю вы бы стали заправской бетонщицей, Саша.

— Нет, Игорь, как корреспондент я, пожалуй, лучше справлюсь.

— Эта машина пойдет в поселок,— сказал Туров. Он подошел к шоферу.— Куда едешь?

— В гараж.

— Подвези девушку.

— Давай!

Опираясь на железную руку Турова, Сашенька перешагнула через траншею и кучи земли и выбралась на дорогу к машине. Когда Сашенька села в кабину, Туров все еще стоял возле машины и смотрел на нее, широко улыбаясь.

Машина помчалась. Молодой шофер без стеснения разглядывал Сашеньку и наконец решил выяснить, кто она такая.

— Твой, что ли, мальчик? — спросил он.— Или так просто едешь? — Он дал понять, что заинтересовался Сашенькой и хочет знать, свободна ли она.

— Мой!— улыбаясь ответила она.

— Так, значит,— серьезно заключил шофер.— И тут Лешка успел! Завидую! Ну, раз такое дело, доставлю тебя в один момент!— Он выжал последнюю скорость.

«Принял за подругу Турова. Он проработает всю ночь по колено в бетоне, и шофер сочувствует мне!» — подумала Сашенька.

В назначенный день, раз в неделю, отложив свои записи, репортажи и очерки, оставив в общежитии магнитофон, Сашенька отправлялась на репетицию хора.

Красный уголок набивался битком. Маленький Коля, перепачканный серебряной краской, пробирался на переднюю скамью и принимался уверять Сашеньку, что у него бас. Стоило труда уговорить его пересесть к альтам. Угомонившись, он доверчиво опускал голову на плечо Юры Ведерникова и внимательно следил за Сашенькиными руками.

Немало терпения и настойчивости потребовалось, чтобы приучить девчат петь без крика. Кое-что уже удалось. Начали разучивать новые песни на два голоса.

Иногда во время репетиции в красный уголок заглядывал Туров. Улыбался, молча постояв в дверях, и уходил, стараясь не задеть чего-нибудь.

После репетиции ребята вели Сашу осматривать подстанцию. Это вошло в обычай.

На площадке каждый день что-нибудь менялось. Сашенька уже не узнавала того места, где в первый раз видела туровцев за работой. Тот фундамент давно был закончен, и на нем смонтировали огромный мостовой кран для подъема трансформатора.

По всей площадке высились арки порталов, окрашенные серебряной краской. Пики громоотводов, конкурируя высотой с соседними лиственницами, уткнулись в небо.

Юра Ведерников очень настаивал, чтобы Сашенька осмотрела блок управления. Останавливаясь перед каждым распределительным щитом, он протащил ее по обоим этажам здания управления. Ведерников открывал каждый щит и показывал ей все кнопки и катушки. У Сашеньки уже рябило перед глазами, но она понимала, что Юра, зачисленный в бригаду электромонтажников, страшно горд тем, что может так подробно объяснить устройство сложного управления.

Туровцы теперь работали в огромном котловане под корпус асинхронных компенсаторов. Саша наблюдала, как в лабиринте шестиметровых щитов опалубки вырастал новый фундамент. Туровцы очень гордились, что их бригаде дали такой «фигурный» (выражение Игоря Михайловича) фундамент.

Сашенька так втянулась в дела подстанции, что информации и репортажи с этого объекта писала с настоящим знанием дела. Юра Поляков, хотя и изощрялся в насмешках, вместо того чтобы самому ходить на подстанцию, брал свежий материал у Сашеньки.

Но вдруг в ее жизнь ворвалась новая радость. Все переменилось. Девчата и ребята, подстанция отошли куда-то на второй план.

Внешне все шло по-старому. Она ходила по стройке, писала репортажи и очерки, занималась с хором, но только один человек накрепко захватил ее душу, только о нем она могла думать часами, возвращаясь по тайге к своему общежитию.

ГЛАВА III

Было воскресенье, очень солнечный, радостный день.

Тренировка только что окончилась. Сашенька привязала свою однопарку к плотику, искупалась и теперь сидела на корме, свесив ноги в прозрачную холодную воду.

На берегу, у кассы, вытянулась длинная очередь за лодками. Их давно уже разобрали. Выдавали только те, которые возвращались. Ожидающие своей очереди покататься столпились и на мостках. Они кричали изо всех сил, обращаясь к тем, кто был на лодках:

— Кончай кататься! Греби сюда!

— Давай лодку! Эй ты, на двупарке!

Между тем лодки весело сновали по протоке и ни один рулевой, казалось, не собирался поворачивать к берегу.

У Сашеньки тоже выпрашивали лодку, но она помнила строгий наказ тренера Володи Дегтяренко, юноши с железным характером, никому не отдавать закрепленные для тренировок шлюпки. Она решила не отзываться на крики любителей водного спорта, но вдруг кто-то назвал ее по имени. Сашенька оглянулась. На берегу, у мостков, стоял Туров, рядом с ним — Игорь Михайлович в темных очках со страшной массивной оправой и худощавый Вадим в белой блузе, расшитой «крестиком». Их было человек шесть, почти вся бригада, но Сашенька смотрела только на Турова, удивляясь, что раньше не замечала, какой он красивый. До сих пор она видела его только в кепке или накомарнике, а сейчас его волнистые волосы трепал ветер. Бе-

лая шелковая тенниска подчеркивала мужественность его загорелого лица. Сашенька невольно отметила про себя, что на Турове одежда сидит свободно и красиво. Было в Алеше какое-то особое благородство, гордость. Широкоплечий, он выделялся среди ребят.

Но главное, глаза его такие синие, как осколки сибирского неба, радостно улыбались ей, Сашеньке, и никому другому!

Быстро накинув сарафан, Саша выпрыгнула на берег.

— Что же вы одна? — спросил Туров.

— У меня нет бригады,— ответила она шутливо.

— В таком случае, синьорина, приглашаем вас фотографироваться вместе с нами,— церемонно произнес Игорь и для большего эффекта поклонился и помахал перед Сашенькой капроновой шляпой.

— Пойдемте с нами!— поддержал и черноволосый крепыш, незнакомый Сашеньке. Через плечо у него висел новенький «Киев».— Жаль, пленка кончается, придется перезаряжать идти. Тут совсем недалеко, на Ангарской! Потом пойдем в тайгу.

Туров выжидающе смотрел на Сашеньку.

— Что-то не хочется отсюда уходить.

— Останемся, Володя!— просил Туров крепыша.— Надо достать лодку, как ты думаешь?— сказал он серьезно, будто они давно уже обсуждали этот вопрос.

— Я мигом!— сказал тот, скрываясь в ангаре, в котором хранились тренировочные весла, байдарки и две шестерки, гордость тренера Дегтярева.

Остальные ребята шумно распрощались и ушли: у всех нашлись какие-то срочные дела в поселке.

— Для вас забронирована,— сказал Туров посмеиваясь.— Ведерников обещал бот на всю бригаду — заменит на лодку.

Действительно, Володя уже нес две пары весел.

— Двупарку дал!— объявил он сияя.

— Поедете с нами, Саша?— спросил Туров.

— Хорошо. Только я на весла: для тренировки,— попросила она.

— Пожалуйста, с Володей на пару. Я все равно не умею грести,— ответил он улыбаясь.

Володина спина заслоняла Турова от Сашеньки, но, откидываясь назад, чтобы подтянуть весла, она видела его. Он сидел на корме в небрежной свободной позе, чуть обернувшись к правому берегу, не отрываясь смотрел на далекие сопки, казавшиеся розовыми за дымкой прозрачного воздуха, и о чем-то думал. Глаза его были грустны. Глядя на него, Сашенька пожалела, что Поляков не видит Турова сейчас. Что бы он мог сказать о «людях-механизмах», которые умеют так любоваться природой?

Иногда Туров смотрел на нее и в глазах его рассыпались смеющиеся искры. Сашеньке вдруг захотелось петь, рассказать людям, как хорошо жить!

Морями теплыми омытая,
Лесами древними покрытая...

запела она тихо. Она любила эту песню, но вкладывала в нее другой смысл: не о далекой жаркой Индонезии, а о своей родной Сибири, тоже одетой в древние леса, омытой бурными реками.

Ты красой полна,
В сердце ты одна...

— Саша, спойте еще!— попросил Туров.

И тут она вспомнила старую сибирскую песню, которую любил еще отец:

Ангара-Ангара, перелив серебра,
Свежий ветер с просторов Байкала!
Ты своей быстротой, серебристой волной
Перед нами опять заблистала...

Раздольная, переливчатая песня разносилась над Ангарой и замирала на островах в листве притихших лиственниц и березок.

Только объехали один остров, как показался новый. Их было около десятка, один за другим они распластались поперек реки, как медвежьи шкуры. Снизу уже приближался рокот порогов, как вдруг встречное течение из-за острова подхватило их лодку и понесло ее вверх, в протоку.

Острова и протоки перемежались, а лодка все плыла и плыла, так и не достигнув другого берега. Казалось, чтобы добраться до него, потребуется грести до самого вечера. Сашеньке нравился этот лабиринт: островки нетронутой тайги на реке, огромные деревья и нескошенная трава выше роста человека. Она вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, попавшей в чудесную страну. Настроение ожидания чего-то неиспытанного, интересного охватило ее. Течение менялось так часто, что трудно было понять, куда они плывут. Но тут из-за большого острова навстречу им, как налетевшая эскадрилья, накатился рокот порогов.

— Дальше нельзя плыть! Привал!— сказал Туров.

— Смотрите!— крикнула Сашенька, указывая на остров, мимо которого они проплывали: как раз посредине в него врезался узкий пролив.— Поедем туда!

Лодка еле протискивалась по протоке. Весла застревали в камыше. С наклонного берега, круто срезанного водой, свешивались розовые цветы шиповника.

— Выходим?— спросил Володя, когда лодка уткнулась носом в берег.

— Здесь, наверное, полно змей,— боязливо сказала Сашенька.

— Глупости,— серьезно возразил Туров.— Любую змею можно убить. Хотите, научу? Только прижать ей голову к земле палкой — с места не сдвинется!

— Вот и прекрасно, будете меня защищать! — ответила Сашенька, выходя на берег. Ребята вытащили лодку из воды, и все трое отправились бродить по острову. Туров с толстой палкой в руке осторожно шел впереди, Сашенька — за ним, Володя замыкал шествие.

Зелень на острове разрослась настолько густо, что не видно было, куда ступает нога. Лиловые ирисы, малиновые зевы «кукушкиных сапожек», оранжевые «жарки» пестрели в высокой траве. Сашенька бросилась к пышному кусту:

— Красная смородина!

— Вовсе не красная, а черная,— возразил Туров невозмутимо спокойно.

— Но ягоды красные!

— Почернеют. Приедем через месяц — проверим, — уверенно сказал он. И Сашенька подумала, что это бригадирство, наверное, приучило его разговаривать с людьми таким безапелляционным тоном, что и не возразишь. «Его словам всегда веришь. Молодец! Я вот не умею разговаривать так уверенно. Видимо, не в институтах приобретают такое умение разговаривать с людьми...»

Они с удовольствием набили рты ягодами, но тут тучи гнуса облепили лица, руки, и Сашенька с Туровым бросились в бегство. Но, выбежав к Ангаре, они обнаружили, что лодка с Володей исчезла.

— По-моему, выход один — броситься в реку!

— Только не вздумайте меня догонять,— снова серьезно предупредил Туров.

— Где уж мне! Я страшная трусиха. Плывите первый, будете показывать глубину.

Туров нырнул и упрямо поплыл, погрузив голову в воду. Сашенька оценила его отработанный стиль и, поеживаясь, тихонько вошла в воду. Через несколько минут она перегнала его, озорно крикнув:

— Не утоните, Алеша!

Так они плавали наперегонки, пока вдруг Туров не заявил своим авторитетным тоном:

— Вообще-то в Ангаре запрещено купаться. Вы можете простудиться, Саша. Хватит!

— Какой командирский тон!— засмеялась Сашенька, но к берегу поплыла.

Когда она вышла из воды, на берегу уже горел костер, заботливо сложенный Туровым. Мошкара полетела прочь от дыма. Туров положил перед костром охапку зеленых веток.

— Садитесь к огню, обсыхайте.

Его простая заботливость тронула ее. Она села у огня и посмотрела на Турова внимательно. Он тоже пристально смотрел на ее матово-смуглое лицо, бархатные глаза, иссиня-черные волосы. Выражение его смеющихся глаз было теплым и чуть восторженным.

— Вы из Испании, Саша?— вдруг спросил он простодушно.

— Да что вы! Я же сибирячка! Моя прабабка была якутка, поэтому у нас все черноволосые и смуглые, в нее. Расскажите лучше о себе, Алеша, — попросила она.

— Чего рассказывать? До армии в Мурманске жил, рыбачил, не думал, что на стройку попаду.

— А почему все-таки поехали?— спросила Саша.

— Очень просто: Володька уговорил. Мы с ним в армии вместе служили и в гражданке решили не расставаться. Попали вначале на трассу, лес рубили, бетонировали пикеты, весной перебросили на подстанцию. Мы, как на фронте, штурмуем.

— Мне кажется, вам обязательно нужно учиться,— задумчиво сказала Сашенька.— Такие, как вы, должны становиться инженерами. Вы же всю стройку пройдете с лопатой, а потом стать бы вам прорабом, начальником участка, возглавлять строительство! Знаете, начальник нашей стройки в молодости был землекопом, окончил рабфак, вечерний институт и стал инженером на той же стройке. Второй институт он окончил позже, когда уже возглавлял строительство и имел звание Лауреата. Теперь у него две специальности: горняк и гидротехник. Человек так и должен жить, стремясь все к большей цели.

— Где уж мне теперь учиться, Саша!— невесело сказал Туров.— Десять лет прошло, все забыл. Смешно же в 24 года поступать в восьмой класс!

— А «Мартин Иден» Джека Лондона?

— Книга...— неопределенно протянул Туров.— В жизни проще. Наше дело строить. Сегодня на одном участке, завтра — на другом. Школу с собой в тайгу не возьмешь.

— Это отговорки!— вспылила Сашенька.— Землю ворочаете, а испугались учебников для пятнадцатилетних детишек.

— Откуда вы знаете про начальника строительства?— вдруг спросил Туров, чтобы переменить тему разговора.

— Юра Поляков рассказал.

— А, этот ваш коллега,— насмешливо заметил Алексей.— Он часто врет. Про нашу бригаду все напутал. Ни разу не видел нас за работой, принялся писать. Игорь Михайлович давал ему «интервью»— целое представление! Мы потом хохотали, когда он рассказывал, а ваш Поляков поверил. Я думаю, если корреспондент берется писать о людях, он должен сначала хорошо узнать их, правда, Саша?

— Да.

— Я бы на месте этого Полякова съездил на трассу, поработал в бригаде, тогда бы уж и написал — правду, по крайней мере.

— Правда-то правда,— согласилась Сашенька,— но ведь он находится на работе и не может еще где-то работать. Конечно, ему не мешало бы лучше узнать жизнь, я тоже так думаю. Зато литературу он замечательно знает, даже писателей, которых в программе не было.

— Вы давно дружите?— спросил Туров. Сашенька чувствовала, что он настороженно ждет ответа.

— Да, мы приятели с Юркой, как вы с Володей. В одном институте учились.

Лицо у Турова прояснилось.

Разговаривая, они не заметили, как вернулся Володя с какими-то кульками в руках.

— Вот,— сказал он смущенно и положил кульки перед Сашенькой. Из них посыпались конфеты.

В обратный путь на весла сел Туров. Сильными короткими рывками повел лодку наперерез течению. Вскоре они вышли из окружения островов в широкое русло.

Уже стемнело. Притихшие ребята проводили Сашеньку по тропке через тайгу, прямой дорогой к ее общежитию, смущенные, остановились на крыльце, начали поспешно прощаться.

— Зайдите!— предложила Сашенька.— Чаю попьем. Вы же озябли.

Переступив порог небольшой комнаты, Туров осмотрелся и по-детски восхищенно сказал:

— Хорошая у вас комната! Мы тоже скоро перейдем в такое общежитие: достроим подстанцию и переселимся в поселок, поближе к школе.

В комнате он вдруг стал смущенным и неуверенным.

Володя сел на стул и скромно молчал, преданно и терпеливо поглядывая на Турова. Мол, если другу здесь нравится, что ж, подожду. Туров осторожно обошел комнату, потрогал на полке корешки книг, добродушно посмеиваясь, спросил:

— Это вы все читали?

Он не знал, куда девать свои большие руки, и очень обрадовался, увидав Сашенькино овальное зеркало со сломанной ножкой.

— Можно, я исправлю?

— Ничего нельзя сделать. Все уже пробовали. Пусть стоит, не возитесь,— сказала Сашенька.

Туров взял зеркало, да так бережно, будто оно может сломаться у него в ладонях, осторожно положил его на стул. От усердия он даже засопел. Поглядывая на него, Сашенька улыбалась. Необыкновенно милый человечище.

— Дайте проволоки!— попросил он.

— У нас нет,— растерялась Сашенька.— Сейчас я к девчатам сбегаю.

— Не надо. Володька, у тебя нет гвоздя?

Володя порылся в карманах выходных серых брюк.

— Нашел! Подойдет?— спросил он, протягивая Турову здоровенный гвоздище.

— В самый раз,— невозмутимо ответил Туров.

Сашенька подумала, что зеркало уже пропало, но Туров ловко затолкал гвоздище в скобу, придерживающую ножку. Так же бережно он поставил зеркало на тумбочку, сказал невозмутимо:

— Теперь будет держаться.

Володя живо выпил чай и уже несколько раз намекал, что они могут опоздать на «такси» (так называли крытый грузовик, несколько раз в день объезжавший весь левый берег: «нижний» и «верхний» поселок, подстанцию и пристань. «Такси» ходило редко. Ждать его приходилось часами под соснами у дороги). Туров же отхлебывал чай невозмутимо медленно. Лицо у него было довольное и доброе.

Прощаясь, он нерешительно потоптался перед дверью и наконец спросил:

— Завтра в клубе встреча с китайской делегацией. Вы придете, Саша?

— Не знаю,— сказала она, стараясь не выдать своего волнения,— будет ли время.

Он посмотрел на нее долгим взглядом. Глаза его улыбались и просили, чтобы она не отказывалась. Какие-то секунды они смотре-

ли друг другу в глаза, не в силах оторвать взглядов. И этот разговор, может быть, сказал им больше, чем весь вечер.

— Я, наверное, приду,—сказала Сашенька.

ГЛАВА IV

На следующий вечер Сашенька очень долго собиралась в клуб. Достала из шкафа свое лучшее платье, воздушное с юбкой «солнце».

На встречу делегации она опоздала и еле протиснулась в зал. Сначала видела только прилипшую к лопаткам яркую голубую блузу на высоком парне, который стоял перед ней. Его спина заслоняла от нее весь зал. «Простою так весь вечер и ничего не увижу. Вот весело!» — подумала Сашенька. Но тут подошла новая группа опоздавших, ее начали подталкивать вперед. Высокий парень оглянулся и пробасил, сияя:

— Что же вы молчали? Проходите!

Маленькая, она ловко пробиралась среди плотно стиснутых тел и вскоре оказалась уже совсем близко от сцены. Переводя дыхание, быстро оглядела ряды. Зал был переполнен. Девчата в белых блузках, ребята в светлых штурмовиках и тенниcках, загорелые, сильные, по-праздничному чистые, тщательно причесанные.

Сашенька всматривалась в лица. Где же он? Сейчас кивнет. Действительно, кто-то закивал ей из глубины зала. Это Юра Поляков. Указывает на свободное место рядом. Сашенька отрицательно покачала головой: она вовсе не хочет сидеть. Про себя же подумала: «Как только войдет Туров, отсюда сразу увижу его». Она посматривала на широкую дверь рядом со сценой, в которой он должен был появиться с минуты на минуту. Все желания Сашеньки настолько сосредоточились в одной мысли: «Сейчас он должен войти», что она перестала замечать и переполненный зал и сцену с ораторами. Это стало необыкновенно важным, чтобы он сейчас пришел. Но вдруг она услышала, как в зале запели «Интернационал». Значит, встреча уже окончилась и Туров не придет.

Сашенька быстро пошла к выходу, чтобы скорее уйти из этого противного клуба. На дороге ее догнал Герман Рябов, молодой московский поэт, студент литературного института. Уже второе лето подряд он совершал творческие командировки на строительство. С Сашенькой Герман обычно разговаривал несколько покровительственно и в то же время игриво. И то и другое раздражало ее и возмущало.

В этот свой приезд Герман прямо с поезда, с чемоданом в руке неожиданно явился к Сашеньке. Он явно рассчитывал произвести на нее впечатление: светло-серый, не по-дорожному щегольской костюм, макинтош, небрежно переброшенный через плечо, рассказы о последних новостях московского литературного мира, о выставке неореалистов, как бы мельком сообщение о его, Германа, выступлении по телевидению, об успехе на празднике «Дня поэзии», наконец об издании его сборника стихов.

— Пишу цикл о Сибири! — рассказывал он с пафосом. Но Сашенька не слишком верила в его вдохновение, почерпнутое в трехдневных прогулках по стройке. В прошлом году она сама водила его по участкам левого берега, знакомила с лучшими строителями. Теперь ей казалось, что Герману нужно поработать на стройке, если он хочет написать о ней правду. Она сказала ему, что ходить гостем в сером костюме, когда кругом все трудятся, легче всего. Рассказала, что прошлой зимой не приходило в голову думать о неореализме: думала, как и все на стройке, успеют ли до морозов переселить семейных из палаток в дома, будет ли в срок пущена котельная поселка, успеют ли провести теплотрассу к дальним кварталам.

В тот вечер она сказала Герману все, что думает о нем:

— До института вы ходили по Сибири с отрядом геологов, вас заедал гнус, блуждали по тайге, недоедали, стихи писали искренние. Что же теперь с вами стало, Герман?

В тот вечер Герман ушел удивленный и обиженный: как это его, московского преуспевающего поэта, поучает эта провинциальная девочка! Тем не менее в душе он не мог не признать, что она права.

С тех пор Сашенька его не видела вот уже недели полторы. Юра Поляков говорил ей, что они вместе с Германом ездили на правый берег, в котлован, собираются вместе на ЛЭП. Ее Герман явно избегал. А тут он так некстати вынырнул из темноты в момент, когда она не могла заставить себя отвлечься от мыслей о Турове. У Германа же, наоборот, было превосходное настроение. Он каламбурил, читал стихи.

— Хотите, свое прочитаю, сибирское?

— Конечно, — ответила Сашенька, хотя у нее было только одно желание: поскорее остаться одной, добежать до общежития и выплакаться в подушку. Она не любила в плохом настроении показываться на глаза людям.

Но Герман, видимо, считал, что пройтись по поселку в его обществе Сашеньке только

приятно. Стихи свои он читал не торопясь, нараспев, нудно. Каждое его слово гулко раздавалось над Сашенькиным ухом, не затрагивая души. Поезд идет по Сибири. Сменяются дни. Мужчины в купе ведут разговор о работе. Вдруг входит женщина — и они умолкают, пораженные ее красотой.

— Нравится? — спросил Герман. Сашенька задумалась. Как это далеко от жизни! От наполненной, трудной жизни, которой живут ее товарищи и она!

Когда они дошли до перекрестка двух широких просек у нетронутого квартала тайги, будущего парка, Сашенька неожиданно стала прощаться.

— Дальше я добегу сама! Не сердитесь Герман. Надо еще магнитофон проверить, утром поеду в котлован делать запись.

— Такой славный вечерок! — игриво ответил Герман. — Очень жаль, что вы так торопитесь. Не убегайте, Сашенька. — И добавил многозначительно: — я хотел поговорить с вами серьезно. Мне скоро уезжать.

Сашенька нашла силы легкомысленно улыбнуться, ответила лукаво:

— В другой раз, Герман. Не сегодня!

Простившись, она пошла в обход, по недостроенным кварталам, чтобы по пути больше не встречать знакомых.

Хотя Сашенька отлично знала в районе поселка каждую тропку, каждый квадрат тайги, но вдруг она оказалась на краю широченной траншеи, а через несколько шагов натолкнулась на огромный вал глины. Кажется, еще на той неделе здесь была ровная просека, излюбленное место прогулок уединенных парочек и романтиков. Однажды весной они с Юрой Поляковым приходили сюда смотреть светлячков: в обочинах просеки у корней поваленных сосен их была тьма. Маленькие зеленые огоньки загорались то у одного, то у другого ствола, то где-то в глубине леса. Маленькие озорные огоньки жизни среди торжественной, неподвижной ночной тайги. Казалось, за мощными стволами шевелится, дышит какая-то злая, поистине «нечистая сила», огромная, бесформенная. А светлякам все нипочем.

Сейчас эти места избороздили глубокие траншеи для теплотрасс и водопровода. Сосны среди этих рабочих нагромождений глиняных валов выглядели совсем буднично. От былой таинственности остались мазки лунных бликов на темных стволах.

Сашенька, всегда чуткая к природе, сейчас ничего не замечала. Она старалась понять, почему Туров не пришел. «Может быть, нарочно? Может быть, он сейчас смеется, узнав, что она пришла в клуб...»

Утром, вскочив с постели, Сашенька по своему обыкновению подбежала к окну «поздороваться с тайгой». Под окном она увидела... Турова. Он стоял, растерянный и добрый, его невыносимо голубые глаза улыбались ей чуть виновато.

Конечно, во всем был виноват начальник участка Ротфорт! Вчера он заявил, что не отпустит бригаду Турова до тех пор, пока она не закончит фундаменты под асинхронные компенсаторы.

— Мне этот фундамент сейчас дороже всех делегаций, — отрезал Ротфорт. — И вам тоже: парады потом будем устраивать, а сейчас надо пускать подстанцию!

— Закончили? — спросила Сашенька.

— Конечно. Ребята сейчас отсыпаются; а я пришел... Думал, ты сердишься.

— Не угадал! У меня очень хорошее настроение! — весело ответила Сашенька. И она не лгала.

«Как могла я вчера подумать о нем какую-то ерунду, — спрашивала она себя, — когда он всю ночь работал?! Какой молодец!»

— Я свободен до самого вечера, а ты, Саша? — несмело спросил Туров.

— В два часа надо передать в Иркутск свежие информации. Две у меня готовы, третью принес ты. Так что часов до двенадцати и я свободна.

Узкая тропка веселым ручейком сбегала с крутой горы, прокладывая свое «русло» среди мощных сосен и пушистого подлеска. С выступа на выступ наподобие водопада прыгала по каменистому склону, а под конец почти отвесно падала вниз. По утрам сотни строителей «съезжали» по этой тропке с горы, на которой громоздился поселок, вниз, к реке, к котловану. Эти головокружительные, крутые, опасные и смелые тропинки были проторены новыми жителями Падуна.

Не переводя дыхания, Туров и Сашенька сбежали с горы и оказались у подножия утеса Пурсей. Под скалой среди диабазовых валунов, перепрыгивая с камня на камень, они пробирались вдоль скал.

Ангара, темно-зеленая, необыкновенно прозрачная, ярясь прорывалась по узкому проливу между скалой и перемычкой. Свирепые белые буруны вихрились над волнами. По узкому проливу не проходили даже быстроходные катера: натиск воды здесь был угрожающим.

На серо-коричневой поверхности скалы от человеческого роста до высоты десяти-пятнадцати метров пестрели имена смелых людей,

оповещавших Падун о своем посещении. Под каждой фамилией стояла дата. Было здесь и несколько имен, написанных еще через «ер» и «ять»: в 1895 году несколько отчаянных моряков провели через пороги пароход «Щетинкин». Эта надпись, сделанная красной краской, не пострадала от времени: под скалу солнце заглядывало редко. Зато совсем свеженькой краской были написаны имена строителей, и даты стояли под ними не такие давние: год 1955, 1956, 1957. Надо всем этим роем разноцветных надписей разной величины красовалась одна большая, четко выведенные белой масляной краской крупные буквы: «Здесь будет построена Братская ГЭС». Белая же стрелка указывала направление к створу.

Со дна каменного ущелья даже больно было смотреть на сверкающее синее небо. Каменные глыбы, темно-серые и коричневые с лиловым оттенком, громоздились одна на другую плашмя, торчком и боком, взбирались друг на друга, черт знает как держались: некоторые опирались одним уголком и почти всей массой висели над головой. И все это вместе составляло сплошную непоколебимую скалу высотой в сто метров. Пошатнуть глыбы в их вековых гнездах мог только сильный заряд взрывчатки, и то не всегда с первого раза.

— Посмотри, Саша, как раз здесь будут врезать «зуб», вклинят плотину прямо в скалу, — сказал Туров. — С весны, должно быть, начнут взрывы. Мы с Володькой пойдем во «Взрывпром».

— Это лазать на самый верх? Свалитесь!

— Ничего, я привычный по скалам лазать, — спокойно возразил он. — В Мурманске птичьи яйца доставал со скал. Не веришь? — вдруг по-мальчишески спросил он и, отбежав от Сашеньки, взобрался на каменный уступ, на другой, третий... Оказавшись над Сашенькиной головой, Туров быстро написал на отвесном камне «Саша».

— «Плюс Алеша»! — смеясь крикнула ему Сашенька. — Спускайтесь, храбрец!

В три прыжка он оказался рядом с ней, и они пошли дальше, немного смущенные этим эпизодом, но развеселившиеся.

— Посмотри! — воскликнула Сашенька. — Корабль!

В это время от скалы правого берега отвалила неуклюжая баржа переправы. Несколько груженых автомашин стояло на ней.

— Прокатимся! — предложила Сашенька, и они во весь дух побежали к новой пристани. Этой весной с появлением перемычки пристань перенесли «с насиженного места», от скалы Пурсей, в самый конец сужения, подальше от стремнины.

Поплавок пассажирской пристани двумя террасами нависал над рекой. Ласточки и стрижи, отчаянно крича, отрывались от скалы и носились в воздухе.

— Яхта тяжеловата, — рассматривая приближающееся судно, сказал Туров. Действительно, баржа, на которой с берега на берег перевозили пассажиров и машины, очень отдаленно напоминала яхту. Это было сооружение на добротных сваях, оседавшее в воду под тяжестью двускатного навеса. При первом взгляде на крышу баржи вспоминались амбары и конюшни. При внимательном осмотре приходили на ум более пугающие сравнения: от барьера до крыши баржу обтягивала мелкая ржавая решетка.

Пассажир, ступивший на палубу этого «ковчега» смотрел на мир через решетку и видел небо в черном свете.

— Плавучая тюрьма! — засмеялась Сашенька, но, несмотря на такое неприятное обстоятельство, они провели на борту рейсов шесть подряд. Все их только забавляло. На борту баржи было немало странного. Водники, словно желая скрыть от глаз пассажира черную решетку, каждый ее квадратный метр украсили белой или голубой жестяной табличкой, исписанной большими буквами. Таблички взывали к совести пассажиров.

— «За курение — под суд!», — прочитал Туров и поежился.

— «Пассажир! Будь осторожен во время хода теплохода! Не прыгай за борт!» — прочитала Сашенька и удивленно спросила: — Где же тут «теплоход»?

Посмеиваясь, Туров ответил ей словами следующей таблички: — «Высокое напряжение — опасно для жизни!»

— Хорошо бы поездить на настоящем теплоходе! — размечтавшись, сказала Сашенька. — Правда, Алеша?

— Правда, — ответил он. — Вот построим плотину, будет у нас свое море: очень просто — захотим мы с тобой в воскресенье покататься, сядем на большой белый теплоход.

— На подводных крыльях, — подсказала Сашенька.

— И объедем наше море!

«И будем мы тогда вспоминать эту нелепую баржу с черной сеткой, — подумала Сашенька. — Славная баржа! Впрочем, выдержит ли еще наша дружба столько лет? Не пролетит ли она так же быстро, как этот искрящийся солнечный день?»

ГЛАВА V

Туров приходил теперь каждый день. Они бродили по тайге или по стройке. Больше всего любили шагать по широкой просеке трассы. Ажурные металлические опоры цепью уходили вдаль к Иркутску.

Однажды в тайге, неподалеку от поселка, они услышали музыку. Казалось, грустная мелодия рождается здесь: слетает с ветвей задумчивых сосен, парит в зеленом тумане осинок, рвется ввысь в стремительном взлете лиственниц.

Сашенька вслушивалась и удивлялась: мелодия Чайковского, давно ей знакомая, но здесь, среди тайги, она звучала совершенно необыкновенно. «Вот где можно по-настоящему понять Чайковского! — подумала она. — Среди великанов-деревьев! Люди придумали закрытые концертные залы с искусственным резонансом — заперли музыку, оградили ее от широкого мира. Обитатели тесных городов хотели услышать шум леса и звон реки, а здесь — «тайга, как огромный концертный зал». Плывет мелодия по морю тайги, от вершины к вершине, от ствола к стволу, не стесненная никакими стенами, звенит, радует, живет!» Тайга подхватывала звуки, вплетала в них свой шум и уносила далеко-далеко...

Туров, посматривая на взволнованное лицо Сашеньки, тоже молчал из солидарности. Сам он обычно никогда не слушал серьезную музыку: не привык. В части, где он служил, ребята обязательно выключали приемник, когда начинали «тянуть» оперу. О симфонической музыке он тоже имел туманное представление, не интересовался. Но сейчас, когда Сашенька вся потянулась к пролетающим над тайгой мелодиям, и он прислушался, добродушно и терпеливо улыбаясь. Вдруг что-то задело его за душу: то ли ветер налетел, то ли буря? Кто-то плакал, звал, прощался... Музыка пела о чем-то нежном, очень понятном ему сейчас.

— О чем это? — спросил он Сашеньку.

— Адажио. Встречаются заколдованная девушка-лебедь Одетта и принц. Сила любви должна расколдовать ее. Хочешь, расскажу тебе?

Однажды в выходной день он пришел хмурый, долго молчал и неожиданно заявил:

— Уеду я, Саша! Не могу больше так жить.

— Ты?! — удивилась Сашенька. Уж от кого другого, но от Турова она не ожидала услышать такое. — Что случилось, Алеша?

— Как получка, так напиваемся. Вернешься после пьянки — вспоминать противно: во что превращаются наши серые костюмы, ты бы видела! На прошлой неделе у Игоря вытащили тысячу рублей из кармана, а он даже не помнит, когда и где. У Володьки новый фотоаппарат украли, мне изорвали костюм. Не хотел тебе раньше рассказывать всего этого: ты другой человек, честный. Тебе, наверное, и слушать про это противно. А сейчас просто не выдержал: настроение такое — с ребятами поругался.

— Из-за чего, Алеша?

— Опять собрались пить. Я не пошел с ними. К тебе пришел. — Некоторое время он сидел молча, опустив большую лохматую голову, ссутулив могучие плечи. — Ребята сказали мне, что я иду против своей бригады — не хочу пить с ними... Сегодня я не пошел, Саша, а в другой раз, не знаю, смогу ли устоять: потянет выпить — привыкли мы все, деньгами избалованы...

— Зачем ты так стараешься наговорить на себя, Алеша? — спросила Сашенька.

— Ничего я не наговариваю! Чтобы знала, какой я человек, — сказал он упрямо. — А то сочинили: «Туров герой! Туровцы — герои!» А герои горькую пьют. Уеду я! К матери, — сказал он с повелительной «туровской» интонацией.

Сашенька остановилась и внимательно посмотрела на Турова. До сих пор Алексей Туров казался ей воплощением силы, только силы... И вдруг такой припадок малодушия!

— К маме даже после армии не заехал — сразу на стройку. Она имеет право меня увидеть, один сын у нее.

— Ты поезжай повидаться, — посоветовала Сашенька мягко. — Но неужели ты, столько сделав сбежишь со стройки? Уедешь, не достроив?! Ты? Я так верила в тебя, так гордилась... — Это невольно вырвалось у Сашеньки. Она испугалась, что сильно обидела Алексея, и тоже замолчала.

Они шли по широкой прямой улице. По одну сторону еще шумела тайга, на другой — стройные сосны приветливо раскланивались над серыми шиферными крышами светлых брусчатых домов, от которых терпко пахло свежими опилками. Такой запах стоит на лесосеках, на лесозаводе и в их молодом поселке. На свежеокрашенных окнах ветер шевелил тюлевые шторы. Кое-где окна уже мягко сияли розовым и голубым, уютным «домашним» светом. Это был совершенно необходимый людям уют.

Темнело. Сашенька с каким-то особым, вдруг обострившимся интересом смотрела на освещенные окна и думала о том, что у нее

еще никогда не было своей комнаты — койка в общежитии, общий стол, общая этажерка, шкаф на троих-четверых. Правда, сейчас она, как собкорр, которому приходится много работать дома, живет в комнате для двоих. А вдруг у них с Алешей была бы своя комната? Ну, конечно, никакой мишуры, никаких салфеточек, каменных, гипсовых и целлулоидных зверей! Лучше почти пустая комната, чтобы было просторно: обязательно письменный стол и большая книжная полка — во всю стену, и мягкая тахта: кто придет в гости, будем усаживать на тахту, — смешно! Туров... в пижаме! Туров над книгами, домашний, «ручной» — трудно представить. Она засмеялась своим мыслям и неожиданно спросила:

— Алеша, ты сумел бы сделать полку для книг, большую-большую?

— Конечно! — удивился Туров. — Тебе?

— Нет, одним людям... Угадай, кому?

— Ну, вот еще! — улыбнулся он. — Тебе могу сделать. У тебя много книг?

— Будет много. Алеша, а дом построить ты сможешь?

— Одним людям?

— Нет, мне.

— О, какие собственнические замашки у корреспондентов! Что же ты одна будешь делать в целом доме?

— Я буду не одна, Алеша... — Сашенька вдруг ощутила в себе такое огромное, не тронутое еще жизнью желание заботиться о нем, ждать его после работы, успокаивать в часы тревоги... Размечталась! А ведь он собирается уезжать, расстаться с ней — значит, не так уж необходима ему ее забота...

— Ты о чем задумалась? — спросил Туров, очнувшись от своих мыслей. И неожиданно для себя сказал:

— Мне все в тебе нравится, Сашенька! Твой голос, как ты легко разговариваешь с людьми, твоя открытая душа... Все нравится! Хороший ты человек.

— Что с тобой, Алеша?! — удивилась Сашенька. — Такие длинные речи! Да что ты, Алеша, — повторила она смущаясь.

— Я буду тебя любить всю жизнь, Сашенька! — горячо сказал Алексей, сжимая ее руки. — Но хватит ли у тебя сил на такую жизнь? Характер у меня тяжелый. Замучаешься ты. Лучше я уеду.

— У меня характер еще тяжелее, Алеша! — ответила Сашенька. — Захочу — пройду по тайге 100—200 километров одна для тебя! Хочешь?!

— Я не верю, Саша. Ты все равно скоро разлюбишь меня.

— Какие терзания! — ответила она.—Пойдем, Алеша, лучше на Ангару. Послушаем, как пороги шумят.

Когда Туров вернулся в общежитие, ребята затеяли шутливый разговор, который вскоре начал его раздражать.

— Даже смешно смотреть, как ты ходишь на цирлах перед этой интеллигенткой, — сказал Вадим.

— Она решила человека из него сделать, — добавил Игорь Михайлович. — Алеша всего лишь бетонщик!

— А она кто? — поддержал Саша. — Подумаешь, проучилась пятнадцать лет, нахваталась верхушек.

— Хотел бы я посмотреть, как ты проучился еще хотя бы три года! — отрезал Туров. От его добродушия не осталось и следа.

— Мне и не нужно! — ответил Саша. — Лопатой заработаю больше.

— На водку, — сказал Туров.

— Уже перевоспитала? Быстро же ты влиянию поддался, положительному, — ответил Саша. — Все равно, Леша, тебе она не пара. Вспомнишь нас, да поздно будет! Через месяц после свадьбы начнет упрекать: то не так, другого не знаешь, неученый ты, грубый. Натерпишься еще, Леха, — заключил он сочувственно. — Пропадешь ни за что.

— Бросьте вы, ребята, ерунду говорить, — устало сказал Алексей. — Скучно слушать, честное слово. Занялись бы вы чем-нибудь полезным. На участке за восемь часов сколько успеваем сделать? А в свободное время: шесть-семь часов после работы что хорошего делает каждый из нас? Ты, Игорь, ты, Сашка, ты, Вадим? — Он посмотрел в упор на каждого, как строгий учитель, — убиваете время на карты, на водку, зубоскалите... Нам ли так жить, ребята! Передовая бригада, а взгляды, как у пещерных людей! Обозлились на Сашеньку за то, что она культурный человек! Разве это не дико? Она ведь хочет, чтобы все мы учились, больше знали, стали образованными людьми, а вы глупости всякие говорите. Она пишет о нас, как о героях, настоящих парнях, а мы тут пытаемся ее унизить, а свою лень, нежелание стать грамотными, развитыми превозносим до небес!

Этой осенью нас переведут в поселок в хорошее общежитие. Если вся наша бригада не отправится в школу рабочей молодежи — позор нам! — решительно проговорил он, быстро разделся, лег на койку и спокойно раскрыл книгу, которую взял сегодня у Сашеньки. Это был Хемингуэй. Сашенька хвалила. «Интересно, что этот американец понимает в настоящей жизни? Посмотрим, что могло ей понравиться...»

Спор утих. Зачинщики разговора были разочарованы. Они ожидали, что Туров, не желая портить отношений, поддержит их: шутить над девушками, с которыми встречались, не считалось зазорным. И вдруг такой неожиданный, серьезный отпор.

— Перевоспитала! — невесело заключил Вадим. — Скоро и нас заставит книжки читать.

— Да что вы, ребята! Она очень даже хорошая! — сказал Володя, который катался на лодке с Туровым и Сашенькой. — Только надо вам с нею познакомиться поближе. Ведь вы просто ревнуете, не хотите, чтобы Алеша от нас уходил. Но ведь это счастье, понимаете, человеческое счастье...

Часы ожидания — самые длинные в жизни... Хорошо еще, что Алеша не заставляет долго ждать и часто приходит раньше, чем договаривались. Но бывает, их бригаду оставляют работать во вторую смену — и Сашенька терпеливо ждет весь вечер. Потом он все-таки заезжает к ней повидаться, не снимая комбинезона, с последним самосвалом.

Но в этот выходной Алеша почему-то не пришел.

Сначала она сидела на подоконнике, чтобы еще издали увидеть его. Но мимо общежития шли чужие, веселые, нарядные девушки и ребята. Торопились, видимо, на реку или в кино.

За соснами замелькал серый костюм. Сашенька вгляделась. Нет, не он! Какой-то длинный парень.

Она отошла от окна и стала бесцельно слоняться по комнате. На душе было тяжело. «Сашенька, я приду утром!» Такой чудесный день, а она сидит здесь одна. Ирина уже давно на реке.

«Так раскиснуть! Обидели бедную девочку! Быстрее одеваться! На танцы, в кино — куда угодно!»

На сосновой просеке — аллее будущего парка — встретился Володя Дегтяренко, тренер по гребле.

— Сашенька! Два билета на «Илью Муромца», цветной широкоэкранный фильм. Пойдешь? — спросил он с надеждой.

— Пойдем, Володя.

Володя, не скрывая радости, шел рядом и увлеченно рассказывал содержание длиннейшей книги, которую вчера только дочитал. Сашенька пыталась улыбаться его рассказу. Но когда они подошли к новому кинотеатру, она невольно вспомнила, что в прошлое воскресенье была здесь с Алешей. Они пошли на дневной сеанс и сидели вдвоем в предпоследнем ряду. Зал был наполовину пустой. Совсем близко от нее было его лицо. Он часто взглядывал на Сашеньку и улыбался ей своей милой широкой улыбкой. Картина шла старая, еще немая, «Красные дьяволята».

Ей было так хорошо в тот день! А сейчас она пойдет в кино с чужим, совершенно неинтересным ей Володей Дегтяренко?! Только для того, чтобы доказать себе, что больше не думает о Турове. К чему это?

— Володя, извини, я не смогу с тобой пойти в кино, — сказала Сашенька. — Должен придти Алеша. Я подожду его.

На крыльце общежития ее ждал Туров, какой-то необычно суровый, собранный. Он шагнул к ней, взял за плечи, заглянул в глаза.

— Сашенька, нас посылают в тайгу, на прорыв.

— Когда? — спросила она, вздрогнув, сразу прощая ему сегодняшний день.

— Завтра утром. Поедем с подстанции. Придешь проститься?

Туровцы грузили в машины походные койки, матрацы, ящики с продуктами, палатки, забрасывали свои вещевые мешки и чемоданы.

— Леша, мы готовы! — крикнул Вадим.

— Сейчас, — отозвался Туров.

Он стоял перед Сашенькой, подтянутый, строгий, без улыбки, какой-то новый, тревожно смотрел в ее глаза.

Вокруг кипела стройка. Над металлоконструкциями вспыхивала сварка, монтажники поднимали очередной портал, работали краны, сновали машины. Ничего этого Сашенька с Туровым не видели в эти мгновения. И никто из рабочих даже не взглянул в их сторону, чтобы не смутить, не помешать.

Турова окликнули еще раз. Он наклонился к Сашеньке, одними глазами спросил: «Ждать будешь?» Ее взгляд ответил: «Очень!»

ГЛАВА VI

Новый художественный руководитель клуба Левого берега предложил присоединить к своему хору вокальную группу с подстанции. Ее это только обрадовало. На подстанции все слишком напоминало Алешу. Там она скучала о нем сильнее.

Ей не составило также большого труда уговорить Юру Полякова на месяц взять на себя поставку информаций с подстанции. «В обмен» Сашенька обещала ему привозить сообщения с Правого берега, добираться до которого было сложнее.

В силу заключенного «трудового соглашения» они встречались каждый день, чтобы обмениваться информациями. Покончив с делами, Юра пускался в рассуждения, которые иногда не на шутку сердили Сашеньку.

— Все надоело! Эти перемычки, миллионы кубометров грунта — голова трещит от цифр! Некогда писать хорошую прозу, Саша.

Это было почти правдой: писать было некогда.

Вечерами, урывая время у отдыха и сна, Юра писал миниатюрные романтические новеллы, в которых действовала природа и призрачные нереальные герои. От этих новелл веяло мистикой и могильным холодом, но Юра гордился своими произведениями и читал их только друзьям, которые могли его понять.

«Но ведь писатель должен быть понятен всем, любому рабочему стройки — народу», — думала Сашенька. Юре же почему-то грезились феи, таинственные незнакомки с грустными лицами, мужчины с гордыми профилями, леса, любовь, море... Обычная простая жизнь все еще не волновала его писательского воображения. «Когда же он переболеет этим? — спрашивала себя Сашенька. — Неужели стройка подойдет к концу, а Юра ничего не напишет о ней? Жить, не отзываясь на сегодняшний день, — это немыслимо для журналиста!»

Сашенька твердо решила бороться за талант Юры, повернуть его, в конце концов, лицом к жизни. Не так-то просто будет ей это сделать: до сих пор Юра обидно подчеркивает, что относится к ней с интересом только как к хорошенькой женщине, что ее «женская логика» ниже его уровня мышления, а поэтому он просто не может себе позволить принимать всерьез ее мнения. И все-таки она сделает так, что он внимательно прислушается к ее суждениям! Пусть не она, а рабочие ребята: монтажники, плотники, бетонщики — выскажут Юре, чего они ждали от писателей, когда по трассе через тайгу тащили на себе мешки с цементом, палатки, хлеб, бетономешалки...

Давно уже поговаривали в комитете комсомола, что хорошо бы создать литературное объединение. Дальше разговоров пока не пошло: не знали, кто за это возьмется. А ведь можно предложить Юру Полякова как руководителя! Ребят, увлекающихся литературой, на стройке немало. Многие пробуют писать. Обязательно нужно организовать их учебу. Она получится взаимной — Юра преподаст им теорию литературы, а они научат его по-другому смотреть на жизнь.

* *
*

Сашенька отсчитывала каждый день: двадцать уже позади. Если верить сроку командировки, осталось ждать еще десять долгих дней: туровцев послали на месяц. Никогда раньше она не могла бы поверить, что так может недоставать одного человека. Все эти дни без Алеши она живет как бы механически: выполняя все, что требуется по работе, встречаясь с десятками людей, делая записи и подготовляя новые передачи, — но все это время мысли ее заняты им: «Где он сейчас? Как там ему приходится? Скоро ли он сможет вернуться?!»

Многотиражная газета стройки приносила скупые сообщения, из которых Сашенька узнавала, в какой район перебросили бригады, посланные на ликвидацию прорыва. Из этих же информаций она знала, что туровцы оставили уже за собой по непроходимым участкам трассы первые десятки метров лежневых дорог. Писем она не получала: на глухие бездорожные участки трассы едва проходил трактор. Изредка Ротфорт, начальник четвертого участка строительства ЛЭП, после командировок на трассу передавал ей привет от Алексея.

В студенческие годы, мечтая о будущем, Сашенька часто завидовала женам моряков: у них любовь связана с подвигом, разлукой, ожиданием новой встречи. Их любовь не стареет. «Какое это счастье — дождаться!» — думала тогда Сашенька. Мечталось ей, что и она через несколько лет где-нибудь в небольшом приморском городке будет ожидать своего любимого. Вместе с другими женщинами ходить на берег моря...

Теперь она с улыбкой вспоминала об этом: морская романтика, пожалуй, не лучшая на земле! Разве легче ей ждать Турова из тайги? Разве меньше опасностей и неожиданных препятствий подстерегает его там?

* *
*

Последняя неделя ожидания! Сашенька уже мысленно рисовала встречу с Алешей: он усталый придет к ней в общежитие, они проведут вместе целый день, два, три дня — это очень много. Последняя неделя этого тягостного ожидания...

Сашенька задумалась. В дверь постучали. Пришел, конечно, Поляков, которого она сейчас не слишком хотела бы видеть. Развернул свежий номер многотиражной газеты.

— Еще не читали? Новости о строителях

ЛЭП! — Руку с газетой он поднял над головой так, что Сашенька не могла дотянуться до нее. — Потанцуйте!

Сашенька подпрыгнула, но достать газету ей все же не удалось: Поляков был очень высокого роста, так что его поднятая рука взмахивала листком чуть ли не под потолком.

— Юрка, как не стыдно мучить маленьких! — взмолилась она.

— Читайте, — торжествующе сказал он наконец, положив газету на стол. — Только уговор, без слез!

— Какие могут быть слезы! — ответила Сашенька, схватив газету и тут же жадно пробежав взглядом первые строчки:

«На трассе ЛЭП в районе Вихоревка — целую неделю бушевал верховой пожар. На самом глухом участке находились комсомольско-молодежные бригады Михаила Вороновича и Алексея Турова. Комсомольцы мужественно боролись с огнем...» Строчки заплясали перед глазами. «Где же подробности об Алеше? Ах, вот!..» «Бригада Алексея Турова защитила от огня деревянный настил через болото. Палатки и личное имущество ребят сгорели. Сами они невредимы, продолжают работу...» Дальше перечислялись имена незнакомых ребят из бригады Вороновича и все туровцы.

Прочитав заметку, Сашенька оставила в комнате удивленного Юрку и побежала через поселок к конторе управления главного энергетика, чтобы узнать подробности о случившемся.

Перед конторой толпились женщины с растерянными лицами, жены монтажников, находившихся на строительстве линии электропередачи. Они тоже пришли сюда, чтобы узнать о своих мужьях. Они рассказывали Сашеньке, что во время пожара начальник участка вылетел на трассу, но из-за дыма ничего не увидел. Тут же Сашенька узнала, что для борьбы с огнем на трассе созданы специальные заградительные отряды. Подробностей женщины не знали. Все надеялись, скоро приедет Ротфорт. Но в конторе его не было. Руководители УГЭ тоже находились на трассе.

Остановив попутную машину, Сашенька поехала на подстанцию. Забежала в туровское общежитие, на семейную половину. Там жили две Ани, жены Вадима Попова и Пети Синицына. Обе маленькие, круглолицые, с детскими косичками, похожие друг на друга, как школьницы-одноклассницы. Вадим и Петя привезли своих жен с трассы, где обе девушки работали бетонщицами на полигоне. Сейчас Аня Попова ждала ребенка. Сашенька заметила, что она часто улыбалась чуть насмешливо, будто бы относилась иронически-недоверчиво к своему положению и к событию, которого ожидала: Анька-бетонщица, запевала и пересмешница, и вдруг эти пеленочки-распашоночки и степенное звание «жена!»

О пожаре на трассе обе Ани знали столько же, сколько Сашенька. Тоже тревожились. Однако по их бодрым, неунывающим мордочкам Сашенька поняла, как крепко они верят, что все обойдется: не такие парни туровцы, чтобы растеряться и пропасть!

Сашенька засиделась у них: с Анями она чувствовала себя ближе к Алеше, и тревога не так угнетала.

К вечеру пошел сильный дождь. Сашенька вышла на крыльцо, подставила лицо прохладным каплям. Ливень разошелся не на шутку. «Вот это хорошо! Вот замечательно! — думала она. — Будет затяжной — все небо обложило тучами. Теперь обязательно утихнет пожар на трассе».

— Саша! Где ты пропала? Иди в комнату! — кричала ей Аня Попова. И когда Сашенька, промокшая, но с повеселевшим лицом, вернулась, предложила — оставайся у нас ночевать! Куда ночью пойдешь?!

Утром неожиданно пришел Вадим. Поставил перед Аней намокший, туго набитый рюкзак.

— Это тебе, — сказал он смущенно. — Кедровые орехи.

— Вот хорошо! — весело отозвалась Аня. — Сейчас же мы их нажарим и будем щелкать!

— Я шел пешком от нашего пикета до Вихоревки, пятьдесят километров отмахал, — признался Вадим. — Беспокоился, как ты здесь. Лешка меня отпустил: «Слетай, говорит, но живо — одна нога там, другая чтобы здесь была! Завтра возвращаться».

— Не отпущу я тебя, пока не рожу, — возразила Аня. — И Лешка ваш ничего не скажет: поймет, он человек.

— Я так бежал, Анька! Опоздать боялся.

— Как после пожара живете? — спросила Сашенька, проснувшись от их голосов.

— Лучше всех! — беспечно сказал Вадим. — Получили все новенькое: палатку, матрацы, одеяла — притащил трактор на прицепе. Справили новоселье.

— Когда вернетесь? Ребята собирались поступать в вечернюю школу. Сентябрь на носу.

— У-у, чего захотела! — Вадим тихонько присвистнул. — Да у нас работы еще на месяц! Приезжал Ротфорт, посмотрел наши лежневки и говорит: «Орлы — ребята! Дороги

готовы, теперь завезем вам металлоконструкции, будете монтировать опоры! Отличные монтажники из вас получатся, вот увидите»!

Ребята говорили ему насчет учебы, а он рассмеялся: «У меня вот путевка в Сочи пропадает — вот это обида! Отложил до декабря, а вам тут пустяк месяц поработать: в начале ноября засядете за парты, не беспокойтесь, слово Ротфорта! Последнюю опору поставите — и в тот же день в Братск. Общежитие на Постоянном на всю бригаду, семейным квартиры».

— «Слово Ротфорта?» — переспросила Аня. — Ну, ясно: просидите в тайге еще месяц, зато квартиры мы все получим — слово дал, это железно!

— Как там ваш бригадир? — спросила Сашенька, собравшаяся уходить.

— Я и забыл! — спохватился Вадим. — Письмо тебе. — Порывшись в нагрудном кармане, он вытащил пачку писем. — Всей подстанции.

Сашенька развернула листок из ученической тетрадки в клеточку. Всего несколько строчек:

«Здравствуй, Сашенька!
Сильно по тебе скучаю. Увидимся еще не скоро. Жди! У нас дела отлично идут. Вадим расскажет. Целую. Твой Леша».

Так мало! Но ведь письмо хорошее? Очень! Лучше и не надо!

— Он здоров? — спросила она Вадима.

— Как бык! — весело ответил тот. — Правда, последние дни хромает сильно: ногу ему чуть прижало опорой.

— Сломал?! — испугалась Сашенька.

— Да нет же! Ушиб — прошло уж, наверное. Проболтался я: он просил не говорить.

— Сразу надо было сказать! — рассердилась Аня. — Как они друг друга покрывают! Скажи лучше честно, что у Лешки с ногой?

— Я же сказал: немного придавило, ну, опухло это место, а больше ничего. Он же работает сейчас! — Вадим отчаянно оборонялся. «Зачем я сказал, дурак! Теперь они меня совсем замучают!» — подумал он.

— В каком месте ушиб? — как бы в подтверждение его опасений, спросила Сашенька.

— Здесь, кажется, — Вадим терпеливо показал на нижнюю часть голени. — Сходила бы, сама посмотрела, — добавил он с досадой, желая избавиться от дальнейших вопросов.

— А что? И схожу! — решительно ответила Сашенька.

В эту минуту она отчетливо поняла, что больше не может ждать Лешу ни одного дня, ни одного часа — она едет к нему!

ГЛАВА VII

Рейсовый автобус доходил только до старого Братска, грязного, пыльного, разбросанного на несколько километров по низкому берегу. Дальше нужно было добираться самостоятельно, на попутной машине, до следующего районного центра Тангуя, где был один из штабов строителей линии электропередачи. Сашенька около часа напрасно простояла у дороги, по которой прошло уже немало машин. Но шоферы почему-то не обращали внимания на ее поднятую руку. Настроение у Сашеньки стало портиться: она встала в пять часов утра, чтобы не терять ни минуты, к полудню добраться до трассы — и вот стоит здесь, как бедная родственница, а они все едут и едут мимо... и уже десять часов! «Может быть, целый день придется простоять на этом противном перекрестке и вернуться ни с чем?» — подумала она.

Она уже изрядно злилась на бездушных шоферов и начала заниматься самоедством. Но результата от этого все равно не было никакого.

Спасение пришло в лице высокого рыжеволосого парня в комбинезоне защитного цвета. Некоторое время он, видимо, стоял у дороги, наблюдая за Сашенькой, затем подошел, ободряюще улыбнулся, предложил подержать ее чемоданчик (в нем у Сашеньки был портативный магнитофон).

— Если вам на ЛЭП, то зря расстраиваетесь — все будет в полном порядке! — Мне тоже туда — должен успеть к вечерней смене: на трассе мой трактор. Так что не беспокойтесь — долго стоять здесь я не намерен.

Сашенька приняла его слова за обычное хвастовство, ибо она уже не верила, что какая-нибудь сила сможет остановить хоть одну из проносящихся мимо машин. Но парень в комбинезоне весело поглядывал на дорогу, не обращая внимания на Сашенькину неприветливость.

— Эй, Коля! — крикнул он проезжавшему в это время мимо них солидному шоферу в огромном МАЗе. — Ты не до Тангуя, случайно.

— Нет, — ответил шофер, выглянув из кабины, — я в карьер, рядом.

Пропустив машин пять, парень замахал следующему знакомому, водителю неказистой полуторки.

— До Тангуя захватишь, Женя?!

Шофер притормозил.

— Могу. Как раз там буду грузиться. А девушка твоя, что ли?

— Ей тоже в Тангуй, — ответил парень. Сашенька впервые почувствовала к нему симпатию: за то, что он не ответил утвердительно на вопрос шофера.

Они быстро забрались в пустой кузов. («Гоняют порожние машины на такое большое расстояние!» — невольно подумала Сашенька о руководителях автотранспортной конторы.) Попутчик в комбинезоне положил доску от борта к борту и предложил Сашеньке сесть на эту импровизированную скамью. Сам он встал за кабиной. Сашеньку отчаянно подбрасывало вместе с доской, на которой она сидела. Она встала рядом с рыжеволосым парнем, ухватилась обеими руками за кабину. Ехать стоя было увлекательнее. Ветер бил в лицо, горячил кожу, нещадно трепал волосы. Сашенька вся подалась вперед. На время она забыла обо всем: куда едет и зачем. Она чувствовала себя легкой, невесомой, будто бы она сама летит над дорогой навстречу распахнутым лесам, летит к горизонту.

— Вы зачем едете? — спросил парень, чтобы наконец начать приятный дорожный разговор.

— Повидаться с Лешей. Он на трассе, — простодушно ответила Сашенька. Ей не хотелось объяснять этому симпатичному парню, что она корреспондент областного радио: он начнет стесняться. Но и лишней фамильярности она не хотела.

— Кто это Алеша? Может быть, на нашем участке работает? Как его фамилия? — заинтересовался тракторист.

— Туров.

— Алешка Туров! Знаю! Вместе работали. А меня, между прочим, зовут Мишей. До стройки во флоте служил, в Одессе. Теперь вот сибиряком заделался. Учусь заочно на механическом. Занятная жизнь!

Окончим стройку — я как раз закончу институт — и уеду на Украину.

— Тянет? — спросила Сашенька.

— Тянет: родина!

— Это верно: родина у каждого одна. Я бы затосковала в другом краю.

Они помолчали. Машина шла по селу, вытянутому одной длинной улицей вдоль дороги. Дома были приземистые, а крыши большие, низко нахлобученные на маленькие оконца, как шляпки на грибах. Обогнув деревню, они снова въехали в лес.

— А девушка у вас есть? — спросила Сашенька.

— Есть. Переписываемся, — без особого энтузиазма ответил рыжеволосый. — Уже два года — только переписываемся и ни разу не видались. Вроде как в романе.

Видно было, что такой нереальный «роман» уже перестал даже развлекать.

Тайга по сторонам дороги становилась все гуще. Огромные сосны мягко ступали по нетронутой никем, некошеной траве. Она была, наверное, по плечо человеку. Яркие островки больших цветов лиловыми, малиновыми, оранжевыми пятнами расцвечивали лесные поляны. Этот зеленый и синий солнечный день радовал Сашеньку. Таежный воздух пьянил. С еле сдерживаемой радостью она думала, что, может быть, уже сегодня вечером увидит Алешу.

В Тангуе, просторном, тенистом, одноэтажном городке, где лиственницы росли прямо на улицах, Миша помог Сашеньке отыскать контору участка. Но все комнаты были пусты.

— На трассу уехали! — заключил Миша. — Значит, и машина участка ушла с ними. — Он посмотрел на часы — пятый час. — Сегодня вы уже на трассу не попадете! Переночуйте у моей хозяйки, а завтра утром пораньше придете сюда — прораб отправит вас к Турову.

Сашенька была разочарована: ей так хотелось сегодня же попасть на трассу!

— По какой дороге едут на его участок? — спросила она. — Может быть, я доберусь на попутной?

— Не советую: сейчас конец рабочего дня — все машины возвращаются сюда, и многие шоферы здесь и квартируют. Дотерпите до утра!

Он повел ее на окраину городка по берегу живописной речушки, где в конце просторной деревенской улицы стоял дом его хозяйки.

Комнаты в доме были тесные, но прохладные. В первой, побольше других, рубленые стены завешены большими застекленными рамами, в которых красовались все семейные фотографии, групповые, открытки и даже крохотные с паспорта. Сейчас хозяйка жила одна, все это множество пожилых и молодых лиц за рамами напоминало ей многочисленную родню.

К Сашеньке хозяйка отнеслась добросердечно, видимо, приняв ее за девушку Миши, к которому она успела сильно привязаться.

Наскоро умывшись во дворе под висячим рукомойником, Миша хлебнул на ходу молока, взял с собой пару кусков хлеба с салом и умчался к своему трактору, оставив Сашеньку на попечение доброй хозяйки.

Сашенька стянула с себя пропыленный свитер, не торопясь умылась во дворе студеной водой из колодца, с наслаждением походила босиком среди огородных грядок, буйно заросших пышными кустами помидоров и огурцов. Мохнатый пес, перестав лаять, плел-

ся за ней, стыдливо виляя хвостом... Все это: тишина, деревянный дом, запах земли и зелени, даже симпатичный пес, который сразу почуял в ней друга своей щенячьей братии,— все это так живо напомнило Сашеньке ее детство, когда после гибели отца она жила у бабушки в таком точно доме (только без витрин с фотографиями). Весной она вместе с бабушкой высаживала рассаду, а потом пропалывала грядки так чисто, что бабушка не могла нахвалиться. «Ты будешь хорошей хозяйкой, Сашенька! — говорила ей бабушка. — Вырастешь — этот дом и усадьба останутся тебе!» Сашенька тогда слушала ее очень внимательно, широко раскрыв глаза, — ей казалось сказочным чудом, что она станет хозяйкой такого множества грядок и старинного дома, в котором уютно скрипят половицы, а стены пахнут лесом... Потом каждое лето, еле вырвав неделю, Сашенька ездила к бабушке в гости. Дом казался ей маленьким и старым, возиться в огороде не было времени, она уходила в походы — и от большого чуда детства осталось только забавное, приятное воспоминание... Два года назад бабушка умерла. В ее доме поселился кто-то из односельчан, поскольку Сашенька не могла оставить свою бродячую журналистскую работу, чтобы заняться огородом. Она никогда и не вспоминала о существующей где-то собственной «усадьбе». Но сейчас неожиданно подумала: «Хорошо бы провести лето у бабушки! Полоть и поливать кусты, ходить босиком, есть огурцы с грядок... А что, съездим когда-нибудь... с Алешей! Будущим летом, например... Но неужели мы оставим стройку хоть на месяц?!»

Вечером хозяйка поила ее парным молоком и рассказывала о своей семье. Сашенька в душе удивлялась этой чудесной людской доверчивости, когда совершенно незнакомому человеку поверяют всю свою жизнь. В этих откровениях пожилой женщины была частица несказанной большой человеческой общности. Она понимала, что завистливые, плохие люди не распахивают душу перед другими: такие подозревают в каждом человеке только плохое, низменное, еще худшее, чем в них самих.

А эта старая русская женщина, которая жила одна... Она понимала, что люди, которые пришли в ее таежный край строить какую-то ЛЭП, это совсем новый народ. Ей не совсем было ясно, как можно жить настолько беззаботно и бесхозяйственно, как Миша, но в то же время она чувствовала, что все его мысли заняты чем-то большим. «ЛЭП! ЛЭП!» — постоянно слышала хозяйка от своих новых постояльцев. Квартиранты менялись, а забота у них оставалась все та же: «ЛЭП! ЛЭП!»

— Твой-то тоже ЛЭП строит? — доброжелательно спросила она Сашеньку.

— Да, на прорыв послали.

— Вот ведь какие! О себе небось не подумал...

Сашенька уснула на хозяйкиной койке, над которой висело широкое белое полотенце, расшитое красными петухами. Это, видимо, было убранство, завезенное хозяйкой с ее родины, Украины. Засыпая, Сашенька думала, что в этом доме, куда она случайно попала, ей очень хорошо и уютно.

Рано утром она умывалась в речке. Над водой еще плавал плотный молочный туман. Он густел и прятался среди мохнатых темных елочек на том берегу. Пахло бодрой утренней прохладой. Такой почти физически ощутимый, бодрящий запах бывает только в Сибири. Вдыхая этот густой воздух, Сашенька снова вспомнила детство: казалось, эта прозрачная холодная речка, и мохнатые елки, и домик над невысоким обрывом — все это было давным-давно знакомым, родным. И опять «до смерти» захотелось навсегда остаться здесь, в таком доме над рекой! А ведь она была здесь в первый раз. Вот ведь какую силу над душой имеют эти глухие незатейливые русские углы!

ГЛАВА VIII

На другое утро Сашенька распрощалась с радушной хозяйкой, перебросила через плечо ремень магнитофона и отправилась к лагерю строителей. Перед прорабской палаткой она неожиданно увидела Витю Пильненко, фотокорреспондента ТАСС, приятеля Юры Полякова. Он был в походной форме, обвешан аппаратами, какими-то сумками и планшетами. И здесь Витя уже чувствовал себя, как дома, шумный, оживленный. Сашенька не раз завидовала той легкости, с которой Витя сходился с людьми. Стоило ему сфотографировать человека — он уже называл его по имени, хлопал по плечу и разговаривал о вещах, хорошо известных им двоим, будто они дружат много лет.

— Сашенька, привет!— крикнул Витя, еще издали заметив ее. — И ты на трассе! — Он протянул ей руку, энергично пожал. — Поедешь с нами! Выездная бригада журналистов, в составе Пильненко и Гошевой, на переднем крае строительства! Бросок на участок прорыва! — пошутил Витя. У него вошло в привычку разговаривать заголовками: он

всегда гнался за сюжетами и придумывал короткие надписи. Он был отличным фотографом, но тексты Вите не давались.

«Сегодня моя очередь делать подписи», — подумала Сашенька. Ей хотелось быстрее попасть на пикет Турова, но машина шла только одна — та, на которой собирались ехать Витя и монтажники, — и Сашенька отправилась вместе с ними: как никак это был путь на трассу.

Полдня их «газик» — большой грузовик на высоко посаженных осях, сверкающий еще свеженькой зеленой краской, колесил вокруг Вихоревки по таежным колеям, развозя по бригадам бухты алюминиевого провода. Машина останавливалась почти под каждой металлической опорой. Пока монтажники выгружали трос, Витя успевал заснять несколько кадров. Закрывая футляр аппарата, он весело сообщал Сашеньке: «Это для «Сибирки» (областная газета), «это пойдет в «Огонек», «пригодится для «Советского спорта»... Только для своего ТАСС Витя еще не сделал одного-единственного кадра, ради которого он колесил по трассе: требования фотохроники были очень высокими, стояли превыше всякой халтуры. Витя неутомимо искал этот единственный кадр. Он забирался вместе с монтажниками на сорокаметровые опоры, смешно пристраивался на верхней траверзе — узкой перекладине, по которой монтажники бегали, как по тротуару.

К обеду Витя уже подружился с монтажниками, приглашал их на будущее лето к себе на дачу, в Крым (у него еще не было даже комнаты в Падуне, но он верил в свою дачу!). В столовой они омыли свою встречу. Бригадир монтажников растрогался, назвал Витю другом и сказал, что на семнадцатом пикете стоит среди тайги роскошная угловая опора.

— Тебе бы, Витек, на эту опору взглянуть: красавица!

Тут же снова собрались в рейс. Ехали напрямик, по тайге, через поляны, высоченную нескошенную траву. Сашенька с наслаждением вдыхала хмельной настой сосны, трав и цветов. Как прекрасна ее тайга! Красивы и эти богатыри — люди, они не губили тайгу, они только прокладывали в ней дороги — для себя и для будущих людей. Пусть покроется асфальтом вся трасса, от Иркутска до Братска, а вокруг так же будет плескаться тайга зеленым океаном...

Сашенька жадно вбирала в себя впечатления трассы. По журналистской привычке она записывала цифры и фамилии людей. Но главное — она видела трассу, слышала ее голос. Когда становилось особенно интересно, она включала свой маленький магнитофон, стараясь делать это незаметно, чтобы не смущать рабочих, не спугнуть естественную беседу, живые голоса строителей трассы. Сашенька терпеть не могла, когда выступления перед микрофоном читались по бумажке. Она просто разговаривала с ребятами, а когда беседа становилась интересной, незаметно включала «маг». Пленка сохраняла непосредственность разговора.

К вечеру они снова вернулись в Вихоревку. Витя отвел ее в гостиницу. Сашенька, усталая, свалилась на свежую прохладную постель (в маленькой деревянной гостинице было удивительно чисто и уютно не по-казенному). Она с наслаждением вытянулась под простыней и закрыла глаза. Мелькали зеленые вершины сосен, травы, цветы. Она еще не добралась до Турова, но завтра — обязательно! И все-таки день прожит недаром, ее маленький друг, «волшебник» маг, «намотал себе на ус» столько интересного! Свежий получится репортаж, отличный!

Молодой прораб, собранный, деловитый и крайне серьезный, сказал, что на восемнадцатый пикет пойдет машина. Повезут «уголки», и он сам поедет.

— Пожалуй, можно и вас захватить. Места займете немного, — сказал прораб, взглянув на невысокую Сашеньку.

Ей было немного неприятно, что на нее смотрят только как на «место», но деловитость парня внушала уважение.

Беспокойным оказался этот сухощавый серьезный человек. На каждом пикете обязательно останавливал машину и бегал с бригадирами проверять работу. Так полдня они крутились по трассе совсем недалеко от Вихоревки.

Наконец он хлопнул дверцей кабины и сказал решительно:

— Все! Едем на восемнадцатый! Знаете, пожалуй, и на двадцатый пикет загляну с вами: давно не бывал у Турова.

Машина шла теперь по широкой новой дороге.

— Через год будем ездить в театр, в Иркутск, по асфальту, — сказал прораб.

Пока что дорога не была даже отсыпана: просто рыжий срез глины. Сашенька смотрела на это рыжее, словно вырезанное из самой земли дорожное полотно, и мысли ее текли ровно. Думалось о хорошем. Она подумала, что именно здесь, на этой рыжей дороге, создается будущее. Такая грубая эта дорога, с таким невероятным трудом отвоеванная, но прямая.

Высокая насыпь вскоре кончилась. Машина снова свернула на лесную колею, такую узкую, что борта ударялись о стволы деревьев. Хотя уже несколько дней жгло солнце, на лесной дороге грязь не просыхала после дождей. Машина плыла, как плот по лесной речушке.

На большом подъеме она забуксовала, да так прочно, что казалось, никакими силами машину уже не вытащить. Прораб и Сашенька бросали под колеса солому, доски от ящика, на котором сидели, ветки — все напрасно! Так они провозились около часа, но выбраться не удалось. На счастье, подоспел трактор. Он вез в прицепной тележке рабочих с трассы.

— Поворачивайте обратно! — советовали они. — Дальше машина все равно не пройдет.

Шофер согласился:

— Машиной рисковать не стану.

Прораб поддержал его: уже незачем ехать на восемнадцатый угол — сегодня суббота, смена кончилась, рабочие разъезжаются.

— Поедете в понедельник с утра, — предложил он Сашеньке. — А сейчас вернемся лучше в Вихоревку.

Сашенька не осуждала прораба. Она знала, что дома его ждет молодая жена с новорожденным сыном. Всю неделю он кочует по трассе, а сегодня — обязательно надо человеку побывать дома.

Она выпрыгнула из кабины, подхватила магнитофон и крикнула:

— До свидания!

— Что вы, что вы, девушка! — забеспокоился прораб. — Я не могу вас одну отпустить: бывает, медведи выходят на трассу!

— Ничего, убегу! — засмеялась Сашенька. Она думала об одном: «Сегодня увижу Алешу! Должна увидеть Алешу!» А прораб — он, наверное, просто пугает ее. Медведи уже ушли с трассы: они не любят шума.

— Ну, как знаете, — рассердился прораб. — Если твердо решили идти, то выходите на трассу и никуда с нее не сворачивайте.

* *
*

Грязь по колено. Бесконечная рыжая колея, от опоры к опоре. Чтобы чувствовать продвижение, она считала опоры. После шестого десятка сбилась. Стало нестерпимо жарко. Сашенька остановилась, собрала у дороги пригоршню брусники. Ощутила приятную прохладу ягод. Отдохнула, сняла плащ и свитер. Свернув, обвязала поясом, закинула через плечо. Идти стало легче. Сашенька торопила себя: «Скоро вечер. Надо добраться до жилья». Просека шла волнами, с холма на холм. Дойдя до вершины, Сашенька отдыхала, прислонясь спиной к подножию опоры. Тянуло сесть и уснуть. Резиновые сапоги намокли, потяжелели, жгли подошву. Сашенька еле шла. Наконец остановилась, стянула сапоги и дальше пошла босиком. Быстро темнело. Деревья по сторонам просеки стали казаться выше и будто бы вплотную придвинулись к колее дороги. Сашенька вдруг ясно почувствовала, что осталась совсем одна в этом огромном, со всех сторон подступающем мире тайги. Сделалось жутковато. Вдруг почему-то пришла мысль о медведе, который, может быть, бродит где-то рядом. Посмеиваясь над собой, Сашенька все же подумала, что станет делать, если медведь действительно выйдет на трассу. «Заберусь на опору, высоко-высоко, и буду кричать на всю тайгу, чтобы Алеша услышал!» Она засмеялась, представив себя сидящей на перекладине опоры с растерянным, перепуганным лицом. Уже совсем измученная, выбившаяся из сил Сашенька неожиданно увидела перед собой три домика. Они стояли прямо на трассе — три светлых вагончика на колесах. Возле ближнего женщина мыла сапоги.

— Здравствуйте! — сказала Сашенька. От радости голос ее звучал очень звонко.

— Здравствуйте, — спокойно ответила женщина, поглядев на Сашеньку. — Думала, кто из наших, а ты, видать, лэповская.

— А вы разве не с ЛЭП? — удивилась Сашенька.

— Мы-то? Геодезическая поисковая экспедиция. Идем от Иркутска.

— Что делаете?

— Намечаем створ второй линии электропередачи, рядом с этой пройдет. Визирку рубим. Да ты заходи в дом! — спохватилась она. — Чай, устала. Куда идешь-то?

— На двадцатый угол. Далеко он отсюда?

— Я, правда, не бывала, но говорят, километров пятьдесят будет. Как раз утром выйдешь и добежишь.

Женщина сразу понравилась Сашеньке: было в ней что-то материнское, доброе, располагающее к себе. Сашенька осталась. Вымыла сапоги и поднялась в вагончик.

На нарах спали женщины.

— Они рубят визирку? — удивилась Сашенька. Она думала, что лес рубить должны, конечно, мужчины.

— Моя бригада, — спокойно ответила женщина. — Такая уж наша профессия! Этих ли-

ний электропередачи, знаешь, сколько разметили — полстраны обошли: Куйбышев—Москва, Златоуст — Челябинск, Камская ГЭС — Свердловск — все наша экспедиция размечала. Кочуем... Вот что, ты поешь и спать будем ложиться. Она поставила перед Сашенькой миску каши с молоком, расстелила постель. Сашенька с аппетитом ела.

— Ты зачем идешь? — спросила женщина, когда Сашенька легла рядом с ней. Спросила она так просто, доброжелательно, что Сашенька, не любившая праздного бабьего любопытства, захотела все рассказать этой незнакомой женщине: рассказать ей о своем отце, которого она любила больше всех людей, о стройке, об Алеше — обо всем-обо всем! Рассказать, как родной матери (которая никогда не была ей другом).

— Ты, девушка, на Оленьку мою сильно похожа, — ласково сказала женщина. — Геолог она у меня. Про алмазы якутские слыхала? Там она, в партии. Первый год после института работает... Она замолчала, задумалась.

Сашенька крепко уснула, уткнувшись в мягкое материнское плечо Дарьи Ивановны.

Рано утром новая знакомая разбудила ее. Вместе с геодезистами Сашенька вышла из вагончика.

Дарья Ивановна, в комбинезоне, подтянутая, торопила своих девчат. Она надела шляпу-накомарник, взяла топор. И была уже совсем не похожа на ту, вчерашнюю, домашнюю, материнскую...

— Дойдете до Братска—обязательно заходите, — сказала Сашенька, прощаясь, хотя сознавала, что скорее всего они уже никогда не встретятся.

— Счастливый путь! — крикнула Дарья Ивановна.

Сашенька отправилась дальше — грязная дорога уже не казалась ей такой бесконечной и утомительной: пожилая женщина прошла от Куйбышевской ГЭС до Москвы, от Иркутска— до Братска, а ей осталось пройти всего каких-то пятьдесят километров — и сегодня она увидит Алешу!

Часа через два Сашенька вышла на вершину горы. Наверное, это была Старуха. Монтажники в Вихоревке поминали коварство ледяных склонов Старухи, Молодухи и Внучки. Зимой здесь разбилась машина, подвозившая части опоры. Но сейчас над самым обрывом уже стоит эта опора, огромная, с перекладинами раскорякой, крест-накрест. Точно такую же сфотографировал в конце своих поисков Витя Пильненко. Красавица угловая опора — какой неимоверный труд затрачен, чтобы она красовалась гордо среди тайги! Поблескивает черным лаком ее ажурный корпус. Может быть, эту опору подняла бригада Алеши Турова?

С вершины горы открывалось величественное зрелище: тайга, тайга, тайга... Небо и синие волны тайги до самого горизонта. Зеленые горы, ощетинившиеся макушками сосен. Просека линии электропередачи, как след проплывшего корабля.

Сашенька вспомнила рассказ Турова о том, как они поднимались на Старуху, тащили на себе палатки, ящики с продуктами, мешки с хлебом и даже бетономешалку... Сашенька с волнением осматривала отвесный склон горы и полянку на вершине. «Наверное, тут стояла их палатка. А на эту высокую лиственницу залез Вадим и водрузил на макушку красный флажок. Кажется, Вадим кричал: «Берегись, медведи!» А Туров? Он, наверное, тут же принялся за дело — стал натягивать палатку».

Неожиданно громко залаяла собака, вторая. Одна — низко, басовито, другая тонко, визгливо. Сашенька оглянулась: прямо к ней бежали огромный лохматый пес и маленькая комнатная собачонка, смешная здесь, среди могучих деревьев Бородатый человек на костыле появился из-за стволов.

— Тайга! Монтажник! — позвал он собак.

Сашенька во все глаза смотрела на появившихся. Тут она заметила палатку, спрятанную за деревьями.

— Здравствуйте! — приветствовал Сашеньку бородач Он очень обрадовался новому человеку. — Далеко идете?

— На двадцатый угол.

— Заходите в палатку. Там прохладно, отдохните. Вам еще километров двадцать шагать.

— Как? — удивилась Сашенька. — Геодезисты сказали, что всего пятьдесят километров, и еще двадцать!

— Так тут километры длинные — трасса! — пошутил бородатый. Одна нога была у него до колена забинтована.

В большой палатке было полусумрачно и пусто. Стояли только две койки, стол и радиола. На одной койке сидела молодая женщина в светлом ситцевом платье.

— Жена ко мне приехала — должны были переезжать в Братск, а я тут ногу повредил — остались пока, вроде сторожей. Живем, как на даче. Вы не стесняйтесь, — обратился он к Сашеньке, — ложитесь на койку, отдохните. Я могу в другую палатку уйти.

— Зачем же?! Я пойду дальше. Здесь остался целый лагерь?

— Ну да, наша бригада в Падун уехала — на постоянное жительство. А сюда линейщики придут — провода тянуть. Для них и оставлены палатки. Мы их ждем. А на двадцатом — там еще даже опор нет: прорывное место болотистое — дорогу ребята стелят. А вы к кому-то лично?

— Нет, я ко всем! — улыбнулась Сашенька. — От радио.

— Понятно! Только девушек у нас еще не было корреспондентов. И что же никто не проводил?

— Я сама поторопилась.

— Ну, значит, вы и наша гостья! Я бы проводил вас обязательно, да сейчас сам ковыляю. Хотите, Монтажника пошлю с вами?

— Да ну, что вы — осталось-то совсем недолго идти! Не беспокойтесь!

— А вы напрасно так беспечно настроены, девушка, — сказал бородач. — Этим летом наш старший мастер от одного до другого пикета так от медведя драпал, что только пятки сверкали. А ведь мужчина! А вы так легкомысленно относитесь...

— Нет, я боялась всю дорогу, — призналась Сашенька.

Они засмеялись.

Женщина позвала их обедать. Перед палаткой на самодельном столе в мисках разная аппетитная еда: откуда-то салат из огурцов и компот, консервированное мясо.

— Не стесняйтесь, девушка! — сказал бородач, как бы угадав ее мысли. — У нас на трассе все свои. Расскажите нам про Братск, — попросил он позже. — Я уезжал еще из Зеленого городка. Теперь, ребята рассказывали, уже постоянный поселок.

— Дома с паровым отоплением, три школы, клуб, стадион, заасфальтировали первые тротуары. Строят Дворец культуры, больничный городок, учебный комбинат.

Бородач слушал восхищенно.

— Нам отдельную квартиру дают, между прочим · полтора года на трассе — заработал удобства...

Сашенька шла дальше. Бородач и его жена что-то приветливое кричали ей. Тайга и Монтажник бежали за ней до следующей опоры, приветливо виляя хвостами... Она шла повеселевшая и думала: «необыкновенные люди все-таки на трассе: все друзья!»

Шла она снова до вечера. Вдоль просеки стояли мрачные обгоревшие стволы — следы пожара. Это его участок. Только дойти бы сегодня! Она заспешила, совсем выбилась из сил — как вдруг где-то впереди послышался неясный рокот. «Трактор! Люди!» Сашенька побежала. Рокот слышался отчетливо, но неясно было, где находится сам трактор: то ей казалось, что совсем близко, то очень далеко. Впереди, по полю трассы, валялись обугленные стволы. Больше Сашенька ничего не могла разглядеть. Она побежала. Ей казалось, что рокот затихает — значит, трактор уходит.

Неожиданно она увидела трактор, совсем рядом, шагах в двадцати. Он стоял на одном месте и приглушенно рокотал. На гусенице трактора она разглядела паренька в комбинезоне. Он махал ей руками и что-то кричал. Это был Володя Абрамов из бригады Алешки, муж маленькой Ани.

— Вот здорово! — сказал он ей, когда она подошла ближе. — Ты что же одна шла?! Вот задаст тебе Лешка! Медведь мог задрать.

— Что-то вы этими медведями запуганы до полусмерти, — смеясь ответила Сашенька, — чего здесь стоите?

— Ключ здесь. Воду берем на всю бригаду. Ну, что ж, залезай на трактор! Прокатим, ради иронии!

Володя уступил Сашеньке свое место на кожаном сидении рядом с бульдозеристом. (Это был не трактор, а бульдозер с поднятым для легкости передвижения ножом.) Они отъехали метров на двадцать, когда бульдозер впервые рванулся и нырнул в какую-то яму. Дверца распахнулась — и Володя, придерживавший огромный алюминиевый бидон с водой, чуть не вывалился из кабины. Сашеньку подбросило к крыше кабины, и она больно ударилась головой. Только бульдозерист сидел как вкопанный, твердо опирался о педали и спокойно держал рычаги в своих больших руках.

Так они и ехали. Бульдозер бросало вниз-вверх, из стороны в сторону. Наконец машина нырнула последний раз и быстро пошла по ровному настилу. Дробно постукивали бревна.

— Наш мостик! — крикнул Володя, стараясь перекричать тарахтение и лязг гусениц.

Еще метров шестьдесят бульдозер проехал по лежневке и остановился на небольшом пригорке. Володя забрался на гусеницу и закричал:

— Принимайте гостя, братья-разбойники!

Бульдозер окружили ребята, все бронзовые, как индейцы, с всклокоченными порыжевшими волосами.

Наперебой Сашеньке пожимали руку, улыбались, а она не сразу узнавала их: так изменились ребята. «Где Алеша? — думала Сашенька. — Неужели лежит?»

Но вот ребята расступились, разошлись: Туров протянул ей руки, вынес из кабины,

осторожно опустил на землю и растерянно спросил:

— Пришла?..

Мерцал костер, освещая несколько ближних стволов. Низко над землей сверкали огромные звезды: ярко-синяя, желтая, красная и белые, помельче. Сашенька и Туров сидели у костра и молчали. Алеша крепко держал в своих квадратных огрубевших ладонях ее маленькую руку. Сашеньку переполняла робость, но она стеснялась показать это. Она сидела притихшая, усталая и очень счастливая. Туров был сдержан, как английский дипломат: не мог же он показывать, насколько обрадован, потрясен приходом этой маленькой, легкой девушки. Теперь он ее ни за что не отпустит от себя, никогда!

Но на него смотрят ребята. Они все понимают. Нельзя выглядеть смешным в их глазах и перед Сашенькой.

— Я поехала за репортажем... — сказала она. Это значило, что ему, Алексею Турову, не следует воображать, будто она шла одна по тайге из-за его драгоценной персоны. Ну, а что сейчас не отнимает руки — так в этом ничего особенного нет: доверие к товарищу... Настроив себя на трезвый лад, Туров твердо решил, что никаких сентиментов он себе не позволит. Не отпустит он Сашеньку из своей жизни — это точно, но сейчас она его гостья. Сашеньке очень хотелось, чтобы Алексей сказал ей какие-то красивые, нежные слова, а он молчал. Она обиделась: шла-шла и доброго слова от него не услышишь!

Ребята в палатке пели «Песню о вещем Олеге» на мотив утесовского «У Черного моря». Многозначительно и громче, чем остальные, два раза пропели куплет:

Князь Игорь и Ольга
На холме сидят,
Дружина пирует у брега.
Дружина пирует у брега...

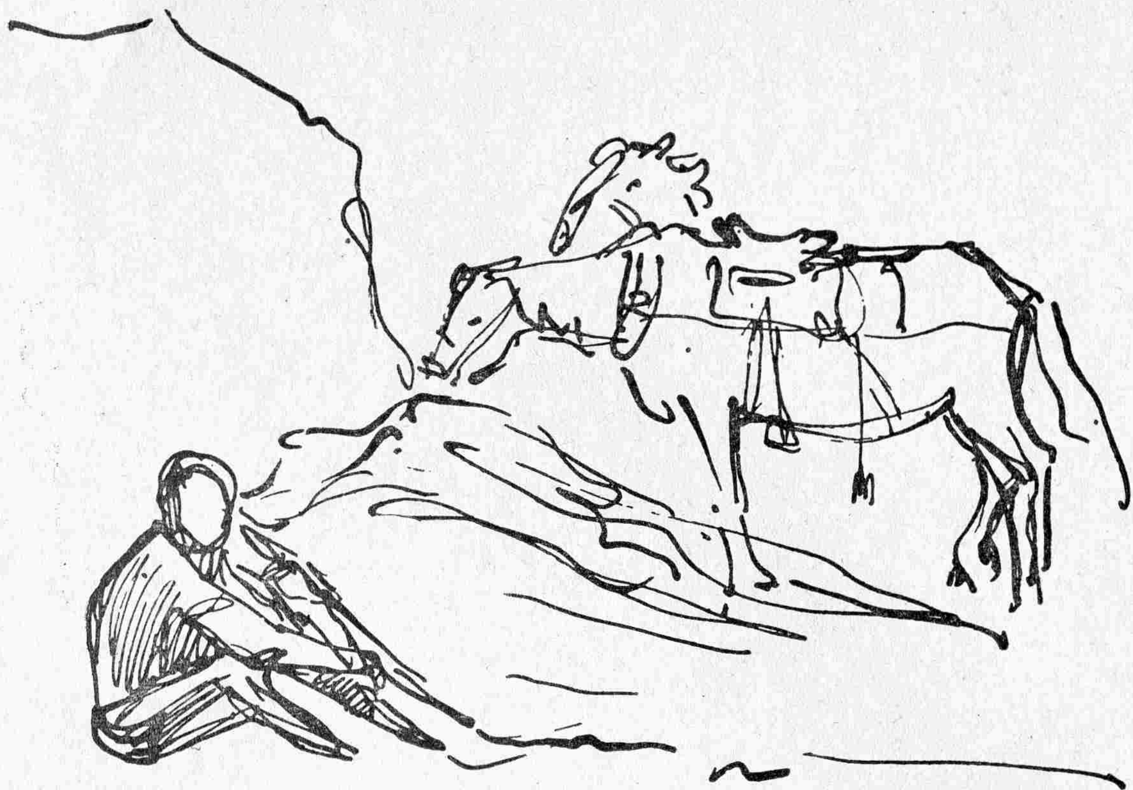
Замолчали. Огромная безмолвная ночь надвинулась со всех сторон, подступила к костру черными обгоревшими стволами. Костер потух — с пепелища тянуло теплом и уютом. Звезды померкли, затерялись в мохнатом, бездонно черном небе.

Они остались совсем одни в настороженно-молчаливой, враждебной тайге. Туров придвинул к ногам Сашеньки обгоревшее полено, плечи укутал своим брезентовым плащом. У Сашеньки слипались веки. Она склонила голову на плечо Алексея и почувствовала себя словно за каменной стеной. Ни о чем не хотелось думать, ничего выяснять. Ей было просто очень хорошо, покойно, как в детстве на руках у отца. Свернувшись под его плащом, уткнув нос в его плечо, она сладко задремала. Туров сидел, не шевелясь, всю ночь. Он был такой милый, с порыжевшими спутанными волосами, с бронзовым, как у индейца, лицом, он смотрел на Сашеньку так заботливо и трогательно. Он был совсем не похож на обычного сдержанного и чуть насмешливого «железного» Турова. Если бы Сашенька видела в это время его по-мальчишечьи взволнованное лицо, она бы многое поняла. Но Сашенька крепко спала.

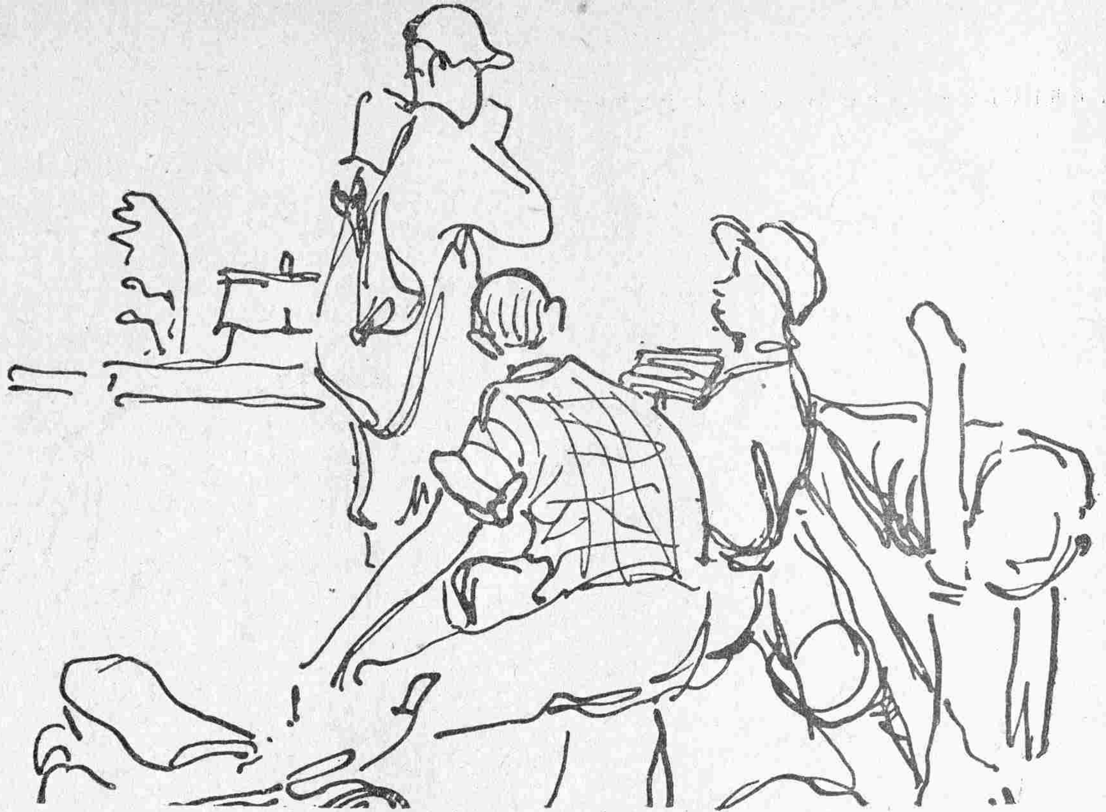
«Утром она уйдет. Уйдет! — думал Туров. — Снова не увижу ее — месяц, а то и два: пока не поднимем последнюю опору. У нее все пройдет — надоест ждать. Нет! Она дождется, Сашенька. Потом мы будем вместе, всегда, как сейчас, до конца. Не дадут комнаты — будем в общежитии, захочу — дом ей построю. Да, соберемся с ребятами — и построим! Среди сосен, в тайге! Эх, Сашенька! Буду я ради тебя над книжками просиживать целые ночи! Таким грамотным, таким ученым стану — аж тошно! — Туров усмехнулся своей обычной сдержанной улыбкой. — Знали бы ребята, о чем бригадир мечтает... Да что ребята? Поймут ребята! Для такой девушки нужно стать самым замечательным парнем — чтобы лучше никого для нее не было!.. А вдруг он для нее только так, для разнообразия? Ребята все втолковывают: Дегтяренко за ней ходит, Поляков всегда рядом с ней и еще какие-то московские поэты... Но ведь пришла она ко мне в тайгу, одна! Ко мне пришла!» Он не мог больше сидеть молча. Уже рассветает — как долго она спит: неужели не чувствует, что он совсем измучился.

— Сашенька! Сашенька! — заговорил он негромко, боясь испугать, но отчаянно желая, чтобы она проснулась. — Сашенька! Рассвет! Смотри, солнце встает — пойдем его встречать!

СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ Н. ДАЛБАНОВА.









Н. Морозов. **Культ гор.** Гуашь.



Н. Морозов. **Верхняя Гутара.** Акварель.



Н. Морозов. **Моя Тофалария.** Гуашь.

ГЕННАДИЙ ГОЛОВАТЫЙ

Геннадий Головатый живет на станции Зилово, в Забайкалье.

Он сын плотника, и запах сибирского леса входит в его комнату с самого раннего детства. Сам же Геннадий выйти в лес не может — тяжелый недуг лишил его возможности двигаться. Но, отрезанный болезнью от большого мира, Геннадий не сдается. Он входит в этот мир своим добрым и искренним сердцем, энергичными, мужественными строчками стихов.

К ветру

Ветер,
ты такой вольный!
Почему ты не улетишь к Солнцу?
Ты боишься обжечься?
Ну, тогда — слетай на Марс,
Это ведь так интересно!
А-а...
я знаю,
почему ты
никуда не улетаешь от Земли...
Ты —
прикован!
К хребтам и полям ее,
и якоря тяжелых цепей,
опутывающих тебя,
лежат на дне
ее океанов.
Я понял теперь,
почему
ты иногда
так яростно
мечешься и рвешься:
ты хочешь разорвать эти цепи!
И это — ты,
извечно считающийся
самым свободным в мире!
Ты —
«самый могучий на Земле» —
бессилен.
А маленький,
никогда не свободный, как ты,
человек,
которого ты можешь сбить с ног, —
кропотливо,
упорно,
и — верно
разрывает
в с е
цепи,
связывающие его!
Он —
«жалкий смертный!» —
разорвал
даже такую цепь,
какая держит тебя,
ветер!
Человек
о т о р в а л с я
от Земли!!!
Он сильнее тебя,
Ветер!
Он — свободней тебя,
Ветер!

* * *

Если новую истину
высказать избитыми выражениями,
к ней останутся равнодушны.
Если старую истину
выразить новыми словами,
это привлечет внимание.
Старые образцы кукол
наряжаются в новые образцы платьев
и выступают как носители прогресса.
А новые люди
продолжают старые дела,
и куклы над ними хихикают.
И мне хочется
всех и все
раздевать
и показывать миру:
поняли?

Дома

С кем я побеседую,
чью услышу речь?
— Стол, Вы не обедали?
Угощайте, Печь!

Стол, Вы не устали ли?
Вы бы прилегли?
Вас давно поставили?
Я Вас завалил.

Книгами, бумагами...
Извините, Стол.
Люди стали наглыми...
Даже я устал.

Стол! Вы были деревом
где-нибудь в тайге!
Трудно было в бури Вам
на одной ноге?

Вы не замечаете,
как замызган Пол?
За себя ручаетесь?
Не ручайтесь, Стол!..

Что? Грустите? Верю Вам.
Лучше ведь — в глуши
раззеленым деревом
слушать камыши!

Сам мечтаю издавна:
Ногу б хоть! — в пурге
убежал бы из дому
на одной ноге!

Практичный влюбленный

(Из объяснения)

— Не усложняй того, что просто!
Мы любим пышно говорить,
Но — кто хватает с неба звезды,
Чтобы любимой подарить?

Ах, эти милые поэты!
Они смешат весь белый свет:
Идти клянутся на край света,
Прекрасно зная: края нет.

Я ж не сулю тебе полмира
(В кармане грош — ценней луны!),
Но — без обмана — есть квартира,
И нет уюта без жены.

Представь себе: домой приходишь —
Мети, стирай, готовь обед.
Постой!.. Куда же ты уходишь?!
Ах, видно, умных женщин нет!

* *
*

Стены комнат слишком
для меня тесны.
Я ж еще мальчишка —
детище весны!
Я еще мечтатель
и в душе — поэт...

Мне всего-то только
два десятка лет!
Я ж еще зеленый,
жадный до всего:
я еще не кончил
детства своего.

Геннадий Машкин

В ТУ ЗВЕЗДНУЮ НОЧЬ

Рассказ

— Но-о, Звездочка! Поторопись, родная...

Снежный скрип под полозьями кошевки сменяется гулким цокотом копыт — выехали на чистый темный лед. В нем искрами — тысячи звезд.

Я еду по звездам. Они дрожат под ногами лошади, голубые, малиновые, зеленые. Лед слабый — наледь застыла, от силы, утром.

Скоро двенадцать. Скоро Новый год. Для меня он приходил двадцать три раза. Это двадцать четвертый. Как стеклянные елочные бусины на одной нитке, похожи двадцать три друг на друга. Этот не похож.

Покрыты синими снегами лунные берега северной речки Балаганаха. Елок на берегах — сколько хочешь. Они неистово трещат под горячим морозом. Лошадь пугается этих хлопков и мчится быстрее. Кошевку заносит вбок.

«Тише, Звездочка... Что толку, если мы доедем с разбитыми подарками. Нам надо успеть к двенадцати и довезти... Я взял одни подарки, чтобы успеть доехать. Что фыркаешь? Устала? Шестьдесят километров за один день, конечно, не шутка. Что говорить — далек мой участок от прииска. Но надо, Звездочка, надо дойти...»

Я кутаюсь в тулуп, оставляю лишь маленькую щель для глаз. Сейчас я дед-мороз. От этого мне не легче. Настоящий мороз пробивает меховые унты, ватные брюки, тулуп и полушубок... Я думаю о моих ребятах, о своей бригаде. Их четверо в зимовье: финн Хиндикайнен, якут Егор Степанов, эвенк Петя и Иван Иванович Щукин. Они не выехали на прииск встречать праздник. К моему разведочному участку, что на ручье Балаганах, подползла наледь. Красивая голубая наледь, точно подарок к Новому году. От нее шел пар. Еще немного — и теплая вода захлестнет вымороженные в русле шурфы. И мы опять ничего не будем знать о золотоносности Балаганаха. В прошлом году наледь затопила шурфы за одну ночь. Тогда того начальника сняли, меня поставили. А наледь опять вот выперла...

Ребята уже собрались на прииск встречать праздник. Пришлось остаться. Нужно наращивать срубы на русловых шурфах, пока не замерзнет наледь. И они наращивают. Они стерегут свои шурфы. А я поехал с отчетом, как всегда, в конце месяца. И мог бы остаться на праздник на прииске.

— Но-о-о, Звездочка! «Давай, давай! Осталось полтора часа до Нового года. И три километра пути. Ты, наверное, уже чуешь запах зимовья, умница...»

Звездочка останавливается, очищает о ногу ледяные сталактиты, что наросли у нее на ноздрях. Потом она застывает, прислушивается к чему-то и трогается с места, набирая бег. Пусть бежит.

Все-таки рано назначили меня начальником такого сложного участка. Эта чертова наледь... Я бы не знал, что с нею делать, если бы не ребята. Двадцать восьмого они обсуждали, как кто проведет праздник. Щукин запрягал Звездочку. И вдруг Петя поглядел на долину вверх, где был наш участок. Кожа на его скулах-валунах дернулась. Он, не говоря ни слова, пошел на участок. Мы молчали, пока он ходил. Он вернулся и сказал: «На-

ледь шурфы топить будет». И тут мы поняли, что означает этот белый парок над ельником, окаймляющим Балаганах...

Я обратился к ребятам с горячей речью. Я говорил о высокой сознательности и о том. что Новый год — это почти что религиозный праздник.

«Да брось про высокую сознательность, — сказал Щукин, затягивая чересседельник так, что Звездочка пошатнулась. — В прошлом году еще обещали нам приемник! Где он?»

Этот Щукин вообще стопроцентный скептик. Он хочет, чтобы в тайге был теплый ватерклозет. Я тогда разъярился и ответил, что приемник обещал не я, а другой. А мне они ничего еще не говорили. «А-а, чего говорить. — Щукин махнул рукой. — Все одно — впустую». И они пошли гуськом к своим шурфам по чистому полю реки.

Они остались воевать с водой, которая прет поверх льда. А я уехал с отчетом в поселок.

Я представляю: ребята сейчас вернулись с шурфов. Они принесли маленькую синюю елочку и поставили ее на стол из оструганных жердей. На колких ветках дрожат капли растаявшего снега. Ребята глядят на эти брильянты и гадают.

— Зачем ему ехать сегодня? — говорит угрюмо Хиндикайнен. — Там в клубе вечер, танцы, девушки... После института да встречать Новый год в зимовье с нами! Хо!

— Мамочки, — фальцетом говорит Щукин, — такой праздник, и выпить нечего... А приемник обещали нам еще к тому Новому году.

— Дня через три, однако, приедет начальник, — отвечает ему якут с ухмылкой. — Лекцию читать будет — сколько в новом году приемников выпустят.

А Звездочка бежит, высекая искры из льда.

Из-под кошевки несется: х-р-с-т. В обе стороны: х-р-с-т...

Я отбрасываю головой воротник тулупа. Слышен опять треск: х-р-с-т... Я хлопаю вожжами по мохнатой спине лошади. Поздно! Звезды подпрыгивают в обломках льда. И лошадь моя проваливается.

Над нею вижу под шапкой снега черный берег с кривыми корнями лиственницы. А над Звездочкиной мордой взлетают два белых султанчика. Мороз. Мне повезло, что сани не ушли под воду. Я сижу и думаю, что мне повезло. Наверно, это новогодний подарок мне, дураку. Кто же ездит по ночам, по наледям? По коварным подмерзшим наледям.

Я сижу в тулупе и думаю. А Звездочка стоит в воде и пьет, точно храповик большого насоса всасывает воду. Надо спасать лошадь. А как? Вырвать бы ее из воды подъемным краном и успеть к двенадцати в зимовье... Это будет не то уже, если я приеду после двенадцати. Совсем не то.

Сбросив тулуп, я ползу к лошади справа. Большая луна стоит в ее глазах. Звездочка следит за мной. Ржет в треть голоса.

Мне не добраться отсюда — лед уверенно уходит из-под меня в воду. Я успеваю выбраться назад, но промокаю почти насквозь. Теперь попытка слева. Мне удается скользить по полосе тонкого льда. Я заполз вперед — там лед толще. Пальцы мои еще не утеряли гибкость. Я опускаю руку в черную воду и нахожу супонь. Вспоминаю: на конном дворе конюх Тарас учил меня запрягать лошадь. Он показал, как надо завязать конец супони, чтобы распустить ее одним рывком. Я дергаю — развязывается. Дальше не знаю, что делать. Вот любой с моего участка нашелся бы сразу.

Самое большое, на что я способен, — это схватить узду и тянуть изо всех сил к себе.

— Давай, Звездочка, родная, — шепчу я ей, как человеку.

И она понимает меня. Она делает дикий прыжок, опираясь передними ногами на лед, а задними оттолкнувшись от дна. Летят в разные стороны вожжи, седелка, дуга. Звездочка, дымящаяся, как склоны вулкана, стоит на льду. Я беру ее за узду и бегу к зимовью. Еще полтора километра до зимовья. А до двенадцати — один час. Теперь я похожу на космонавта из фантастического романа.

Я точно в скафандре. Все на мне застыло и издает при ходьбе коробочные звуки.

Эти необычные в безмолвной тайге звуки услышали в зимовье и вышли встречать.

— Подарки там, на кошевке, — сказал я голосом, точно из подземелья. — Приемник «Родина», батареи к нему и три бутылки спирта...

Но они не бросились за подарками. Хиндикайнен и Петя довели меня до зимовья, раздели, разложили на нарах и начали натирать снегом. Я орал им, что не отморозил ничего. Но они не успокоились, пока мое тело не запылало огнем. Щукин с Егором устраивали Звездочку в стайку, обтирали ее сухим сеном. Они управились первыми и побежали за подарками.

До двенадцати часов ребята успели перенести подарки в зимовье, установить приемник и разлить спирт по банкам, заменяющим нам стаканы.

Щукин налил мне такой полулитровый бокал. Под звуки танго на волне 1500 метров он сказал:

— Давайте, ребята, выпьем за что-нибудь такое... — Он крутил перед собой банку, морщил лоб и косил на меня углями глаз.

Остальные глядели на меня тоже чуть исподлобья и чуть улыбаясь.

— Давайте, — согласился я.

И мы выпили.

ЧИСТАЯ СЕРДЦЕВИНА

Рассказ

— Тот еще не родился, что меня обхитрит, — пробурчал утром Назар, собираясь на шурфы.

В его голове теснились коварные мысли. Уйти с участка — большая честь для инженера, этого мальчишки с дурацкой трубкой. Назар будет помалкивать и работать. Можно уйти на другой участок. Но он не уйдет. Он останется здесь, чтобы доказать этому инженеришке, как надо работать. Что написано в его книгах, Назар позабыл давно... К примеру, там написано — душ принимать полагается после работы. Так он всю жизнь принимал душ с небеси. И тайга поливала его росами. И ночевал он в снегу, как куропатка. Теперь хватит! До пенсии осталось пять месяцев. И надо получить самую высокую категорию, как министры получают. Чтобы ходить потом по Бодайбо в хромовых сапогах и попивать вино. А для этого по книжечкам негоже бить шурфы. Надо рыть, как в старину, когда старатель надеялся на одного себя. И пусть они, молодые, толкутся по трое в одном шурфе. Ему надо вкалывать одному за троих. Чтоб вышла пенсия высшей категории. Конечно, этому сопляку инженеру не хотелось рисковать из-за старика. И они поссорились с самого начала. Колька, Николай Тарасыч, инженер, мать его раскрути, вздумал в тайге порядки по своим книжкам устанавливать. Глубокие шурфы полагается вдвоем проходить... Да ведь заработок на двоих делится. А он, Назар, и один проходил шурфы на старании до десяти метров. Да как проходил! Куда молодым этим трем за ним угнаться, хоть они спорят до хрипоты вместе с инженером, как ускорить проходку шурфов. Спорят в зимовье и на своих шурфах. А надо не спорить — работать.

Назар подошел к тому месту, где Колька сворачивал с тропы, чтобы поколесить по тайге и подойти к его просеке. Каждый день ходит. А подойти нельзя — слово дал в ссоре, пусть-де приезжает на участок главный инженер, сам замеряет шурфы Назара и документирует... Это было в самом начале. А вчера они второй раз схватились. И Колька не выдержал, сказал, что им лучше расстаться. Но тут вступились ребята. «Раз старик решил пензию получить наивысшую, пусть один работает», — сказали они, передразнивая его выговор. Назар огляделся и пошел, метко вставляя свой валенок в громадную лунку, продавленную унтом в глубоком снегу. Старик прикидывал в уме, мог ли видеть отсюда Колька старательские приемы его работы.

Начальник подходил с каждым разом все ближе к шурфам. В один прекрасный день он может внезапно застать за работой. И перейме́т приемы для своей молодой бригады. Да еще передумает и запретит одному работать. Опасная штука все ж одному бить глубокий шурф. В двадцать седьмом году Сеню, дружка, засыпало так. Но если назад оглядываться, то пенсии той не видать. Она как фарт. И все надо ставить на карту. А они еще передразнивают — «пензия». Они считают, что он жадность свою прикрывает пенсией. А видели бы они, как спаивал он прииска, выходя из тайги.

Назар облегчил свою душу смачным матом.

— Еще поклонитесь старику, — буркнул он себе под нос. — Коварностей у тайги много...

Он вернулся на тропу, ступая след в след. Открылась просека через долину Джилинды. На просеке — темные зевы шурфов через двадцать метров один от одного.

Назар не пожалел времени и вырубил вокруг шурфов деревца и кусты. Это чтобы внезапно не подошел начальник... Теперь глубина шурфов перевалила за два метра и приходилось в шурфе брать тайгу на слух. Уши старика улавливали не только пулеметные трели черного дятла, но и десятки других звуков. Когда Назар скрывался в шурфе, ря-

дом с просекой в кустах начинали возиться зайцы. Две белки жили недалеко. Они привыкли к человеку и с писком бегали друг за другом по лиственницам.

Однажды на просеку забрела кабарга. Назар затаился в шурфе, чтобы подпустить зверька поближе. Как вдруг по тайге раздался скрип новеньких унтов начальника. Коричневая молния промелькнула над голубым прямоугольником устья шурфа. Вслед за этим в шурф брякнулся валун с детскую голову. Кабарга столкнула его своими тонкими прыгучими ногами. Валун задел плечо шурфовщика скользом. Левее чуть — разбил бы голову... И теперь, когда Колька-инженер подходил к просеке, Назар начинал ругаться.

Старик подошел к шурфу рядом с оледенелым руслом. Головешки плавали на дне шурфа в воде.

— Откуда столько воды? — пробормотал Назар, замеряя уровень ее жердью. — Неужто пропарил забой?..

Он побежал за лестницей к соседнему шурфу. Лесинка с зарубками заменяла ему лестницу. Не очень ловко лазить по ней, зато места в шурфе не занимает много. Старик вспомнил, что забыл вынуть ее вчера из шурфа, как развел пожог. Но в том шурфе дотлевали головешки. Лестница сгорела.

Назар срубил первую попавшуюся сырую, конечно, лиственницу и кое-как сделал на ней зарубки топором. Эту новую лестницу он поднес к шурфу с водой и поставил ее туда.

Сегодня он так спешил уйти из зимовья, что не переобулся в резиновые сапоги. Все из-за вчерашнего разговора...

Старик спустился в шурф и стал валенками по щиколотку в воду. Закатав рукава телогрейки и рубашки, он начал ощупывать забой. Чуткая ладонь Назара не ощутила подводного фонтана. И уровень воды на жердочке оставался прежним. Старик успокоился. А уж думал: тайга подшутила...

— Не хватало, чтоб у Назара вода прорвалась в шурф, — сказал он, закуривая папироску, — утопиться впору в том же шурфе — засмеют желторотики.

Папиросный дымок шел прямо кверху тонкой струйкой. Мороз крепчал.

Старик ведром стал вычерпывать воду. Глубина шурфа еще позволяла выкидывать воду через голову. Однако вода частью стекала назад, намерзая на стенках и лестнице.

Осушив забой, старик выбрался наверх по своей лестнице. Он сбросил в шурф кайлушку, легкую, как перо, и острую, как шило, маленькую подборную лопату и бадейку на длинном тросе. Если бы бригада обрубила свои совковые фабричные лопаты по его подобию да закалила кайлушки старательским способом, было бы трудно с ними тягаться.

— На механизму надеются зеленые, — пробурчал старик, спускаясь в шурф по скользкой лестнице. — Придумывают для тайги самую сложную механизму. А она уже есть. — Он хлопнул себя по груди: — Человек!

Кайлушкой Назар взрыхлил оттаявший слой галечника. Потом нагреб бадейку и полез наверх. Сырые валенки скользили в скороспешных зарубках. Старик подумал, что надо углубить зарубки. Однако решил это сделать после того, как очистит забой и разложит пожог. Тогда придется вынуть лестницу, чтобы перенести в соседний шурф. А теперь уж вошел в ритм. Перебивать не стоит. В этом тоже секрет ладной работы. Молодежь, она хватается то за одно, то за другое. Что ж, пусть транжирят время и силы. А он должен получать эти последние пять месяцев вдвойне, чтобы начислили высшую пенсию. Должен напрячься.

Старик бережно подтянул бадейку и высыпал породу в отвал. Затем бросил бадью в шурф и полез накладывать породой опять.

— Золото водой отмой, а фарт — потом, — прокряхтел Назар, слезая вниз. — Было б откуда помощника взять. — Он остановился посредине лестницы и свел хвойные лапы бровей к переносью. — Желторотым все хиханьки да хаханьки. Да как бы механизма за них работала... Дружка не осталось ни одного, эх, дал бы с дружком лекорд!

Он выбирал породу до тех пор, пока искры не посыпались под кайлой. Мерзлота вскрылась надежная, как гранит. Можно разложить большой пожог.

Старик выбрался из шурфа, взял топор и направился к горелому косячку тайги. Свалив несколько звонких черных стволов, он перенес их к шурфу.

Назар ударил наискось по стволу топором и остановился. Его поразила золотистая белизна под чернотой. И видел вроде не в первый раз. Охватило деревья палом, а сжечь не сожгло. Кроется чистая древесина под сажевой коркой. Но ему вдруг пришло на ум, что люди такие бывают, — точь-в-точь, как эти деревья...

— Чистая сердцевина, — сказал вслух старик и долго стоял, задумавшись. Потом скосил глаза на тропу. Со стороны зимовья, расположенного в островке елок, исходил знакомый скрип.

Назар смачно выругался. Топор зазвенел, нагоняя упущенное время.

Колотые поленья старик побросал в шурф. Надрал у березы коры. С лиственниц наснимал волокнистых ломких лишайников. Когда он вернулся к устью шурфа, ненавистный скрип унтов раздавался уже близко. Неужели он не понимает, инженеришка, что люди в тайге не глухие работают. Глухого Родиона десять лет назад медведь поломал на шурфе прямо. И ружье было, а не слышал старатель. как мишка сзади подкрался...

Назар скользнул вниз по своей лестнице. Над ним был синий прямоугольник неба с недвижными облачками, похожими на перья куропатки. Старик хорошо слышал скрип унтов. И даже дымок табачка дорогого трубочного улавливал лосиными ноздрями. Скатившись на дно шурфа, он со злорадством думал. что вчерашний разговор с начальником ему на руку. Колька сегодня не подойдет вплотную к шурфам. И мороз... Долго по тайге не проходишь даже в собачьих унтах. А спрашивается, зачем ходит? Трясется за шкуру свою, наверное. Придется для его спокойствия завещание написать. Так, мол, и так, прошу, если что со мной случится, инженера не винить. Грех был — хотел большую пенсию иметь...

Назар уложил поленья «костром», в середине сделал запал из березовой коры, сухих щепочек и лишайника. По-старательски, одной спичкой, поджег костер и прикурил папироску от той же спички. Повалил веселый едкий дым. Старик закашлялся. Руки погрел над костром. Дождался, когда разгорится побойчее, и полез наверх. На третьей ступеньке-зарубке левая нога его соскользнула. Назар свалился в неудержимо разгорающийся костер. Он обрушил ногами выложенные крест-накрест поленья. Жаркое пламя подскочило к его лицу, и злые искры впились в кожу.

Он надвинул шапку на рот, отдышался и снова полез. Только сейчас старик ощутил свои пимы. Они задубенели и никак не становились в зарубки. Он осилил три ступеньки и опять съехал вниз.

— Да что ты, мать твою раскрути! — обругал себя Назар.

Сердце колотилось, как ленок в сети. Во рту стало горько. Старик подумал, что если не вылезет, то задохнется, если не задохнется, — то сгорит.

Он выбросил двойные рукавицы из шурфа, спружинил свое тело и прыгнул вслед за рукавицами навстречу голубому прямоугольнику с далекими перистыми облаками. Назар нашел неважные опоры в стенках. Это были чуть выступающие валуны. По лесинке он дотянулся руками к самому устью. Руки достали деревянный венец, которым закреплено было устье. Но венец покрывала грязная ледяная корка. Ногти в нее не впились. Влажные ладони скользили по корке. Кожа на пальцах слезла, словно от наждака.

— И-и-х...

Назар сполз до второй ступеньки. Чудом правый валенок попал в зарубку. Старик обнял лесинку руками. В жизни не обнимал никого так крепко. Щеку колол сучок. Назар боялся пошевелиться. Вот оно — гудящее пламя. Тяга, тяга-то — огненные змеи прытко скачут к самому поясу. Неужто и за ним пришла смерть? А что тут такого? Дружки уже все в земле. Так они в одиночку, как волки, гибли... Но он-то не один вроде, вот что обидно. Даром он бросил старание? Чтобы погибнуть, как и дружки?.. Нет, он должен дожить до фарта! За Сеньку, за Родиона, за Ганьку, который нес добычу уже в Бодайбо, да зимовщик на Нечёре горло бритвой перехватил и фарт уволок... Ах ты, черт! Да что же инженеришка этот не видит, что дым из шурфа валит, а человека нет наверху.

— Эй! — вполголоса позвал старик и прислушался, оторвав голову от лесины. Но слышал только гудящее пламя. А скрипа унтов начальничьих — нет. Они пронзительно скрипят, если даже Колька, Николай Тарасыч, топчется на месте... Назару стало страшно. Колька ушел! Как же так? Скрипел своими дурацкими унтами из желтых шкур и перестал. Выходит, бросил старика! Помирай, старик, один! Сгорай заживо! А они напишут акт... Умный такой акт и все подпишутся. Все.

— Колька! — хрипом позвал Назар и громче: — Николай Тарасыч, помоги!..

Ответа не было. Из стенки вывалился валун и упал в костер. Желтое пламя подпрыгнуло и ожгло правую руку. Правой он упирался в вырубку на уровне пояса. Он чуть не отдернул руку. Обрадовался, что не отдернул. Надо напрячь все свои винтики — подумать. Не может быть так просто... Нелепица какая! Полжизни в тайге, ямок этих выкопал — считать забыл. А эту себе схлопотал перед самой пенсией, что ли?

А желторотые тайги не знают. И скажут они, что сгорел старик от жадности. У них все просто. Скажут: хотел все деньги один заработать. Ах, дьявол вас закопай!

— Николай Тарасыч! Коля! Спаси! Горю-ю-у-у! — закричал Назар и задохнулся.

Он расцарапал щеку. Струйка крови стекла в уголок губ. Накопившись в ямке, кровяная капля поползла дальше по морщинке к подбородку. Она повисла на самом краю. Могла упасть, а могла и потечь на шею, за воротник телогрейки. Старик осторожно на-

гнул голову, чтобы капля оторвалась. В лицо ему снизу валил черный, вонючий дым. А ногам стало горячо. Значит, пимы обгорели. Теперь взялись гореть портянки. Огонь до ноги доберется не скоро. Портянок слой толстый. Ноги Назар берег. Это было когда-то — по нескольку часов кряду в воде стоял ледяной в дырявых резиновых сапожонках. Теперь берег ноги для хромовых сапог, пеленал их, что другая мать ребенка. Так что валенки без зацепа и не снимались. А вдруг теперь они снимутся без зацепа?

Старик начал подтягивать правую ногу к себе. Валенок отвалился на ходу. Чудотворная мысль пришла Назару в одурманенную голову. Сбросить второй пим, размотать портянки... Босиком он сможет выкарабкаться... Старик не дал себе обрадоваться, потому что верил в приметы.

Уже без всякой осторожности вынул ногу из второго обгорелого валенка. Размотал и выбросил в огонь мокроватые портянки. Ноги с крючковатыми пальцами цеплялись за вырубки.

Он с отдыхом добрался до устья. Наполовину перевалился через венец. Уткнулся лицом в разноцветный галечник, сцементированный мерзлым песком. Стал дышать, словно загнанный лось. Его вырвало. Он отполз в сторону, на снег. Ниже пояса пчела как будто ударила. Его штаны дымились. Во многих местах верхние брезентовые прогорели. Спасали нижние. Но и сквозь них огонь кое-где покусывал. Старик покатался по снегу, чтобы забить тонкие струйки дыма. Потом он перевернулся на спину и стал отдыхать, глядя в небо. Назар увидел двух воронов, круживших вблизи над снежными лиственницами. Старик погрозил пальцем в ту сторону.

— Тот еще не родился, кто меня обхитрит, — прохрипел он и добавил: — Сорву фарт все равно, раскрути вашу мать.

Прищурив заиндевелые ресницы, следил он за воронами. Когда птицы скрылись за розоватым, как тело ребенка, гольцом, Назар сел. Он снял телогрейку и окутал ею ноги. Старик стал размышлять, как добраться до зимовья, чтобы не отморозить даже пальцев. Он посмотрел в сторону зимовья. Из-под старой ели выкручивался жгутик дыма. До зимовья двадцать минут ходу, вверх по долине, по тропке в одну ступню, по тайге. Мороз-то, мороз: дохнешь — в груди колкость снеговая. Не хочет никак отпустить тайга. Хоть кричи.

— Эге-е-е-й! Ко мне-е-е!

С ближней лиственницы свалился клок снега.

Ну, кто-нибудь бы услышал... Тогда бы он обманул тайгу. И больше не дозволил бы ей играть с ним, как кошке с мышью. Оберег бы себя. Он надумал бы, как оберечься...

— Ребяты-ы-ы! Помогите-е-е! — Голос рвался, как раненая птица, ввысь, но вдруг стал сипом и замер совсем.

Старик прокашлялся, обогрел у рта озноб-ленные пальцы и хотел опять закричать. Да внезапно услышал хруст снега и совсем недалеко. Назар обтрусил иней с ресниц.

Между прямыми стволами лиственниц со взъерошенной корой мелькал черный полушубок.

— Чего орешь? — спросил еще издали парень. Он, как ходули, переставлял по тропе огромные рыжие унты. А под мышкой пережал поседевшие от мороза резиновые сапоги.

— Авария случилась, инженер, — ответил шурфовщик и обмяк, опустил голову на грудь. А когда поднял, мутная ледяная горошина появилась ниже левого глаза на щеке.

Парень вынул трубку из припухлого рта и уставился на старика. Тот откинул край телогрейки. На скрюченных пальцах ноги тускло синели старые ногти. Назар кивнул на шурф.

— Даешь по мозгам, — сказал парень и бросил ему сапоги.

— Это она дает, — ответил старик, выдергивая портянки из сапог, — она, голубушка, всю жизнь мне крутила мозги...

— Кто она? — спросил парень и втянул в рот щеки вместе с мундштуком трубки.

— Тайга, — ответил старик и обернул правую ногу портянкой из вязаной шали.

Парень подумал, похлопал ресницами, похожими на опахала из белых перьев, и сказал:

— Шибутной ты старик... При чем тут тайга?

— А при том, что чуть не сожгла меня, мать ее раскрути, — ответил Назар. Он обулся и снова надел телогрейку. — Но я хитрый...

— Ничего бы с тобой не случилось, — сказал парень и сплюнул. — Я тут все время патрулирую.

— А на это время как раз и ушел, — ответил Назар и сковырнул слезинку со щеки. Он постукал нога об ногу и направился к тропе. Каблуки завизжали в утоптанном снегу.

— Я вспомнил про твои сапоги, — сказал парень. — Ребята утром увидели, что ты их оставил, да я забыл их тебе донести в первый раз...

— Значит, за сапогами ты ходил?

— Угу.

— Выходит, ты спас бы меня?

— Да еще чуть обождал бы, чтобы ты сильней подкоптился.

Сапоги перестали скрипеть. Из-за правого плеча старика вылетало облачко. Ворсинки на вытертой медвежьей шапке сравнивались со снегом.

— Я так и знал, что будут смеяться. — И он опять зашагал по тропе, которая лежала под снежными деревьями, как синяя нитка. — Ну, подождите. И вам тайга сюрпризт поднесет.

— Плевать мы хотели на «сюрпризт», — отозвался парень. — У нас есть логарифмическая линейка и справочники.

И дальше переговаривались лишь каблуки сапог и унтов. Сапоги скрипели отчаянно, унты — мерно и густо.

— Стаж, жаль, растерял, — сказал Назар перед зимовьем, вздыхая, — был бы уже на пензии.

— Да, старик, тебе пора на пенсию, — ответил парень.

— Я хотел самую высокую категорию получить, — сдавленным голосом сказал старик. — Как министр.

«Скрип-хруп — скрип-хруп»...

— Ты получишь свою «пензию», — сказал инженер. — Я буду тебе помогать. Когда свободен, встану на вороток...

Старик замер у самой двери зимовья. Рука березовой веткой повисла перед косой деревянной ручкой. И долго еще после того, как парень скрылся за дверью, не входил Назар в зимовье.

В. МАРИНА

ГЛАЗА СЫНА

Рассказ

В самом начале дежурства информатор Вера заполняет бланк «поездное положение». Я отступаю от пульта, но Вера все же успевает задеть меня высокой, тугой грудью. Все плывет у меня перед глазами, я перестаю слышать голос диспетчера. Нарочно она или нечаянно?

Вера молодая, яркая блондинка, одетая, вернее, обтянутая по последней моде. Вид у нее деловитый, глаза опущены к бумагам, но в голосе так и мурлычет молодая кошка. Год назад она разошлась с мужем и, говорят, не скучает в одиночестве. Но командир нашей смены дежурный по отделению Зоя Константиновна такие разговоры пресекает:

— Мало что наскажут. Поссорились, помирятся. Семью нужно укреплять, а не разбивать разными сплетнями...

А может, Вера нечаянно меня задевает? Борька смеется:

— Как раз! Такая мух ловить не будет!

Я не люблю доступных женщин, никогда не понимал собачьей преданности кавалера де Грие, но когда Вера в узкой своей юбке идет по коридору, покачивая круглыми бедрами, когда она, опахнув меня ароматом духов и еще чего-то непередаваемо жгучего, женского, протискивается между мной и диспетчером к графику, щепетильность моя линяет.

Что случится, если молодая, красивая женщина обнимет здорового, сильного парня? Кто от этого пострадает? Ее брошенный муж или моя еще не выбранная невеста? В такие минуты мне кажется, что всю так называемую мораль выдумали унылые сухари. Сами уже никому не нравятся, вот и утешаются — это, мол, безнравственно. А тут еще Борька каждый день справляется: — Ну, как? — И бросает презрительно: — Разиня! Она же первая тебя и ославит. Думаешь? У такой заспится рассказать всем, какой ты недотепа? Успевай пока...

Сам Борька «успевает». Он проходит практику на станции, и с первых же дней отыскал себе среди технических конторщиц, как он говорит, «розочку без шипов». В общежитии он ночует редко. Иногда мне это противно, а иногда завидно. Да ведь Вера, может, и нечаянно. Она вон какая быстрая, порывистая... Но как узнать?

— Ну что, будущий инженер, пропустим порожнячок или пассажирского подождем? — оглядывается на меня Михаил Иванович.

Я растерянно хлопаю глазами. С того момента, как заходила Вера, я не слежу за движением поездов и не веду дневник.

— Эх, молодежь!.. — ворчит Михаил Иванович. — Бегаете до коровьего рева, а потом спите на ходу.

Краснею, как ошпаренный, и злюсь на себя. Если бы хоть бегал, а то... Нет, к черту! Если она еще раз заденет меня — двину плечом и сегодня же вечером пойду провожать.

Когда в шесть часов московского Вера снова приходит брать «поездное положение», я у окна заправляю чернилами автоматическую ручку Михаила Ивановича. Однако вызывающий, блеснувший, как нож, взгляд ее зеленых глаз заметил не я один. Откладывая на графике путь очередного поезда, Михаил Иванович ворчит:

— Иди, иди. Не сбивай мне с толку практиканта.

— Очень нужно! — фыркает Вера и, поставив ногу на перекладину стула, не торопясь, заполняет бланк.

Я смотрю на светящееся табло над диспетчерским пультом, а вижу одно только ее ведьминское бедро. Сильвана Помпанини, Оллобриджида и Николь Курсель кажутся мне рядом с ней деревяшками.

Нет, какой же я разиня!.. Сегодня же вечером пойду ее провожать и...

В половине первого в диспетчерскую входит сын Михаила Ивановича, Саша. Это беленький, чистенький, приятный мальчик лет восьми. Тихонько поздоровавшись — он уже знает, что папу нельзя отвлекать от работы,— Саша усаживается на подоконник и, не отрываясь, смотрит на отца. Я бы и внимания не обратил на него — до мальчика ли мне, когда... Но у Саши удивительные глаза. Мне такие еще не встречались. Чистые, доверчивые, восхищенные. В них так и читаешь: «Мой папа самый умный: его все слушаются».

Мне двадцать два года, у меня нет даже невесты. О детях я еще не думал. Но уж если иметь сына, то только такого! С такими же чистыми, восхищенными глазами. Всегда читать в этих глазах, что ты самый лучший, самый смелый, самый умный изо всех на свете пап. Наверное, под таким взглядом невозможно соврать, предать, вообще сделать что-нибудь плохое, чем-нибудь замутить их сияние. Во всяком случае, Михаил Иванович...

Михаил Иванович, лучший диспетчер на дороге, имеет одну неприятную слабость — он, как говорит Зоя Константиновна, выражается. Его «прорабатывали» на собраниях, объявляли выговор в приказе, энергодиспетчер Холодова грозила подать на него в суд, но старший диспетчер вовремя перевел ее в другую смену.

— Ты бы хоть при женщинах воздерживался, Михаил Иванович, — корил он.

— Не могу я на работе о женщинах помнить, — оправдывался Михаил Иванович. — Участок же знаете какой... — сочно характеризовал он свой действительно очень напряженный участок.

Но при Саше, а Саша сидел иногда часа по два, Михаил Иванович не допускал ни одного «художественного» слова. И я не замечал, чтобы это ему мешало. Наоборот, мне казалось, что команда его в эти часы какая-то удивительно четкая, веселая, располагающая к исполнению.

Впрочем, может быть, мне только кажется так. Я люблю пофантазировать. Смотрю на сухие, ломкие линии, от которых к концу суток чернеет широкий лист графика, а вижу за ними составы с лесом, углем, машинами, вижу стремительные, в огнях и зеркальных окнах транссибирские экспрессы и медлительные рабочие поезда со шпалами и балластом. Они не просто с угла на угол пересекают график, а уносятся в неведомую тайгу и там с их прибытием растут корпуса новых заводов, ширятся бетонные плечи плотин на горных реках, вспарывают морозное сибирское небо островерхие буровые вышки.

И люди, которые сидят за сплошными окнами экспресса, — не просто пассажиры, а непременно пограничники и отважные землепроходцы-разведчики, богатыри-строители, — словом, героический народ. Наверное, мама права: я совсем еще мальчик. Но ведь так интереснее работать. Разве можно ломать голову над сложными диспетчерскими задачами ради одного только выполнения графика? Людям нужны грузы, а не график!

И еще я люблю по голосу нарисовать себе облик человека. Вот у дежурной по станции Мары голос всегда хрипловатый и сердитый. А сегодня она ну просто поет. Говорит обычное, деловое, а в голосе, как искры, — смех. И я сейчас же вообразил: она долго была в ссоре с любимым человеком, а вчера они помирились. Ей хочется петь, плясать, громко кричать, какая она счастливая. Но вместо этого надо говорить: — Диспетчер! Я Мара. Семьсот девятый проследовал в семь пятьдесят пять.

За такие посторонние мысли Михаил Иванович ругает меня: — Ворон считаешь, практикант! — Но я неисправим. Вместо того чтобы учиться у Михаила Ивановича, запоминать, как он поступает в трудных случаях, я просто любуюсь, как ловко он распоряжается на своем участке, где каждая станция грузит, выгружает сотни вагонов и где поезда не идут, а шьют — каждые пять минут состав!

И я уверен — Михаил Иванович тоже видит за цифрами и черточками тяжелые составы и слышит нетерпеливое дыхание людей, которые этих составов ждут где-нибудь в Братске или в Абакане, или в Комсомольске-на-Амуре. Нет, я уверен — он тоже работает не ради процентов.

И еще мне кажется, в присутствии Саши у него все получается еще лучше, чем обычно.

Но тут я ловлю себя на мысли, что никогда не замечал отцовской гордости на лице Михаила Ивановича, не слышал, чтобы он сказал кому-нибудь: — Видал, какой у меня сын!

Впрочем, на дверях диспетчерской табличка — «Посторонним вход воспрещен», и Зоя Константиновна явно не любит, когда приходит Саша.

Зоя Константиновна, на мой взгляд, совсем неудачный командир для смены коммунистического труда. Говорит сплошь цитатами из газет, а в душе сухарь сухарем. Не то что коммунистического, просто человеческого и то не видать. Ну как можно коситься на такого славного парня, как Саша...

Сегодня Саша принес в дневнике «пятерку», и Михаил Иванович просиял: «Молодец! Заработал прогрессивку!» Он достал из бумажника рубль и вопросительно глянул на меня. Я уже знаю свое дело — надо сходить через пути в станционный буфет и купить пирожных или шоколадку.

На улице солнце, мартовская капель. Воробей на нашем подоконнике отчаянно ругается с кем-то, укрывшимся на вершине тополя.

— Пойдем вместе, — подмигиваю я Саше.

Он нерешительно поглядывает то на меня, то на отца: ему и уходить не хочется, и перспектива самому выбрать лакомство заманчива.

— Иди, иди. Меня сейчас Зоя Константиновна подменит на обед, — говорит Михаил Иванович.

Взявшись за руки, мы с Сашей вприпрыжку ссыпаемся с лестницы и пулей вылетаем на крыльцо. Обеденный перерыв. На крыльце, греясь на солнышке, стоят несколько работников отделения дороги, а среди них вездесущая Вера.

— Далеко ли, мальчики, отправились? — крикнула она нам вслед.

— За шоколадкой! — звонко отозвался Саша.

— Смотрите, дети, не заблудитесь! — под общий смех напутствовала Вера.

«Сегодня вечером уж не заблужусь!» — мысленно погрозил я, чувствуя, как наливаются кровью мои «лопухи». Мама часто сетовала, глядя на меня: «Парень как парень, а уши лопухами».

Шоколад в станционном буфете оказался только «Фестивальный», пятилетней давности, а пирожные ссохлись в бесплодном ожидании покупателей. Мне стало жаль так бездарно тратить Сашину рублевку.

— Пойдем в кафе-кондитерскую!

Кафе было за два квартала, напротив клуба. Пиная обломившиеся хрустальные сосульки, Саша лопотал что-то. Занятый мыслями о том, как лучше всего отомстить Вере за насмешку, я не очень прислушивался.

— Усатов, подорвали на хоккей! — крикнули нам с другой стороны улицы. Там остановилась на бегу ватага мальчишек лет по восьми-десяти. Что-то несуразное было в их крике, но что — я не понял.

— Нет, я в кондитерскую. У меня рубль! — победно потряс кулачонком Саша.

На той стороне кто-то свистнул, кто-то гикнул, и мальчишки унеслись воробьиной стаей. Мы степенно пошли дальше.

— Зря ты не пошел на хоккей. «Локомотив» с «Молнией» играет. Я бы и то удрал, если бы не дежурство, — сказал я Саше, тщетно стараясь вспомнить, что же несуразное было в мальчишечьем крике. Уж не словечко «подорвали», конечно. За две недели жизни в Еланке я таких наслышался достаточно.

— Мне мама не велит ходить к папе. А сегодня она в поездке. А бабушка позволяет, — объяснил Саша.

Я еще раз подивился такой горячей сыновней привязанности, и в кондитерской, выбрав самую большую шоколадку, с удовольствием добавил к Сашиному рублю свои студенческие семнадцать копеек.

Саша полюбовался картинкой, но плитку не развернул, сунул в карман.

«Бережливый какой!» — с непонятной досадой подумал я и поспешил на улицу.

Яркая афиша у клуба приглашала на вечер танцев.

— Может быть, позвать Веру на танцы? — Я остановился в раздумье, соображая, успею ли переодеться после дежурства.

— Мой папа всегда здесь висит, — горделиво сообщил Саша, по-своему истолковав мою задержку. — Бабушка говорит — он тут навсегда прописан.

Тут только я заметил рядом с афишей «Доску почета» — стандартное фанерно-стеклянное сооружение с десятками портретов размером в икону. Михаила Ивановича я узнал с трудом. Как большинство людей, не умеющих и не любящих фотографироваться, он был неестественно напряжен и сердит. В серых глазах не было и следа того сосредоточенного, умного выражения, с каким он обычно обдумывает сложные комбинации движения. Но все же это был Михаил Иванович, и Сашина бабушка верно заметила — прописка на «Доске почета» была у него постоянная. Портрет пожелтел от солнца, нижний левый угол обломился.

«Лучший диспетчер смены коммунистического труда Еланского отделения М. И. Замазчиков» — прочел я четко выведенную тушью подпись и вдруг вспомнил!

— Как твоя фамилия, Саша?

— Папа с нами не живет, он илименты приносит, — сразу все понял Саша. Светлые глаза его смотрели прямо, ясно и чисто.

— Ну-ну, понятно, — пробормотал я, стараясь увести Сашу от портрета и чувствуя, как душит меня воротничок. А Саша рассказывал, явно не в первый уже раз:

— Мама не берет денег, а бабушка говорит: не тебе решать! Сашка, говорит, подрастет, он еще спросит с тебя за твое...

Было что-то кощунственное в той простоте, с какой беленький, чистый мальчик произнес грязное, площадное слово.

— Что ты говоришь! — крикнул я.

— Это она маму ругает, что она меня родила, — спокойно объяснил Саша. — А мама говорит: — Вас не спросила. Родила и выращу ему на зло!

— Слушай, а ты почему шоколадку не ешь? — не очень ловко попробовал я прекратить неприятный разговор.

— Маме покажу. Она думает, папа меня не любит, только илиментами откупается. А папа мой хороший, правда?

— Правда, правда, — поспешно согласился я и, увидев подходящий осколок сосульки, предложил: — Давай пинать, кто дальше!

Саша победно визжал, зашвыривая ледяшку выше моего, а я ошеломленно спрашивал себя: «Ну как он мог? Как он мог? Если бы это был не Саша... Нет, если бы это был не Михаил Иванович... Какая гадость! И его портрет на «Доске почета», он в смене коммунистического труда! Надо же!»

...Когда мы вернулись в диспетчерскую, Михаил Иванович уже пообедал, но Зоя Константиновна еще сидела за пультом, прочерчивая на графике путь поездов, и сердито выговаривала:

— Не мог вовремя дать приказ об отмене семьсот четырнадцатого! Знаешь же, какой этот Кадыров.

— Как же я его отменю, если завод уже о выгрузке предупрежден? И Кадырова когда-то движенцем делать надо. Прикрывай его каждый раз, так век из него хорошего дежурного по станции не выйдет.

— Нашли бы другое время поучить. А теперь что получается? Называется смена коммунистического труда, а сами даже по отправлению сто процентов обеспечить не можем!

Зоя Константиновна вышла, сердито хлопнув беззвучной, обитой войлоком дверью. Листок какого-то приказа сорвался с пульта и отлетел к подоконнику. Саша молча поднял его и положил на место. А Михаил Иванович сказал, словно подумал вслух:

— Нам с тобой, Зоя, до коммунистического — как до неба. — И строго спросил, нажав педаль селектора: — Никилей! На какой путь восемьсот шестидесятый принимать думаете?

«Уж, конечно, таких подлецов к коммунизму на пушечный выстрел подпускать нельзя, — устраиваясь на своем месте, подумал я. — И как это сверхправильная Зоя Константиновна его в своей смене терпит?»

Я попытался представить себе, как Михаил Иванович с гнусной Борькиной улыбкой обещает глупенькой, несчастной Сашиной матери «любить до гроба», клянется в верности... Гнусная Борькина улыбка не хотела приставать к суровому, сосредоточенному лицу Михаила Ивановича. И красивые слова о любви до гроба вряд ли он когда-нибудь произносил. Что-то тут было не так. Вон ведь как он Зое Константиновне отрезал. Даже она, сверхправильная, не прочь подправить показатели, если уж это не откровенный подлог, а Михаил Иванович — никогда. Это-то я уже знал о нем. А все же...

— Разрешим Никилею маневры или вперед уголек пропустим? — словно издалека, не вдруг дошел до меня вопрос Михаил Ивановича. Спохватываюсь, что опять отстал, суматошно ищу на графике этот «уголек», мечусь по светящемуся табло, соображая, сколько свободных путей имеет сейчас Никилей. А Михаил Иванович, не дожидаясь моего ответа, уже отдал команду и, прочерчивая путь угольного маршрута, спокойно утверждает: — Не выйдет из тебя диспетчер. Ворон считать любишь.

«Лучше быть плохим диспетчером, чем подлецом, — распаляю я себя против Михаила Ивановича. — Принес деньги — и спокоен, считает себя вправе глядеть сыну в глаза. В такие глаза!»

Я обернулся к подоконнику, но Саши там уже не было. Он ушел как-то незаметно. Я вышел на крыльцо покурить. Дежурство явно не удавалось: в дневнике ни одной толковой записи, в голове ералаш.

«Главное — тошно сидеть с этим двуличным человеком», — оправдывался я перед собой.

На крыльце локомотивный диспетчер, хромой, веселый Толя Самарцев, покуривая, задирал возившегося с приблудной собакой Сашу:

— Что, Александр Усатов, выгнала тебя Зоя Константиновна?

— Я сам ушел, уроки надо готовить, — возразил Саша и с детской непоследовательностью добавил, уходя: — Она ругается.

— То-то и оно — ругается. Ну, иди-иди, делай свои уроки.

— Чего она на мальчишку-то взъелась? Он виноват, что ему больше негде отца увидеть? — спросил я, когда Саша ушел.

— Уж очень Михаил его любит. — Самарцев до искр затянулся сигаретой и, с сожалением посмотрев на окурок, далеко швырнул его в серый, притаявший снег.

— А ей-то что?

— Как это что? Вот возьмет бросит семью и станет с Юлькой Усатовой жить ради Сашки. Главное — там у него одни дочки, а сын — это сын!

— А ей какая печаль?

— Балда! — беззлобно выругался Самарцев. — Если что моральное, наша Зоя...

— Значит, если жену обманул — недостойно, а если ребенка, то пожалуйста, сколько угодно? — запальчиво спросил я.

— Ищи их по всем комнатам, а они на солнышке греются, — высунув на крыльцо лисью свою мордочку, сварливо сказала секретарша начальника отделения Кондакова. — Идите распишитесь в приказе.

— А что, схватили шишку? — подхватывая костыль, дурашливо испугался Самарцев.

Кондакова не удостоила нас ответом.

Приказ был необычным. Начальник отделения обязывал всю смену после дежурства ехать смотреть новую автоматику, смонтированную пока только на одном посту станции.

— К восьми часам подойдет автобус и все поедете, — пояснила секретарша, лакированным красным ногтем открыживая место, где нам расписываться.

— Всю жизнь мечтал об этой увлекательной экскурсии, — дурашливо скривился Самарцев.

— Недооценка расширения технического кругозора у тебя не в первый раз наблюдается, Анатолий. Смотри! — пригрозила, проходя в кабинет начальника, Зоя Константиновна.— Останешься в обозе, тогда не жалуйся...

В институте нас уже знакомили с этой автоматической системой управления, я видел ее в действии на станции Инская, поэтому больше смотрел на сигналиста. Немолодой смуглый человек с резкими морщинами на обветренном лице, он показывал свою технику в действии так горделиво, словно сам ее изобрел. Осторожно, ласково нажимал рукой блестящие кнопки и спрашивал, обращаясь к одной Зое Константиновне:

— Видала? Помнишь, на старом дровяном сколько стрелок на маршруте было? А я р-раз! И все на месте — принимай поезд. Видала?

— Шагнула техника,— размягченно вздохнула Зоя Константиновна и тронула за рукав молчаливого Михаила Ивановича: — Мы с тобой, Замазчиков, начинали работать при керосиновых семафорах, а гляди, вот и в коммунизм вступаем.

Все во мне ершилось в этот вечер сам не знаю, против кого. Обида ли за Сашу, за свое щенячье восхищение обыкновенным алиментщиком, долго копившееся раздражение против трескучих цитат Зои Константиновны, а может, все вместе захлестнуло меня, только я вдруг спросил вызывающе резко:

— А что, в коммунизм с алиментами будут пускать? — И сам испугался внезапной недоброй тишины, разом наступившей на пульте управления.

Михаил Иванович, великолепный Михаил Иванович, не то беспомощно, не то удивленно взглянул на меня и молча вышел на окружавшую пульт открытую веранду.

— Это вы к чему, молодой человек? — спросила Зоя Константиновна. — От давешней ее размягченности не осталось и тени. Она стояла выпрямившаяся, напряженная, как стальной прут, и властного ее голоса невозможно было ослушаться.

— Он думает, Михаил Юльку Усатову обманул, — вместо меня ответил Самарцев и засмеялся. — Если хочешь знать, Юльке Усатовой алиментов не то что народный суд, товарищеский и тот бы не присудил. Ее, может...

— Себя он обманул, а не Юльку, — негромко заметил смуглый сигналист.

— Мальчишка!.. — одним взглядом уничтожила меня Зоя Константиновна. — Думаете, при коммунизме ангелы с крылышками жить будут? — И, уже отвернувшись, припечатала: — Чистоплюй вы несчастный...

Почему это «вы»? Зоя Константиновна даже с начальником отделения была на «ты». И это «вы» ударило меня сильнее «мальчишки» и «чистоплюя».

Словно она этим коротким словом вышвырнула меня из своей смены без надежды вернуться.

— Вы еще не видали, какая отсюда картина видна, — распахивая дверь на балкон, сказал сигналист. Я благодарно глянул на него, но сигналист отвернулся и объяснил Зое Константиновне: — Вся станция у меня как на ладошке!

Уже стемнело и внизу, насколько хватал глаз, вели свой, одним железнодорожникам понятный разговор синие, белые и красные огни светофоров.

— Вот это обзор! — заметил кто-то, но внизу заурчал мотор вернувшегося за нами автобуса, и Толя Самарцев, перегнувшись через барьер, закричал водителю.

— Вовремя ты приехал за нами. У меня кишки к хребту приросли.

— Да уж, действительно, выдумали экскурсию после работы, — проворчала Вера.

— Тебе-то что! На танцы еще успеешь, а мне для Соньки хоть выписку из приказа бери об этой экскурсии. Может, ты, Вера, зайдешь подтвердить, что мы с тобой серьезным делом заняты были, — едва поспевая со своим костылем за дробным цокотом Вериных каблучков, балагурил Самарцев.

Стараясь ни с кем не встречаться взглядом, я вышел на лестницу последним, но Михаил Иванович как-то оказался позади меня, и я удивился, какие разные чувства могут одновременно владеть человеком. Мне хотелось прыгнуть через перила, исчезнуть и остановиться, сказать Михаилу Ивановичу, какой я недопустимо лопоухий, непростительно самонадеянный щенок. А вместо этого я должен был чинно считать ступеньки, чтобы не наступать на пятки Зое Константиновне.

В автобусе я сел на самое заднее сиденье, но Вера тотчас уступила Михаилу Ивановичу свое место впереди и оказалась рядом со мной.

— Пойдешь на танцы? У нас в клубе оркестр. — Она вытянула в проходе свои длинные ноги в дымчатых прозрачных чулках и теплых башмачках на «шпильках».

— Не знаю, — буркнул я.

— У мамы спросишься? — Вера подобрала ноги, и теплое ее колено во всю длину прижалось к моей ноге. Раскаленная искра взмыла от нее вверх, опалила жаром грудь; перехватила дыхание. Я отвернулся к окну, но моя рука сама, без всякого моего участия скользнула за спину Веры. И вдруг Сашины чистые глаза глянули на меня из лакированной заоконной темноты. Чистые, широко распахнутые глаза...

— Конечно, спрошусь. А как же?

— Правильно, всегда слушайся маму. — Вера нахлобучила мне фуражку до самого носа и метнулась к выходу.

— Коля, притормози, дружочек. Я здесь сойду.

Вместе с Верой сошло еще несколько человек. Мне тоже следовало сойти, чтобы успеть поужинать в столовой. Я уже прошел вперед, к выходу, вдруг увидел, что место рядом с Михаилом Ивановичем свободно, и сел. Просто сел и все.

Михаил Иванович посмотрел на меня сосредоточенно и задумчиво, как за диспетчерским пультом: вот-вот спросит: — Ну что, инженер, как мы здесь поступим? — Но он ничего не спросил, только улыбка, не то виноватая, не то ободряющая тронула его сурово сжатые губы.

А может, мне показалось? Но все равно, рядом с ним мне стало опять хорошо и надежно, как раньше.

Автобус довез нас только до отделения дороги — шофер спешил везти локомотивные бригады к поездам. После двенадцати часов напряженной работы и не очень удачно закончившейся экскурсии все устали и быстро разошлись каждый в свою сторону. Я остановился в раздумье. Идти в столовую было уже поздно, станционный буфет мне не по карману... — Напьюсь чаю, там должна быть булка в тумбочке, — сказал я себе и зашагал в общежитие.

Против обыкновения, Борька был дома. Он читал затрепанный «Огонек» и доедал мою завалявшуюся булку. Я сразу узнал ее измазанный повидлом бок.

«Видать, такой уж сегодня день невезучий», — подумал я, но в душе почему-то не было горечи.

— Припозднился ты сегодня. Видать, за ум браться начинаешь, — откладывая в сторону журнал, гнусно улыбнулся Борька. — А я, понимаешь, пустой номер потянул...

Я взял полотенце и, не дослушав, ушел в умывалку. На душе у меня было хорошо, надежно, чисто, как давеча в автобусе, рядом с Михаилом Ивановичем. Словно это не мой дневник практиканта остался сегодня пустым, словно не меня отчитала Зоя Константиновна и высмеяла Вера, словно это не я лягу спать голодным. Словно я сделал сегодня что-то очень, очень хорошее.

Н. КУЗАКОВА

ПТИЧКА НА ПОЛЯХ

Рассказ

Прескверненшая это вещь — угрызения совести. Какой-нибудь пустяк, а мучает всю жизнь. Моей Наташке было семь лет, когда я в первый раз (да и в последний) побил ее. В ветреную погоду она убежала с подружками в легком пальтишке. Мать страшно волновалась, боялась, что дочь простудится. Да и я переживал. Когда она пришла возбужденная и радостная, но порядком продрогшая, я, ни слова не говоря, взял ремешок и принялся ее стегать, приговаривая:

— Будешь гулять не одевшись, будешь гулять не одевшись?..

Больно вспоминать мне об этом. Разве нельзя было иначе? Ведь по натуре я не злой. А Наташка — сама нежность... Но я был неопытным отцом. Ведь я женился года два тому назад на женщине с ребенком. Наташке было уже пять лет. Девочка сразу же приняла меня в свою жизнь как долгожданного папочку, погибшего на фронте.

Она не стала любить меня меньше. Так же ласкалась, целовала... Но всегда с тех пор было больно глядеть в ее большие ясные глаза. Как я мог! Теперь ей уже двадцать лет. Она — взрослый человек, а у меня такое чувство, словно я только вчера ее наказал.

Да! Невыносимая это вещь — угрызения совести.

Но если б на совести была одна только Наташка...

Это было давно уже. Помнится, в тот же год, когда я отодрал Наташку. Я получил из районо распоряжение выехать в Покровскую школу для обследования.

У нас на юге, можно сказать, и нет весны. Лето наступает как-то нежданно-негаданно. В марте деревья стоят еще голые, а жара уже невыносима. Когда я поехал в Покровку, зима вернулась снова. На всем лежал снег, обильный, ослепительный. К обеду неожиданно появилось солнце, и снег осел, распустился, превращаясь в лужицы.

Приехав в школу, я застал там всю комиссию. Ее возглавлял Кочкин, наш инспектор, мужчина еще молодой, с конопатым лицом, узеньким лбом, коротеньким носом. Когда он говорил, то казалось, что слова выползали из носа. При этом на вас глядели мутноватые, словно нетрезвые глаза. А вообще-то он держался своим парнем, на «ты». Что касается меня, так я даже был ему обязан. Поясню коротко, каким образом.

Вернувшись после войны в свой город, я не явился в университет, где передо мною когда-то открывались огромные перспективы (я ушел на фронт добровольцем из аспирантуры). В анкете у меня была закорючка: в плену я был... Сначала я пошел в гороно. Меня там приняли радушно (внешность располагала), но когда заглянули в анкету... В общем, мест не оказалось. Пошел в облоно. По всему было ясно, что в учителях облоно нуждалось. И мне не отказывали. Но и определенного я не мог ничего добиться.

Наконец все уладил Кочкин. Мы с ним распили, конечно. Но это уж не имеет значения...

Мне предстояло обследовать состояние преподавания русского языка в одной из школ.

Свое знакомство с «русаками» школы я начал с беседы, то есть с выяснения прохождения программы «и тому подобного». Первой моей собеседницей оказалась молодая женщина, маленькая, с тонким лицом. Она походила скорее на подростка, чем на учительницу. Та же угловатость в движениях, отсутствие педагогических интонаций. Ярко-белый маленький воротничок синего костюмчика усиливал это сходство с подростком. Звали ее Натальей Андреевной.

Я попросил у нее тетради. Стал просматривать их. Вижу: все проверяется. И тетради уже не новые. А часто и так бывает: приезжает инспектор — у всех учеников тетради только начаты. Чистенькие — не придерешься. К тетрадям учеников Натальи Андреевны тоже трудно было придраться. Нельзя было не заметить, что ребята выполняли большие по объему работы.

— Вот я вижу в ваших тетрадках, — нашел я наконец повод к замечанию, — что ученики совсем не обозначают, какая работа классная, какая домашняя. Что, разве тетради у вас не «круговые»?

Наталья Андреевна внимательно поглядела на меня.

— А я, знаете, не задаю на дом.

— Как?! — удивился я. Я и в самом деле не ожидал такого. Все задают на дом. Вон наша Полина Трофимовна дает пятиклассникам чуть ли не по 200 слов. Я-то сам, правда, не сторонник обременительных заданий, но слов по пятьдесят, по семьдесят даю на дом.

— Дома ребята невнимательны и даже при списывании допускают ошибки, — начала объясняться учительница. — Да и потом: когда же ребятам отдыхать? По арифметике — задание, по истории — задание, по литературе задание... А ведь им и побегать хочется, и книжку почитать. А там и матери надо помочь. И на пионерский сбор сходить. Да мало ли... На уроках отсиживают по пять часов да дома сиди... я за то, чтобы не давать...

Я решил пока ничего на этот счет не говорить и вернулся к этому при посещении уроков и проверке всей ее системы.

— А это что? — опять обратился я к ней, показывая на птичку на полях. — Вы исправляете строчную букву на прописную, а на полях ставите птичку, тогда как все орфографические ошибки у вас обозначены на полях палочкой.

— ...Сквозь вьюгу седую и дым она прокричала друзьям молодым: «Не страшно мне гибнуть за русский народ..» — читала вполголоса Наталья Андреевна указанную мною строчку. — А-а! так ведь ошибка-то пунктуационная — на прямую речь.

И я хоть и молчал, а не мог не согласиться с учительницей.

И удивительное дело: эта маленькая птичка на полях вызвала вдруг уважение к маленькой девушке в синем платье. Мне почему-то захотелось говорить с ней, захотелось о многом услышать ее мнение. Возникла та невидимая нить, еще очень тоненькая — хрупкий мостик от души к душе.

Мне не понравилось начало ее урока. В маленькой комнате, явно не предназначенной для класса, было тесно, неуютно. Ученики сидели спиной к входу и нас встретили неорганизованно: о чем-то переговаривались, что-то отнимали друг у друга. Учительница стушевалась и как будто не знала, с чего начать. Будь она одна, наверное, нашлась бы, а тут стояла у стола покрасневшая и молчала. Потом заговорила. О чем она заговорила, уж не помню, но какая-то неуверенность была во всем ее существе. И вот начала читать «Песню о Соколе», начала так естественно, так просто, совсем не повышая голоса, словно разговаривала с самым искренним, с самым задушевным другом. И я услышал плеск живых волн и ленивый голос Ибрагима. Я так ясно слышал этот голос в размеренном речитативе, что и забыл, что я на уроке. Я видел и ужа, и окровавленного Сокола. Много раз читанная, много раз слышанная «Песня» звучала сейчас светло и ярко. Конечно, действовала сила слова, но я понимал также и вторую, не менее важную причину: благородную манеру исполнительницы. Впрочем, «благородная манера» — это неудачное выражение в данном случае. У нее не было никакой манеры. Она вся была во власти сказки. Я поглядел на нее: она выпрямилась, лицо ее разгорелось.

«О если б в небо хоть раз подняться...»

Сокол погиб... Но в полете. И разве смогут когда-нибудь все ужи на белом свете понять, почему он стремился в небо. И как искусно, как своеобразно тонко она передала это в интонации.

Ужи живучи, и самодовольство их неуязвимо. И все-таки смерть Сокола прекрасна. И звенящий голос учительницы чист. В нем сила, уверенность. «Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым...»

Она кончила и замолчала, сев на стул. Молчали и ученики. Оставалось еще минут шесть. Я ожидал, что сейчас последует анализ, как и полагается, по вопросам хрестоматии. Но она молчала, и взгляд ее был далек

от окружающего. Она вся еще была в той стихии.

Молчали и ученики.

«Почему не начинает», — переживал я. Молчание было уже неудобно.

Даже слышно было шуршание пера по бумаге — это Кочкин строчил что-то в своем блокноте.

Прозвенел звонок. Ребята захлопали крышками парт, повскакали с мест. При выходе из класса они выкрикивали: «Рожденный ползать летать не может» и тузили друг друга по лопаткам. Мальчишки оставались мальчишками.

— Разберите урок, — бросил мне Кочкин, а сам пошел в директорский кабинет.

— Почему вы не приступили к анализу? Ведь в вашем распоряжении было время.

— Знаете, — начала она, робко улыбаясь, — не могу я как-то перестроиться вдруг на этот «анализ». Я буду, буду, и беседовать и разбирать, и об идее говорить. Но... после, после. Не на том уроке, когда читаю. Пусть в них все это войдет, впитается как бы...

Я и готов был согласиться с ней, но не мог. Я сказал.

— Вы же время теряли.

— Теряла?.. — переспросила она меня виновато, не отрывая от моего лица своего взгляда.

Она не делила свои уроки на составные части. Не было у нее и затяжных опросов с вызовом к доске. Но никого не выпускала она из виду, и ни одного слова, требующего объяснения, не оставляла она без внимания.

Я терялся: как ее судить? Я сам преподавал русский язык, и каждый ученик у меня мог отчеканить любое правило в любую минуту. Но вот писать они не умели — мои ученики. Писали они с ошибками. Разве плохо я им объяснял? А Наталья Андреевна совсем, можно сказать, не объясняла. Она давала на доске примеры (или таблицу приносила) и заставляла сопоставлять и делать выводы.

Беседовать после каждого урока с ней приходилось дольше, чем с другими. Но говорить с ней было не так-то просто.

— Как вы будете выводить оценки по русскому устному? — говорю я ей, просматривая журнал. — У вас совсем почти нет оценок за устные ответы, а только за письменные. Ведь уже март начался и не за горами конец четверти.

Она ответила не сразу.

— Да... но как же быть? Если бы можно было ставить за... каждый ответ. За объяснение орфограммы... Тогда бы много можно было накопить оценок.

И, еще помолчав, продолжала:

— Не понимаю, зачем надо обязательно делить русский язык на «письменный» и «устный». Русский язык есть русский язык, и грамматика есть грамматика. Ну, я вызову ученика к своему столу, он ответит мне, я поставлю ему «пять». А писать-то он не умеет. А ведь цель-то грамматики — научить писать, писать грамотно. Я бы, пожалуй, не возражала, если бы ученик писал даже механически грамотно. — Тут она улыбнулась неожиданно и после короткой паузы сказала: — Когда я училась, я совсем не зубрила ни правил, ничего. А писала еще с первого класса без ошибок. Совсем без ошибок. Помните, тогда оценивали не баллом, а оценкой «хорошо», «отлично». И наш учитель по русскому языку (он, между прочим, чем-то похож на вас: высокий, брюнет) после каждого неизменного «отлично» ставил восклицательный знак в моей тетрадке. Никому больше не ставил, мне одной...

— Что же, вы за механическую грамотность?

— Ой, что вы! Зачем же? Не у каждого же природное чутье к языку. Я за то, чтобы «устные знания» не были ради «устных знаний»... Чтобы ученик умел пользоваться правилами при письме. Я за то, чтобы по русскому языку была одна отметка.

Она заставляла задумываться.

— Знаете, — заговорила она в другой раз, — как бы хорошо было, если б отменили отчеты четвертные, полугодовые. Если б не ругали за проценты в четвертях. Насколько бы повысилась тогда инстинная успеваемость...

— Что ж, по-вашему, не проверять учителя, не спрашивать с него, не контролировать?

— Почему же? Но... знаете — как бы ни был хорош садовод, нельзя же требовать от него урожая через месяц-два после посадки деревца. Нужны годы, по крайней мере — год... Учитель взял, скажем, пятый класс. Успеваемость низкая — за первую четверть. Учителю предупреждение. Его склоняют. Как будто он должен за четверть дать классу то, что не сумел его предшественник за четыре года. Во второй четверти сдвиги незначительные, но учитель натягивает. Выговора боится. А если бы не этот дамоклов меч, я уверена, положение бы в классе изменилось, ученики выправились бы по-настоящему. Да. А так что? Другой ученик получил тройку и успокоился. И ведь многие из них прекрасно понимают, что учителю «попадет» за их двойки.

Наше обследование подходило к концу. На последнем уроке Натальи Андреевны мы си-

дели с инспектором вместе, даже рядом, на задней парте у окна.

Кочкин спросил у меня о чем-то. Я ответил тихо, стараясь не пропустить чего-либо из урока. Но сосед опять заговорил и уже не отступал. Он даже не очень старался сдерживать голос. Учительница растерянно посматривала в нашу сторону, но мой сосед не обращал на это никакого внимания. Почему я не остановил его, никак не могу сейчас понять.

Наталья Андреевна проводила какую-то диктовку, предварительно разобрав текст с учащимися (он находился у них в учебниках). После диктовки она снова заставила раскрыть учебники и найти ошибки, подчеркивая исправленное. Потом предложила ребятам оценить свои работы. По классу пронесся шквал. Предложение явно понравилось шестиклассникам.

В конце урока она собрала тетради.

Мне захотелось сразу же попросить эти тетради, но Кочкин послал меня в другой класс, к другому учителю, сказав:

— Я сам разберу урок, — и сел за стол в учительской, против Натальи Андреевны.

Когда я пришел с урока, они еще сидели друг против друга. Кочкин размахивал руками, а учительница сжимала пальцами какой-то мокрый комочек — носовой платок, наверно, так как слезы она уже стирала ладошками, совсем превратившись в ребенка.

— Вам воспитание доверили, — кричал Кочкин в нос, — а вы не умеете себя вести с официальным лицом. В пререкания вступаете.

Что произошло между ними, я не знал. Кочкина взбесила, очевидно, независимость учительницы.

— Что произошло? — спросил я, когда Наталья Андреевна ушла.

— Хамка, — высвистнул он в нос.

— Я бы не сказал, — возразил я.

— Еще бы! С тобой бы она хамила! Евгений Онегин. Влюбилась.

Эти слова не могли не возмутить меня, но бесполезно было вступать с ним в спор сейчас. Надо было направить разговор по деловому руслу.

— Как урок? Разобрали?

— Разберешь с такой. Сразу в штыки!

— Но урок, по-моему, интересен.

— По-твоему! А ты хоть слышал что на уроке?

— Но вы же сами...

— Что я?! У меня навык. Профессиональный. Мог же Цицерон или Юлий Цезарь там, мог же одновременно и читать, и говорить, и слушать...

Я не стал уточнять его познаний и, помолчав, заговорил опять:

— Но... все-таки...

— Что «все-таки»? Ты что? Ах, да! Понимаю. То-то я заметил: спелись. Но учти: я пригласил тебя проверять, а не за юбками бегать. Ясно?

Я предпочел промолчать.

На другой день Наталья Андреевна пришла в школу заметно подурневшая. На меня она не поднимала глаз, избегая вопросов, обращений. И хоть мне хотелось вступить в разговор с ней, я бы все равно не смог: нужно было кончать с докладной, так как вечером должен был состояться педсовет.

Электрические лампочки горели тускло, под самым потолком, да и то только над столом «президиума».

Учителя, рассевшиеся за партами, подальше от стола, оказались в полумраке. Кочкин читал акт обследования. Потом, как и полагается, перешел на состояние учебно-воспитательной работы в школе. Я был уверен, что он поостыл и к Наталье Андреевне отнесется более справедливо, чем вчера. И вот слышу:

— Хотя Роберт Маркович (это я) пишет тут, что методы Костровой небезынтересны, я считаю этот отзыв необъективным. Я вынужден осветить положение дел.

И пошел:

— Уроки неорганизованны...

— Ученики недисциплинированны...

— Время на уроке разбазаривается попусту. К урокам учительница не готовится как следует...

— Всем известную, давно установленную структуру урока Кострова не признает. Она не соблюдает его частей: ни повторения, ни закрепления, ни сообщения нового. В восьмом классе, например, целую лекцию читала — биографию Гоголя. Совершенно не считается с указаниями министерства просвещения: домашних заданий не задает.

— ...Предложения, которые дает Кострова на уроке, не содержат воспитательного элемента, — продолжал Кочкин.

«Сквозь вьюгу седую и дым она прокричала друзьям молодым...» — вспомнилось мне.

Я оглянулся невольно: Наталья Андреевна, сидя за партой у темного ночного окна, положила голову на крышку парты, очевидно, стараясь скрыть душившие ее слезы или, может, потеряв силы.

— Так когда же вы начнете перестраиваться, товарищ Кострова? — закончил свое слово инспектор и, вдруг протянув руку с толстым пальцем, возмутился:

— Вот вам, пожалуйста, поведение Костровой. Речь идет о ней, а она?.. Извольте слушать, когда о вас говорят. — Это был уже окрик. — А если не желаете слушать, можете удалиться. И вообще вам следует подумать, оставаться ли вам в школе. Нам не нужны белые вороны.

Кострова быстро подняла свое лицо, горячее, страдающее, но тут же снова уронила голову на парту.

Я посмотрел на директора, сидящего за столом, на его рыхлое, почти безглазое лицо и не мог понять его выражения: оно как будто усмехалось. Но чему? Учителя хмуро уставились в крышки парт.

Я уже поднялся было опровергнуть Кочкина, но тут вспомнил о своей закорючке в моей анкете... У меня как-никак семья. Я люблю и жену, и дочь, пусть не родную, и не могу рисковать их благополучием.

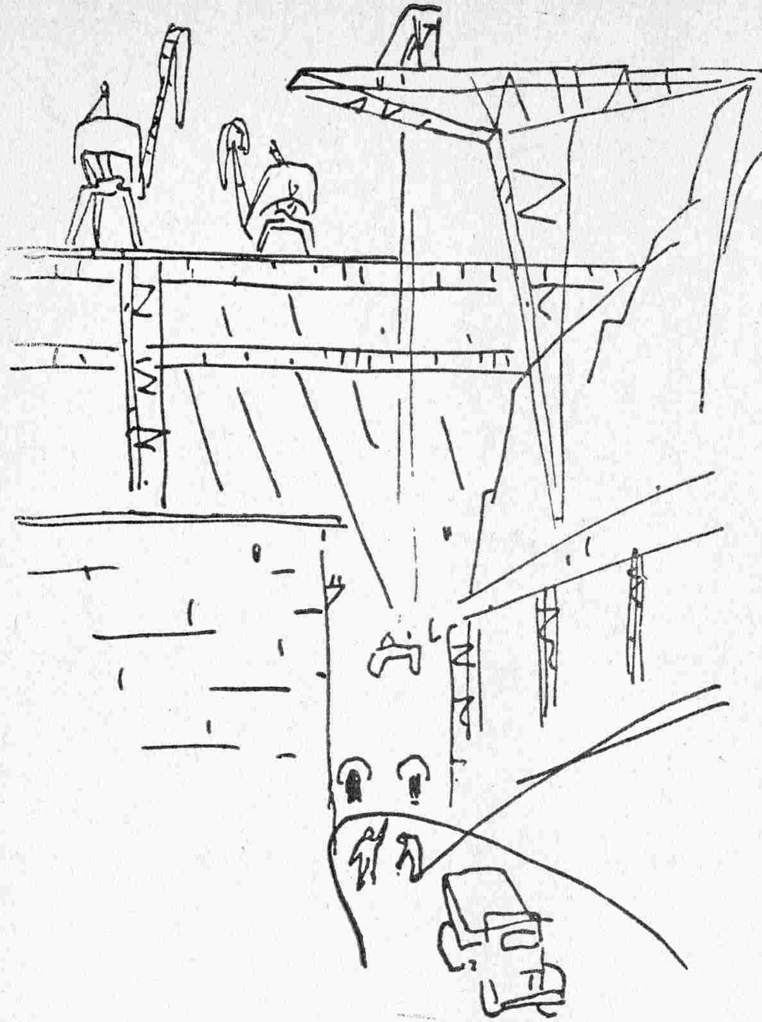
Все во мне превратилось в клубок противоречий. Справедливость боролась во мне с осторожностью. И осторожность победила. Я не встал и не опровергнул Кочкина.

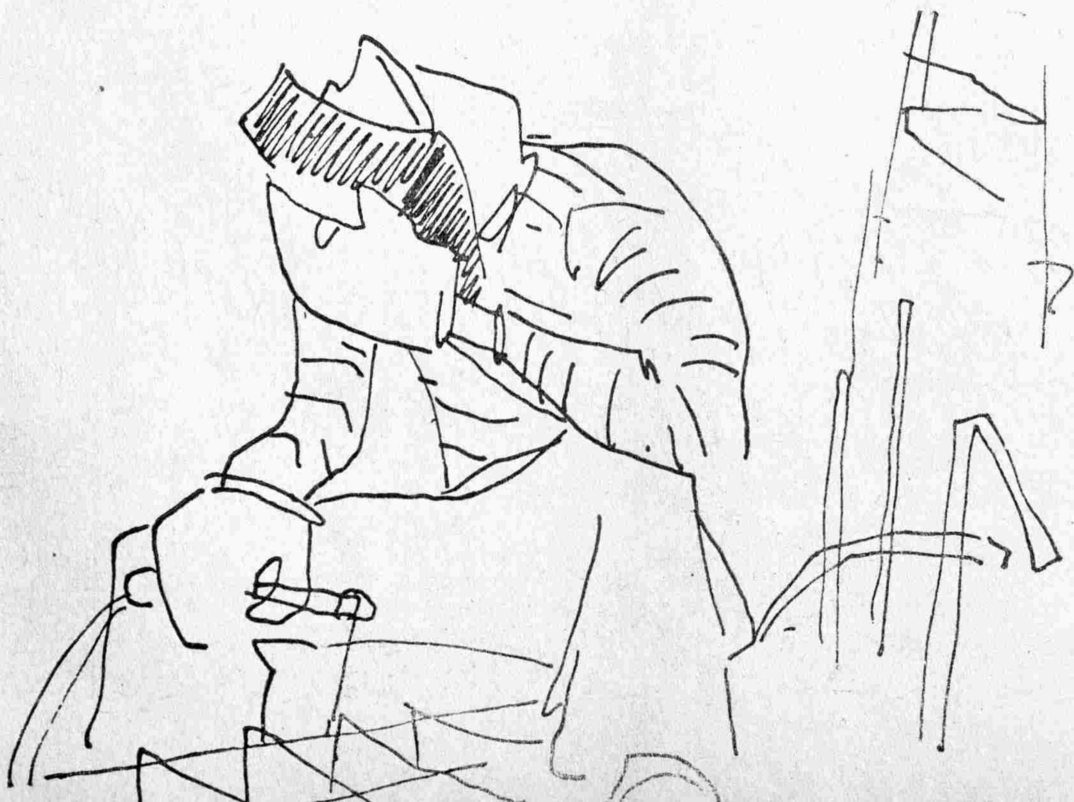
Где теперь Наталья Андреевна? Она и на самом деле ушла тогда из школы.

Никогда не перестает мучить меня моя совесть. Простишь ли ты меня когда-нибудь, Наталья Андреевна, Наташа?.. Ты так и осталась в моей памяти молодой, похожей на подростка в синем платье с ярко-белым воротничком.



ИЗ СЕРИИ «БРАТСК СТРОИТСЯ». ЗАРИСОВКИ А. ПЕРШАНИНА.





СЕРГЕЙ ИОФФЕ

Баллада об одной строке

Я пишу мучительно долго —
Извожу бумагу без толка.

Я сижу за столом ночами,
Я на кофе живу, на чае.

Мне друзья говорят: «Фанатик.
Так тебя ненадолго хватит.

Пишешь, пишешь... А между прочим,
Издают-то тебя не очень».

Я с улыбкой друзьям внимаю.
Из кармана блокнот вынимаю.

Говорю: «Познакомьтесь с такою —
С самой лучшей моей строкою».

Ах, строка! Не легко далась ты.
Сколько злости в тебе да ласки,

Сколько горечи, сколько меда!
Не изменишь ты мне, как мода,

Не сфальшивишь, как пьяный тенор,
Не заманишь, как леший, в темень.

Ах, строка! До чего строга ты!
Пуля смертная для врага ты,

А для друга, в тайге под небом, —
Ты краюха ржаного хлеба.

Колдовать над строкой кончаю.
Головами друзья качают.

И разводит руками каждый,
И твердят: «Ничего не скажешь.

Ты сработал строку что надо,
Но заботы осталось на год.

Стих, по сути, еще не начат —
Попотеешь над ним, не иначе...»

Я сижу над стихом, потею.
Год прошел — велика ль потеря?

Я упрям. Я и впрямь фанатик,
И меня лет на сорок хватит.

Не вздыхайте, меня завидев,
Неудачником не зовите.

Пусть порою сижу без денег —
То не значит, что я бездельник.

Вечный поиск строки — дороже,
Он доводит меня до дрожи,

В нем и счастье мое, и беды...
Если я не добьюсь победы,

Если сдамся, умру до смерти —
Не жалейте меня, не смейте!

Прокляните мои седины.
И не надо мне середины!

Желание

Есть тайное желанье у меня.
Не всякому
решусь его поведать.
Хочу
квартиру с газом
поменять
На древнюю, как мир,
избушку деда.
Она стоит
в нехоженых лесах,
Туда друзьям болтливым
путь заказан.
Замшелая,
с кукушкой на часах,
Как экспонат
старинных русских сказок.
Мне помешать
никто не сможет там.
Во всем,
что видел в жизни,
разберусь я.

Там только леший
ходит по пятам,
Там крепко пахнет
настоящей Русью.
Там буду я
до самого покрова
Бродить в тайге
ни свет и ни заря.
А вечерами
Ильфа и Петрова
Читать на лавке
возле фонаря.
Фонарь, фонарь —
волшебная лампада!
Со всей тайги
слетятся мотыльки.
Они кружиться будут
до упаду
И упадут
на книжные листки.
О, мотыльки!
Я их сберечь бы мог.
Да только
ни к чему им
жалость эта.
Я, может, сам —
такой же мотылек,
Упрямо пробивающийся к свету.
Лечу на радость
или на беду.
Мне свет не загораживайте,
люди!
Я обожгусь.
Я строчкой упаду.
И строчка эта,
верьте,
честной будет.

ДЕНИС ЦВЕТКОВ

Встреча

Я восемнадцать лет здесь не был!..
Передо мной —
Во всей красе, —
Как обелиск, вонзилось в небо
Волоколамское шоссе.

Насквозь продутое ветрами,
Дождем омытое,
Оно,
Сейчас играло под ногами,
Закатным солнцем зажжено.

И здесь,
Где кончилось когда-то
Житье беспечное мое,
Стоят гранитные солдаты
На месте памятных боев.
У них — величественны лица!
Богатыри!
Им все с руки!
Не зря вверяла им столица
Свою судьбу: сибиряки!

А я их знал еще живыми,
Всех земляками называл,
И горд,
Что здесь вот
Вместе с ними
Я оборону занимал.

В той давней полночи кипящей
Я ранен был.
И я не знал,
Что земляков,
На смерть стоящих,
Последний грозный разводящий
В ту ночь возвел на пьедестал.

Но и гранитные,
Гвардейцы
Стоят со связками гранат...
Россия!
Ты на них надейся,
Как восемнадцать лет назад!..

И. ГОЛУБЕВ

Мечтатели

Мечтать — радостно, замечательно.
Но ведь разные
есть мечтатели.
Их проверить бы надо тщательно:
где страдатели —
где старатели.
И мечта у одних — задорная,
словно бабочка в цвет зари,
но в тайге
разожжет костер она
и над первым костром — сгорит...
А другой лишь дорогам верит,
чей напев и суров, и жгуч.
Он не стерпит — закроет двери
и соседям
оставит ключ.
И потом — трамвай, электричка,
до утра — колес перекличка.
А потом — сквозь мечту пешком.
Там луна над спальным мешком;
там безумство дразнящих гроз;

жемчуга настоящих рос;
у Земли
        на ночном халате
переливы чужих галактик —
точно вспышки мечтаний отчаянных,
как огни городов недостроенных...
Так скажите,
        о чем вы мечтаете —
Я отвечу, чего вы достойны.

* *
*

Дикарь свалил иссохший ствол,
Стесал узоры бурой крови,
Поджег — и замер, хмуря брови,
Пока пылало божество.
Как знать, каким был полон чувством,
Каким заветам изменил,
Когда себя он изумил
Таким неслыханным кощунством!
Нам не понять еще его
Большого, страшного неверья.
Понять? — Но начинать с чего?
Понять? Но даже в нашу эру
Тревожно вздрагивает мир,
Когда свергается кумир!..

Лев Черепанов

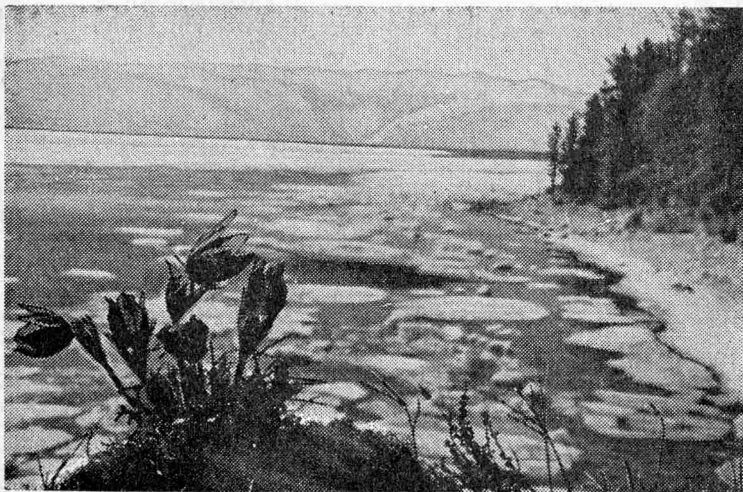
В МИРЕ ВСЕ НЕ ПРОСТО

Очерки

ГОЛУБОЕ ЦАРСТВО АРГАЛОВ

Три слова пугают сердце: «Нерпы — это сорняки». Три слова поставили под прицел не хищников, которые досаждают людям, день за днем приносят ущерб, а морских зверей, красивых, доверчивых, совершенно беззащитных морских зверей.

В чем провинились байкальские тюлени, почему на голубой ниве, на которой хозяйничают рыбаки, снимают урожай серебристых хариусов, знаменитых омулей, их считают не только лишними, но и приносящими вред? На каком основании вынесен беспощадный приговор? И кем вынесен приговор?



Живой оптимизм — нежные байкальские подснежники в близком соседстве со льдинами.

Вопросы, вопросы, вопросы...

Исследования байкальских тюленей начались сравнительно недавно, четыре года назад. Молодой ученый Владимир Дмитриевич Пастухов день за днем накапливает сведения о морских зверях. Цель его — разобраться, так ли уж вредны они? Владимир Дмитриевич уже сегодня может кое-что сказать о нерпах, но торопиться в науке всегда плохо. Еще остается неизвестным, как существуют, питаются нерпы ранней весной, в начале лета. Еще надо собирать факты. А потом!.. Владимир Дмитриевич волнуется, заглядывая в грядущее. Он вступит в спор против убийства морских зверей, и этот спор на Байкале будет шумным, тринадцатибалльным.

Вопросы о жизни нерпы поторопили экспедицию Пастухова выйти в море вслед за уплывающим на север льдом.

* * *

Не более с полчаса или того меньше наша «бригантина» бездумно стояла у пирса, пахнущего смолой, горным ветром, теплом и дальними плаваньями. И суетились рядом с «бригантиной» молодые исследователи, ихтиологи и зоологи. И вздымали на свои плечи разный груз — спальные мешки, сухари, сети, бочки, ящики со стеклянными банками, весы, какие еще можно увидеть в отдаленных сельских магазинах, сумки, сумочки, консервы... И слышно было:



Слугин. Капитан, обветренный, как скала.

— Карабины! Куда положили карабины?

— Такая досада, хлеб не успели получить. Должны подвезти из города. Говорю, должны!

И еще было слышно — за рубкой, у радиостанции, кто-то насвистывал:

Бригантина поднимает паруса...

Ах, как волнующе насвистывали!

И вот наше суденышко хлестко бежит по Байкалу.

На «бригантине» все как полагается — боцман, механик с помощником, кок, радист-старпом и, конечно, капитан, обветренный, как скалы, — Василий Иванович Слугин. В эту минуту он косит глаза на компас — сделайте правильно ударение на этом слове, иначе капитан сердится. Он всегда за то, чтобы говорили правильно, по-моряцки: не ко́мпас, а компа́с. Уточняет курс. И по его жестким губам блуждает счастливая, тщательно скрываемая от посторонних улыбка: штиль, над клотиком утомленное от недавнего шалого ветра небо, приветливые вскрики чаек, а под килем — темная глубь, тысяча четыреста метров. Очень хорошо!

Капитан открывает корабельный журнал и почти каллиграфическим почерком:

«Вышли в море. С нами лаборанты Шалашов С., Соловьев Генн., препаратор Хулханов Егор, лаборанты Калашников Ю., Ежов А. В., Кожевников В. П., рабочие Токарев А., кинооператор (ранее снимал фильм «Байкал»), Белинский с сыном Дмитрием...»

Была ночь, и была остановка. Не совсем спокойная: с горы упал ветер — поднял волны. На койках, подвешенных к потолку на цепи, чудилось нам — кто-то сильный, озорного нрава перекладывал и перекладывал наше суденышко с ладони на ладонь.

Как только забрезжил рассвет, выбрали якорь и взяли мористее, подальше от прибрежных скал.

Палуба корабля... Когда на тебе выстраивается экипаж, ты — торжественная площадь. Когда горбятся волны, бросаются вверх брызгами, — ты неуютная, но все-таки жилая площадь. И хочется, чтобы ты была надежной, прочной. Когда, как сейчас, на тебе пилят лиственницы на дрова, увязывают веревками бочки с соляркой, снасти — все, на что замахиваются нарастающие волны, — ты производственная площадка, ловишь бряк, погромыхивания матросских каблуков, прочие голоса буден.

— Не знаешь, почему у моряков тельняшка полосатая? — наклоняется Василий Иванович в сторону юриста, пожелавшего провести свой отпуск в море, поработать матросом.

Юрист переступает с ноги на ногу и молчит.

— Это история, — вздыхает капитан. — Под парусами ходили... Так вот матросикам-братишкам приходилось лазать на мачты, на

реи. А как было трудно следить за ними: паруса белые и матросы в холсте — белые. Смотрели на них боцманы и теряли из виду. Думали нарядить матросов в черное, но ведь жара. Особенно в тропиках. Такая жара! И напечатали матросикам по тельняшкам полосы.

...На горизонте, окатываемый крутыми волнами, Святой Нос. Почему святой, — неизвестно, но наша «бригантина» отличила его от других и, точно в религиозном экстазе, принялась кланяться ему в пояс. И полетели брызги. Расплющились на палубе, на стеклах рулевой рубки. Упали на сидящих у борта. И они — что же еще оставалось делать? — пошли в кормовой кубрик на рундуки, застланные суконными покрывалами; в кубрик, где уже готовились к охоте на нерп — шили из простыней защитные паруса, белые чехлы на шапки (тоже из простыней), точили гарпуны...

Нам еще раньше объяснили, что нерп добыть немудрено. Нужно, чтобы светило солнце и тени от охотников падали не направо и не налево, а за спину. Иначе увидят звери тени — и в воду. Нужно, чтобы дул ветер, не сильный, обязательно встречный и относил бы шум — обычно у шлюпки выплескивают волны. И еще нужно — главное — чтобы были нерпы.

Отталкиваемся веслами от «бригантины».

Мы во всем белом: надели халаты, чехлы на шапки. На носу шлюпки опустили парус, и он закрыл лодку, всех нас, примостившихся возле гнезд для весел, на беседках. Плывем. За кормой урчит в темноту Байкала подвесной мотор.

Владимир Дмитриевич шепотом про нерпу:

— Удивительные звери. Ходили за ними по льду. Найдем гнездо, и микрофон в него. Сами на цыпочках идем прочь, прячемся далеко за торосами. Слушаем. Ходили за нерпами на лодках. Добудем — и тотчас вспарывать. Надо знать, что в желудке. Ну и что бы, вы думали, находили мы? Только желчь, желтую-прежелтую.

Звери охотятся в сумерках, вечером или ранним утром. И в это время для нас, охотников, недосягаемы: вынырнут на миг, хлебнут свежего ветра и опять в воду, вдогонку за рыбой облюбованной. Только к обеду, когда полыхнет солнце, они, тяжелые и притомившиеся, карабкаются на льдины, поблескивают круглыми сытыми глазками. Отдыхают. Все, что добудут, переварят. Так мы все внимание к толстой кишке. Известно, почему? В ней долго остаются нетронутыми разные косточки: слуховые, что в полости ушей, хрусталики глаз. Сравним их с известными, сосчитаем — и вот тебе сведения. Совершенно точные. О рационе нерпы. О съеденных рыбах.

Нерпы!

Кормчий глушит мотор. Мы инстинктивно приседаем и — за весла.

Солнце светит на нас, и тени падают за спины.

Ветерок веет и относит всплески воды у шлюпки далеко в море, в противоположную сторону от зверей.

Никто ни слова. Гребем.

А в мыслях — названия нерп. Кого доведется увидеть? Аргала — взрослого самца? Или тех, которые старше года — чернышей. Их называют и кончаками, и жиганами, и бортелями. Или куматканов — нерпят нынешнего года рождения?

Три минуты езды до стада. Видно, что нерп много. Но они неразличимы, походят одна на другую.



Владимир Пастухов.

Две минуты. Куматканы! Почесываются ластами. И сладко-сладко всхрапывают. Даже щелчки моего «Киева» их не тревожат.

— Лежебоки! Ах, лежебоки, — с укоризной в голосе вдруг вскрикнул Пастухов.

Оглядываюсь. Оказывается, вскрикнул Пастухов, чтоб вспугнуть их: маленькие исследователю не нужны.

Куматканы быстро повскакали на ласты, запрыгали на льдине, как опоздавшие к городскому трамваю, заспешили к воде. Бултых!

Поплыли мы дальше, вдоль кочующей по морю льдине. За взрослыми нерпами, за аргалами.

Палуба экспедиционного суденышка томилась в ожидании охотников: «Выстрелы слышали... А вот добыли? Может, не добыли?» Палуба следила за нами в бинокль. И ликовала, когда, пришвартовавшись к борту, попросили помочь поднять со дна шлюпки две больших нерпы. И судила-рядила, что делать: варить свеженину или жарить...

Зверей взвесили — записали в академический лист. Сосчитали волоски усов, бровей — снова записали.

— Здесь они, слуховые косточки и хрусталики глаз,—ткнул пальцем Пастухов. — Смотрите. Нерпа ест каменную широколобку, песчаную, большеголовую, пестрокрылую, желтокрылую, длиннокрылую, красную, большую красную, горбатую, окуня, налима, язя, ельца, сорогу.

Владимир Дмитриевич чуток помедлил:

— Бывает, идут рыбаки морем, видят, как берег начинает горбиться, приподнимается и вот уже на нем взмахнули горы. Это голомень. Случится кому кинуть взгляд на пески, и они вдруг преобразятся, сделаются похожими на разлив бирюзовой воды. Это тоже голомень, мираж. Подобные явления можно увидеть на других морях, в степях. Но разве где-нибудь повстречаете сходную с голоменью рыбку-голомянку? Она глубоководная и нигде, кроме как в сибирском озере-море, не водится. Половина веса голомянки приходится на жир. В нем витамины — А, В, С. Она в самом деле — мираж. Ощущают ее, видят, когда кладут на берег. А пройдет два-три солнечных часа, и нет ее. На месте, где лежала рыба, остается только жирное пятно да розовая шкурка с нежным, едва различимым скелетиком. Тает. А ловят голомянку? Нет. Она живородящая, на нерест не ходит, в косяки не сбивается. Плавает себе по всем заливам. По всему морю. На разных этажах глубин, и ее очень много. Гораздо больше, чем всех промысловых рыб. Лакомится же голомянкой только нерпа. Ну и омулем лакомится, но не очень. Мы сделали триста вскрытий, и можем сказать следующее: среди ста съеденных нерпой рыб можно найти только две омулевых головы, не больше. Так почему нерпы хищники, сорняки?

Пастухов припоминает споры в биологии о хищниках. Было это в Норвегии. Задумали защитить белых куропаток от хищных птиц.

Представлялось, что чем меньше будет соколов, тем больше куропаток. И стали бить соколов. А результат оказался совершенно неожиданным: белые куропатки стали встречаться все реже. Отчего? Оказалось, что среди куропаток быстро развивались паразитические заболевания, и они гибли.

Хищники — не совсем хищники. В природе они существуют в связи с другими, нехищниками, с жертвами. И, как это ни парадоксально, нужны будущим жертвам. Среди белых куропаток, например, соколы исполняли роль санитаров, поедали больных. Так оно есть и сейчас. Соколы, другие хищные птицы, видят в полете своих жертв какие-то отклонения, особенности и бросаются на них, потому что легче схватить. О нерпах же можно предположить, что они поедают именно больных омулей, зараженных круглыми червями — ими в свою очередь заражаются любители так называемых расколоток. Может быть, нерпы среди омулей — тоже санитары.

Плывет по морю «бригантина», а с ней экипаж, исследователи, устремленные к истине. Чем бы ни начинались разговоры — о тельняшках ли моряков, о ленточках ли на бескозырке, о воротничке-треугольничке, о новостях, которые ловит радиоприемник, о тоске, светлой тоске Вали, нашего кока, по любимому — они, эти разговоры переходят на нерпу. Факт к факту, и становится ясным, что нерпы никому не вредят. И исследователи думают, как разумнее охотиться на море, охотиться и не вредить восстановлению зверей — собственно, в этом и заключается охрана природы.

Между прочим, в нерпах по 100—140 килограммов мяса. Консервы из них получаются очень вкусные и питательные. А мех? Разве не радуются женщины, которым посчастливилось украсить им свои выходные платья?

С ПОЖАРОМ—ВЕЧНАЯ ВРАЖДА

Старая-престарая бумага. Блеклая. Совершенно немая: сгибай ее как угодно — ни звука. Не шуршит. И нужно терпение, особого рода сосредоточенность, чтобы разобраться в затейливой вязи каллиграфии, понять перешагнувшие через века слова. Вот эти:

«...накрепко запретить, дабы лесов жечь никто нигде не дерзал... А ежели кто явится в таком преступлении и будут пойманы, таковым последствием всемерно учинена будет смертная казнь. Повелеть, в том месте, где пожог учинят, сего (же) дня в пристойном месте сделать виселицы и кто в зажжении лесу будут пойманы, то оных преступников в ручные и ножные кандалы заковать для учинения вышеописанной экзекуции».

Побитая временем бумага. Именной указ дочери Петра Первого — Елизаветы, найденный в Илимской воеводской канцелярии. Даже в мыслях не было, что когда-нибудь, в суете командировок, придется вспомнить о нем. Пришлось.

Неожиданно под вечер разразился будоражащим звоном телефон:

— Пожар!

Сипловатый бас, сбиваясь, испуганно и горячо, точно боясь, что его прервут, не дадут высказать, говорил про Киренск, про какую-то совсем неизвестную «великолепную четверку», нехватку вертолетов, рабочих... И сложно было узнать, где пожар, что горит.

— Разве не слышали? Лес горит. Приезжайте. Лес.

...Под крылья «Антона» наплывает роскошным ковром заливной луг. Тут и там — островерхие копны недавно скошенного сена. Тоскливые толпы елей, бредущих вдоль отливающего расплавленным серебром ручья. Хороводы березок, и сразу за ними — распластавшееся на сотни, тысячи километров зеленое море хвойной тайги.

Где он, пожар?

Четверо парней прильнули к иллюминаторам. Николай Гурский, Анатолий Черкалов, Виктор Ефименко, Анатолий Середкин. Пожарные.

На полу, посредине самолета, лежат забытые парашюты, холщовые мешки, в которых консервы и булки хлеба, связанные веревками топоры и лопаты. И костюмы. Они очень смахивают на высотные. Тоже обтягивающие. Только жестче. Под защитным брезентом листы фибры — эти пожарные, поднятые по тревоге, прыгают даже на лес, в зеленый полумрак ломающихся сучьев. Листы фибры спасают парашютистов от ссадин и синяков.

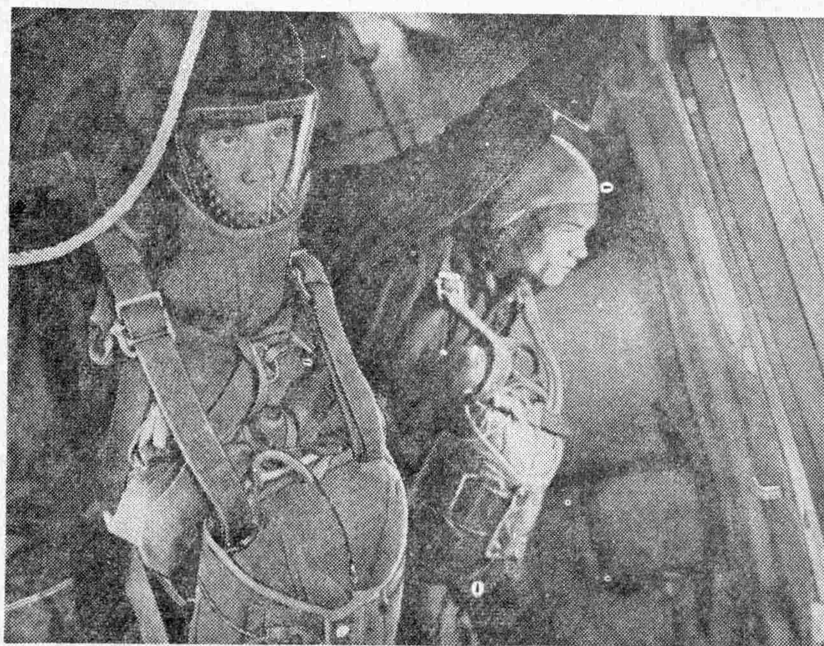
У двери врывающийся ветер теребит шлемы. Единственные в своем роде. На темени их — пухлые рубцы, набитые ватой, ниже — еще рубцы. А со лба — небьющиеся стекла. Они оканчиваются сшитыми из брезента бородами, специально сшитыми, чтобы в волнующий момент, когда вершины сосен целят не куда-нибудь, а именно под нижнюю челюсть — так думается, в тридцати-тридцати пяти метрах от надвигающейся земли, — защитить горло, защитить жизнь парашютиста.

Проходит полчаса. Час. Час двадцать три. Четверо парней по-прежнему смотрят во все глаза: «Где же он, пожар?»

Перед нашим стартом с пыльной взлетно-посадочной полосы Киренского порта Анатолий Середкин вспомнил о детях, жене. Нет, он никому ни словом не обмолвился про беспокойство, которое так или иначе приходит всякий раз накануне прыжков. Но то, что вспомнил, — сказало точно: беспокойство он чувствует, как Черкалов, как Середкин. В толчее возле дощатой будочки, доверху набитой парашютами и разными разностями, разыскал Карбаинова, опытного в пожарных делах, серьезного, уже подсчитывающего остающиеся до пенсии дни человека. «Остаешься, старик?»—«Остаюсь».—«Все деньги, которые мне причитаются, переведи моей семье. По адресу».

А Виктор Ефименко, необычно возбужденный и суетливый, шутил: «Вернемся — и, во-первых, купаться пойду. Люблю. Во-вторых... Есть у меня на примете знакомая, такая, доложу вам, хохотунья...»

«Антон» накренивается, скользит на крыле в сторону от Лены. И ахнули те, четверо: до пожара рукой подать. По всему горизонту взметнувшийся из самого сердца тайги дым.



О чем он думает, Ефименко? Какие мысли вихрем проносятся в его голове за несколько секунд до прыжка в лес, в огонь?

Застилает солнце.

Клубится облаками.

Врывается в кабину самолета — царапает в горле, как колючая проволока.

Кашляем тяжело, до хрипоты. И в этот миг — сигнал сирены. Короткий вскрик, требующий приготовиться.

Одевается Ефименко. Еще и еще ощупывает замки на парашютных ремнях. И с особой тщательностью — шнур карабина. (Был случай, когда один из пожарников прыгнул, забыв зацепиться карабином за самолет. Разумеется, парашют его не раскрылся).

Одеваются Черкалов, Середкин, Гурский.

Снова сигнал сирены: «Пошел!»

Точно с ладони, легкими горошинами скатились парашютисты с крыла самолета.

Земля! Какая радость звучит в этом слове, когда о ней кричит марсовый на корабле. И какой тревогой отзывается оно в парашютистах.



Парашютист-пожарный падает в зеленый полумрак ломающихся сучьев...

Земля приближается ровно и грозно. Пугает ощетинившимися соснами. Поднятыми в гневе и отчаянии кулаками обгоревших сучьев. Приближается немо — на выжженных плешинах ни птиц, ни комаров.

Парашютисты проваливаются в воздухе, чувствуют себя втиснутыми в тесный мешок тишины.

Хлопок строп, треск сучьев, и на острове уцелевшего от огня леса гаснут белые взрывы парашютов. Николай Гурский, старший группы, считает. Первый — это Ефименко. Второй — Черкалов. Третий... А кто четвертый? Чернеет точкой у опаленной осины. Всматривается.

Медведь!!

Он пока не видит парашютистов, в этом не трудно убедиться. Но когда приблизится, но когда встанет на задние лапы, не скажешь ему, мол, повремени, сбегаю к багажу за ружьем. А пистолетов, черт подери, снабженцы не дают. И он молил беззвучно медведя обойти стороной...

Пожар шел тайгой, подминая под себя валежник, кусты. Слизывал с веток листья. Пережевывал сухостой. Невозможно было приблизиться к нему — обжигал. И только ночью, по холодку подкрались к пожару парни. Ночью, до самого рассвета сбивали огонь. Лопатами. Ветками.

Днем ринулись в обход огню. Ухали взрывы динамита, вспарывая землю. На пути огненного хищника появились первые канавы.

Очень хотелось к этим парням. В те хлопотные секунды, отсчитанные парашютистам для приготовления к прыжкам, мы же не успели попрощаться. Но я не сетовал. Состоялся второй полет в тайгу, в группу Гурского. Но прежде прыгал с ангара. Конечно, без какого-либо удовольствия. Карабкался по отвесной лестнице, а потом — солдатиком, вниз ногами. На ленте, раскручивающейся из обоймы, скользил вниз. И Альберт Дауркин успевал выложить почти все, что ему было известно об этом новом, еще нигде не применявшемся способе приземления. «Не бойсь, лента сдюжит — капроновая. Подвешивай семьсот кило, и хоть бы что. За прыжок на ней — по десять рублей дают, потому как она испытывается...»

А сколько было длинных, прямо-таки изматывающих разговоров с начальником штаба Киренского авиаподразделения.

— Корреспондент?

— Корреспондент.

— Хочешь прыгать по ленте? А — разрешение? Здоровье как?

Признаюсь, я терялся в догадках, почему у аэрофлотцев такая предосторожность, пока не рассказали о происшествии. Случилось оно за день до моего приезда.

Один из пожарных шагнул из вертолета, и на третьей или четвертой секунде в зажим

спускового устройства запал его чуб. И он повис. И все сильно встревожились: до земли далеко и наверх, в вертолет, человека поднять нельзя. В два счета могло снять скальп.

— Вы думаете, я против? Ни-ни. За вашу жизнь беспокоюсь, — вежливо гудел начальник штаба.

При всем при том, я не мог отказаться от спуска на капроновой ленте. Вошел в азарт, что ли?

Помог мне Иркутск, территориальное управление ГВФ. Оно оказалось столь же благожелательным ко мне, как и весной, когда я просил благословить мой полет на зондировщике погоды.

...Казалось, никогда так раскатисто и отчетливо близко не гудел мотор вертолета, как в то утро, когда мы зависли неподалеку от палаток десантников. И ураганный ветер... Сделанный лениво крутящимся винтом, он обволакивал меня с ног до головы: хватал за ленту, закрепленную за какой-то трос в машине. И так громко шелестел по откинутой двери.

Ступаю на откос, натягиваю ленту — и уже раскачиваюсь под ядовито-желтым пузом вертолета. Скольжу вниз. Быстрей и быстрей. Коснулся носками земли.

Пожар махнул за гору. Горело более ста гектаров тайги. И Гурский со своей группой, уже порядком уставшей, перенервничавшей, измотанной бессонными ночами, принялся вырубать для вертолетов площадку в лесу. Сто метров на триста. Вручную. Бензопил не было.

Рубке леса на площадке парни отдавали последние силы, всю злость слабеющих мышц. Махали топорами, как на сече.

Представьте себе, сто метров на триста. Чуть не аэродром. И только как по его контурам упадут последние сосны, сюда сможет опуститься вертолет.

Николай смахивает пот, щурится и как наяву видит недалекое будущее. В лес, прямо к очагу, опускаются совсем не тренированные люди на капроновых лентах. Мчат по ним, как по солнечным лучикам. И с немалой высоты — с сорока метров. И площадки им вот эти, которые парашютисты рубят по лесам, совсем ни к чему.

В Киренске отдых у парней был коротким. Снова укладывали парашюты. И сквозь отдаленный рев вздрагивающих в нетерпении перед полетами крылатых машин слышно было, как по-государственному рассуждал и сердился Николай:

— Царица Елизавета дала указ неспроста. Соболей защищала. Строга была до жути — это верно. Но к разным поджигателям без строгости и нельзя. Вот о чем еще доложу. Нынче лес нужен не только для соболей. Для всех людей. Смотрел я на пожар, и было мне — слышите! — не по себе. На каждом гектаре, если взять в расчет химию, горит не просто лес, древесина, но и тома Толстого, и Пушкина, и Хемингуэя, и Есенина. С каждого гектара можно выработать тридцать тонн бумаги!

...Хлопают на размахнувшемся брезенте стропы парашютов, тупо звякают увязываемые топоры.

Андрей Галкин

Антарктические эпизоды

1

Хорошая песня «Домой-домой», правда?

...Домой-домой, на крыльях чайка вьется,
Опять волна вскипает за кормой...
Скажи мне, друг, чье сердце не забьется,
Когда звучат слова «домой-домой»...

Прошло уже порядочно времени, а у меня все еще «сердце бьется», когда слышу эту песню по радио. Но бьется оно как-то по-особому. Впрочем, попробую изложить все по порядку...

...Пять с лишним лет назад вступил я впервые на землю Антарктиды. Земли, собственно, не было. Снег, лед, опять снег. И камни. Две небольшие скалы, между которыми протянулась центральная улица поселка — улица Ленина, десяток—полтора домиков с плоскими крышами на разном расстоянии друг от друга. Двадцатиметровый ледяной барьер — спуск к морю. На одной из скал надпись «Пассажирский причал т/х «Кооперация» — 1957 год». В феврале открытая вода на несколько дней подходит вплотную к побережью, и корабли перед отходом на Родину стоят под самым барьером. Пока же внизу сплошная полоса льда, изрезанного трещинами, по ней медленно ползут ярко-красные жуки — трактора, волоча за собой тяжело груженные сани. Идет разгрузка. «Оби» с «Кооперацией» не видно, они стоят где-то километрах в десяти по прямой, скрытые айсбергами. Между ними и поселком курсирует «вертобус» — тоже ярко-красный МИ-4. Красный цвет здесь вообще в большом ходу; яркие пятна далеко видны на однообразном бело-голубом фоне и служат хорошими ориентирами.

После одного из рейсов «вертобуса» я очутился на плотно утоптанной площадке в центре поселка. Все дома на первый взгляд похожи один на другой. Куда идти — неизвестно. Потоптался на одном месте, поозирался. Наконец увидел три мачты и натянутый между ними вертикальный ромб — безошибочный признак, по которому можно узнать ионосферную станцию.

В комнате навстречу мне из-за стола с пишущей машинкой поднялся худощавый человек небольшого роста лет сорока.

— Надо полагать, официального представления не предвидится. Вы, очевидно, мой сменщик. Иванов, Евгений Лукич. Будем знакомы.

На особые церемонии времени не было. Не только день, пожалуй, каждый час совместного общения был на счету. Я уселся в любезно предложенное мне кресло («специально для гостей») и начал просматривать аппаратный журнал. Евгений Лукич снова застучал на машинке, но время от времени я ловил на себе его изучающий взгляд.

Из соседней комнаты вышел круглолицый тоже небольшого роста человек лет тридцати пяти. Иванов оторвался от отчета.

— Знакомься, Борис. Это наш сменщик, сибиряк Андрей... (он чуть-чуть помедлил)... Иванович Галкин.

— Данилов. Очень приятно. Вы что же, один?

— Да нет, со мной еще инженер.

Теперь меня изучали уже двое и, надо сказать, довольно активно.

— А аппаратуру вы знаете?

— Знаем. Особенно Юрий, инженер. Он почти год... — Данилов чуть слышно иронически хмыкнул.

— Простите, а сколько вам лет?

— Двадцать четыре... скоро будет. А что? — решил я перехватить инициативу.

— Да нет, ничего... Что же, Евгений Лукич, выходит в Москве не получали нашей телеграммы?

У меня внутри даже все похолодело. Я хорошо помнил эту телеграмму. После перечисления необходимых для завоза запасных деталей стояло: «Бесперебойная работа аппаратуры в течение следующего года может быть обеспечена только при условии высококвалифицированного обслуживающего персонала».

Иванов, не отвечая, поднялся из-за стола.

— Пройдемте, Андрей Иванович, в аппаратную. Познакомлю вас с тем, что мы тут за год... натворили.

В час ночи я добрался до постели. Сон не шел. Это был первый в моей жизни и пока единственный случай бессонницы. Я ворочался с боку на бок на чистых простынях, которые откуда-то извлек запасливый Борис. Смотрел на полоски солнечного света, проходящие сквозь шторку на окошке под потолком, слушал, как срабатывают контакты программного устройства станции. И думал. Как-то сложится зимовка? Снова особенно остро я почувствовал ту ответственность, которую взял на себя, приехав сюда работать.

Щелкал контактор, тикали часы. А я все думал, думал...

Разбудило меня: «Домой-домой, на крыльях чайка вьется...» Радисты, доживавшие в поселке в ожидании переселения на корабль последние дни, крутили эту пластинку каждое утро с завидной регулярностью. Я вскочил.

Заботы сразу захлестнули меня. Как работает аппаратура? (Мне почему-то показалось, что ночью были сбои в автоматике.) Достаточен ли запас химикалиев и кинопленки? Есть ли запасные лампы к проектору?..

Мы крепко подружились за эти дни. Вместе обсуждали отчет, спорили чуть ли не до хрипоты по поводу деталей обработки материалов наблюдений. «Старики» щедро делились с нами всеми тонкостями в работе аппаратуры. Перед сном за традиционной партией «козла» мы рассказывали новости с Большой Земли трехмесячной давности. Давно растаял официальный холодок первой встречи.

2

В Антарктиде всегда ветер. Он свистит в проводах антенных систем, ударяет в стены домов, неодолимой преградой встает на пути пешеходов. Моя кровать стоит с наветренной стороны. Иногда ночами я просыпаюсь от сильного однообразного шелеста. Дождь? Нет, это снег, увлекаемый ветром, равномерно и непрерывно ударяет в стену нашего павильона. По оконному стеклу стекают струйки воды. Ливень? Нет, тоже капризы ветра, так в Антарктиде падает снег.

Ветер, ветер... Прекрасный аккомпанемент для грустных мыслей. Здесь они редкие гости — за работой долго не погрустишь. Но сегодня... Сегодня весь поселок в трауре. Только что по радиосети передали объявление: «Через час на метеоплощадке состоится траурный митинг, посвященный памяти Чугунова. Просьба фотоаппаратов не брать».

На больших тракторных санях обтянутый красный гроб. Трагический и нелепый случай. Участник санно-тракторного похода, аэролог Николай Чугунов отравился газом во время вахты на камбузе.

Было сделано все. Через два часа после получения известия о несчастье к поезду уже вылетел самолет с врачом на борту. И все равно поздно. Сыграли свою роль и сильное переутомление, и холод, и высота три с половиной километра над уровнем моря. Еще один из наших ребят остается навечно в этой ледяной пустыне.

Ветер вырывает шапку из рук начальника экспедиции Евгения Ивановича Толстикова, рвет на куски прощальные слова выступающих. Жалобно скрипят чашечки анемометра, глухо стучит мотор трактора.

Сани тронулись в сторону морены. Мы идем следом. Здесь гроб простоит до весны. Когда припай окрепнет, его перенесут на остров, туда, где уже укреплена одна мемориальная доска и на невысоких столбиках растянута якорная цепь.

Выходим на морену. Каждый из нас поднимает с земли камень. Гроб нужно как следует укрепить, завалить камнями, чтобы ветром его не развернуло, не стронуло с места, не унесло в море. С ветром в Антарктиде шутки плохи, разбушевавшись, он раскидывает ящики с грузом, бочки из-под горючего, разворачивает по-своему закрепленные намертво самолеты. Я ищу камень покрупнее и вспоминаю читанную давным-давно историю о том, как хоронили погибших в бою персидские воины. По камню каждый — и над могилой вырастал курган. Нас мало. Мы бродим по морене в поисках больших осколков. Камень за камнем, камень за камнем. Винтовочный залп тоже относит ветром.

В Антарктиде всегда ветер.

3

Магнитная буря. Полное непрохождение радиоволн. Третьи сутки без связи с внешним миром. По утрам вместо обычного «Говорит Мирный. Прослушайте список получивших

радиограммы» из репродуктора раздается: «...мой разбойник, люблю, как люблю я тебя...», наверное, уже в двадцатый раз радисты крутят надоевшую всем пленку. Обычно музыка у нас звучит в праздники. Хорош праздник — третьи сутки никаких известий, и от жизнерадостного смеха Периколы становится как-то не по себе.

Совсем не хочется возвращаться в павильон, в знакомую до мелочей обстановку, видеть своего, пусть даже очень хорошего соседа. Выйдя после завтрака из кают-компании, без всякой видимой цели бродишь по снежным застругам, вытянутым вдоль домов. Наверное, у остальных тоже подобное состояние: встречаясь, мы отводим глаза в сторону и молча проходим мимо.

Вечером лезешь в тумбочку, перечитываешь старые радиограммы. Особенно последнюю. Десять-пятнадцать слов на голубом бланке с пингвином, их уже знаешь наизусть — и все-таки кажется, что осталось там еще что-то непрочитанное, не замеченное ранее.

А из радиоприемника доносится только равномерный шум и чуть слышное потрескивание атмосферных разрядов. Полное непрохождение, «глухор», как говорят радисты.

Вести из дому... Большое дело. Вот почему с таким нетерпением мы ждали прихода «Оби». Пусть до отправления на Родину оставалось больше месяца. Что с того, что не прибыла пока еще вся наша смена — «Михаил Калинин» шел где-то сзади. «Обь» привезла нам письма. После огромного перерыва снова можно было увидеть своими глазами настоящий родной почерк, а не слова, напечатанные на телеграфной ленте.

«Обь» пришла к нам 31 декабря, и это был новогодний подарок, лучше которого трудно было что-нибудь придумать.

В Мирном письма разобрали моментально. На одном из столов приемного радиоцентра осталась только небольшая пачка. Тех, кому они были адресованы — зимовщиков выносных станций, — не было в это время в поселке. До их возвращения в Мирный оставалось еще больше месяца. Было решено доставить эти письма адресатам немедленно. Почту собирались сбрасывать с самолета, проходя на бреющем полете над станцией. Летчики заранее предвкушали удовольствие от полетов с таким приятным грузом, хотя погода все еще не баловала нас. В это время в Мирный на имя начальника экспедиции пришла радиограмма. Я не помню точного текста, но ее смысл мне запомнился хорошо. Об этой радиограмме говорил тогда весь поселок. «Мирный. Толстикову. Если хотя бы одному из нас с Большой Земли не пришло ничего, почту не высылайте. Получим, когда вернемся в Мирный. Коллектив станции Комсомольская».

Я вспомнил об этой радиограмме, когда, уже вернувшись домой, на Большую Землю, читал «Ледовую книгу» — антарктический путевой дневник Юхана Смуула. Эстонский писатель, корреспондент центральных газет, в течение полутора месяцев он был с нами на берегу Правды. Несколько дней он провел на Комсомольской. Вот что Смуул писал в своем дневнике, вспоминая о встрече с австралийским писателем Юджином Ламберсом, которая произошла на обратном пути на Родину, когда «Кооперация» стояла в одном из австралийских портов: «Идет разговор об Антарктиде, о тамошних условиях жизни, о людях, зимующих на шестом континенте. Я делюсь своими впечатлениями о Комсомольской. Ламберс ненадолго задумывается, а потом советует мне:

— Мистер Смуул, из этого выйдет превосходная книга. Вы поэт? А теперь напишите книгу о том, как четверо людей остаются одни среди вечных льдов, как им приходится зимовать, как постепенно в их душе зарождается тяжелая злоба и взаимная ненависть, как они превращают свою жизнь в ад...» Смуул добавляет дальше: «Но я как-то не могу себе представить, чтобы на станции Комсомольская даже при самых жутких условиях зимовки или при неудаче могло произойти что-нибудь подобное».

Смуул оказался прав. Телеграмма, пришедшая в Мирный в первых числах нового 1959 года, лучшее тому подтверждение. Возможно, ребята с Комсомольской надоели друг другу, возможно, были между ними и споры, и ссоры. Прожить вчетвером в одной комнате больше года, не имея никакой возможности сменить обстановку, — что-нибудь да значит. Но было что-то выше мелких стычек и споров. Было глубокое уважение к соседу, к человеку, разделившему с тобой все невзгоды трудной зимовки. И причинить ему боль, читая письмо из дому в то время, когда он не получил ничего... Так, наверное, и родилась эта радиограмма.

Сейчас я спрашиваю себя, подписал бы я такую телеграмму, доведись мне попасть в подобные условия? Думаю, что подписал бы. Но сразу же встает другой вопрос: а догадался ли бы, что такую телеграмму надо послать. И вот тут я молчу, не желая кривить душой. Теперь, может, и догадался бы. А тогда...

Вячеслав Тычинин

В СИБИРСКОМ КОЛХОЗЕ

Очерк

1 Молодо, да не зелено

— И вот о нем еще непременно напишите, — настойчиво советует мне председатель колхоза «Сибиряк» Дмитрий Павлович Шибиков, показывая глазами на ничем как будто не примечательного парня в вельветовой толстовке и таких же штанах, заправленных в кирзовые сапоги. — Слышите? Непременно!

В председательском кабинете вот уже третий час тянется заседание правления колхоза. Только что объявили перерыв и почти все обрадованно устремились на воздух, насладиться папиросным дымком. Лишь три-четыре правленца продолжают каменно сидеть на стульях, под сенью двухметровых стеблей кукурузы — экспоната с местных полей. Метелки кукурузы упираются в потолок, ей тесно в кабинете, и мне кажется, она страдает, вспоминая о былом приволье, когда ветер нежно перебирал ее листья, а дождик щедро кропил теплой влагой.

— Вы не смотрите, что он так молод, — продолжает свое Шибиков, дружественно откручивая пуговицу на моем многострадальном пальто, забрызганном дорожной глиной всех оттенков и колеров, от ярко-рыжего до синего. — Редкостный организатор.

Мне хочется разузнать побольше о самом Шибикове. Я уже слышал, что он — «последний из могикан» — единственный в Аларском районе председатель колхоза, оставшийся из числа тех горожан, которые были посланы в свое время на руководящие посты в колхозы для укрепления. Шибикову уже давно не выплачивается гарантийный оклад, он получает только трудодни, но не откочевывает обратно в город. Однако, если Дмитрий Павлович рекомендует вниманию корреспондента этого молодого бригадира, пренебречь такой рекомендацией нельзя.

— А он здешний житель?

— Нет, из деревни Тютрино, третья бригада. Но это рядом, рукой подать. Кстати же у него свой мотоцикл с коляской. Вот кончится правление, садитесь к нему в люльку и поезжайте.

Выезжаем поздним вечером. Лунный диск, желтый, изрытый темными пятнами, висит над березовым колком. В холодном воздухе плавают веретенца тумана. На полях смутно и печально желтеют копешки соломы. Двадцативосьмилетний «Урал» так и просит ходу, но ухабистая дорога не позволяет набрать скорость.

Звучный выхлоп газов, напористый встречный ветер мешают разговору. Все же я узнаю, что Владимир Пономарев сменил до этого силача уже несколько мотоциклов. При сибирских расстояниях без механического транспорта не обойтись.

— Теперь мотоцикл чуть не в каждом дворе есть. Раньше велосипедов у нас столь в деревне не было, — ловко управляя ручками газа и сцепления, кричит мне Владимир. — Да что мотоциклы! У нас уже шесть «москвичей» в бригаде!

В лунном свете его лицо кажется еще моложавей. Толстые губы задорно, совсем по-ребячьи вздернуты кверху. Из-под кожаного шлема выбиваются завитки курчавых волос. Но возле рта уже залегли твердые волевые складки, широкие брови привычно сдвинуты.

Выбравшись на тракт, «Урал» делает молниеносный бросок вперед. Воздух становится осязаемо плотным.

В Тютрино останавливаемся возле дома с пятью веселыми резными наличниками вокруг окон и колодезным журавлем напротив. На карнизе тихо и утробно сыто воркуют голуби.

Хозяйка дома, Валентина, стремительная в движениях тоненькая блондинка, кладет на кровать грудную Олечку, с немым упреком смотрит на мужа; Владимир отвечает едва заметным нетерпеливым движением бровей. Безмолвный диалог понятен. «Что ж ты, Володя? Не предупредил, привез ночью человека...» «Не успел. Ладно, покормишь, чем найдется».

Наспех приготовленный деревенский ужин оказывается на поверку сытнее иного городского обеда: картофельная похлебка с мясом, вареные яйца, творог, чай с молоком... И хлеб — великолепный, чисто пшеничный, испеченный на капустном листе в русской печи, с аппетитной румяной корочкой.

За ужином речь заходит о сверстниках Валентины, которые оставили родной колхоз, перебрались в город.

— Самцова Галя уехала в Усолье-Сибирское, замуж вышла там; Лиля Пономарева — в Иркутск, — перечисляет Валентина и загибает пальцы. — Лариса Подвинская теперь мотористской на шахте работает, в Черемхово...

— А вы с мужем не собираетесь в город переезжать? — прямо спрашиваю я молодых супругов.

Вопрос щекотливый. Я уже знаю, что в «Сибиряке» вся комсомольская организация насчитывает меньше полусотни человек. Мало молодежи в этом колхозе! Парни уходят в армию и не возвращаются, оседают на новостройках, благо вся Сибирь — одна огромная новостройка; девушки стремятся выйти замуж за городского человека.

— Нет, мы — коренные деревенские жители, — отрицательно трясет головой Владимир. И поясняет свой ответ: — Как в городе жить? За каждой малостью иди в магазин, стой у прилавка. А у нас с Валюшкой все свое: хлеб, мясо, яйца, масло, молоко. Только соль да сахар покупные.

— А воздух? — горячо подхватывает Валентина. — Бывала я в Черемхово... Пыль, газы от автомашин, дым. А у нас — пьешь, не напьешься. Отчего наши ребятишки здоровенькие? Воздух, солнце, питание. И работа деревенская лучше. Тяжело в уборку бывает, а все — не сравнить с шахтой.

Супруги еще с полминуты смотрят на меня в нерешимости. Я вижу по их глазам, что еще многое они могли бы рассказать заезжему человеку.

О том, как чудесны бывают тихие деревенские закаты над Тютрино, как осенними утрами широкий лог, по которому разбежались домики, заливается белым туманом — ни дать ни взять — море вплотную подступило к околице. Сходство до того разительное, что даже чернеющая вдали подвода кажется лодкой, плывущей по морской ряби. О том, как горит огнями животноводческая ферма по ночам, словно двухпалубный пароход, выходящий в дальний рейс. Как рубят темноту дружными взмахами световых лезвий сразу пять самоходных комбайнов, строем наступающих на пшеничный клин...

За поздним часом откладываем беседу на завтра.

Но утром разговор с бригадиром поминутно прерывается. Подкатил шофер, сигналит под окнами — куда сгружать уголь? Прискакал на коне животновод: на железнодорожную ветку в Кутулике поданы вагоны, надо отправлять птицу в Иркутск. Заглянул на минутку, да и застрял бригадный механик... У всех срочное, не терпящее отлагательства дело к бригадиру, он всем нужен.

И Владимир Пономарев только успевает поворачиваться. Где уж тут обстоятельно побеседовать с бригадиром.

А мне нужна именно такая беседа. От председателя колхоза «Сибиряк» я уже знаю, что итоги прошлого сельскохозяйственного года в этой бригаде отличные. Вот главные из них.

Здесь скосили и обмолотили полностью весь урожай зерновых с площади, превышающей полторы тысячи гектаров. Ни один валок не ушел под снег.

Кроме плановых одиннадцати тысяч центнеров, бригада сдала государству еще восемьсот центнеров хлеба, полностью засыпала в новое хранилище семена пшеницы и овса.

В двух ямах засилосовали всю кукурузу. Вышло без малого две с половиной тысячи тонн сочного питательного корма для скота.

В дополнение к силосу тут заготовили еще столько же грубых кормов: сена, люцерны, овсяной соломы. Возле самых коровников высятся длинные скирды — на случай затяжной непогоды. Осенью подняли полторы тысячи гектаров зяби.

Тотчас после уборки всю технику тут по-хозяйски подготовили к хранению и ремонту.

При помощи шефов с шахты «Забитуй» построили в деревне новый зерносклад на ка-

менном фундаменте, емкостью в четыре тысячи центнеров.

Словом, что ни возьми — хороши итоги. Но как комсомолец Пономарев добился их?

Вот на этот вопрос я и ищу ответ.

Шибиков живо нарисовал мне картину назначения Пономарева бригадиром.

Было это так.

Председательский газик, разбрасывая колесами жирные ломти грязи, пробежал по главной улице Тютрино, остановился возле «раскомандировочной»—закоптелой избы, где каждое утро колхозники получают задание на день.

Шибиков вылез из машины мрачнее тучи. Как грозное предостережение, ночью выпал первый легкий снежок, смочил пшеничные колосья, срезанные валки. А в бригаде стоит на корню еще четверть всех зерновых! Фермы утопают в навозе. Грубых кормов — хоть шаром покати. А бригадир Вязьмин совсем распустил вожжи. Хуже того — появляется на людях в нетрезвом виде. Где уж тут говорить об авторитете... Менять надо бригадира, срочно менять!

В «раскомандировочной» сидели одни старики. «Вот с ними и посоветуюсь», — решил Шибиков.

— Правление хочет назначить в Тютрино нового бригадира, — поздоровавшись, заговорил Дмитрий Павлович. — Думаем поставить вместо Вязьмина Пономарева. Как вы, старики?

— Это какого ж Пономарева? У нас что ни двор, то Пономарев или Тютрин, — откликнулся сивый дед.

— Владимира Александровича, учетчика вашей бригады.

— «Александровича...» — язвительно усмехнулся дед. — Скажи — Володьку Пономарева. Энтот наруководит.

— Да-а... Молодо — зелено. Не нами сказано, — вздохнул кто-то в углу.

Старики зашумели.

— Давно ль голопузым бегал?

— Поди, еще и бороду не бреет.

Шибиков терпеливо слушал. Потом озлился.

— Далась вам его молодость! Заладили— «двадцать три года». Молод, конечно, но не парнишка же! Комсомолец, женатый человек. Вы о другом скажите — как у него голова? Прилежание к колхозной работе? Энергия?

Старики озадаченно умолкли, пожевали губами.

— Да так-то он ничего вроде...

— Старательный парень. Этого у него не отымешь.

— И наш рожак, тютринский. В город не косит глазом.

Так Владимир Пономарев стал бригадиром.

Валя встретила его дома чуть не со слезами:

— Влип, как муха в патоку! Не мог отговориться? Ведь все равно снимут, как всех снимали.

— Ну и пусть. Лишь бы хлеб убрать, а там и сам уйду.

Конечно, он досконально знает хозяйство бригады. Правда и то, что с любой машиной управится, будь то трактор, комбайн или автомобиль. Это-то так. Но распоряжаться, отвечать за всю деревню... Давно ли Тютрино было колхозом? Это теперь назвали деревню бригадой. А то все было «как у больших»: председатель, правление, бригады...

К утру программа действий созрела. Для начала — наладить горячее питание комбайнеров, заправку тракторов в борозде, и чтобы никто не отсиживался дома. В дальнейшем — быть самому во всем примером, советоваться с опытными колхозниками.

К трактору «Беларусь» прицепили тележку, поставили на нее бочки с горючим, смазочным, ручной насос. Поручили все это хозяйство Мите Косолапову. И не прогадали. Редкостным заправщиком оказался Митя! Когда-то парню повредило трактором ноги, пришлось перейти на инвалидность. Но усердия в нем не убавилось. И скоро о Мите с восхищением заговорили все полеводы.

Бывало, комбайнерам приходилось гонять свои машины на заправку за пять—семь километров. Заливали солярку ведрами: пять ведер — в бак, одно — на землю. А теперь притарахтит на своей «Беларуси» Митя, сам накачает все баки горючим под пробку. Иной раз и комбайнера в поле нет, а приедет — его машина заправлена. И еще одно скоро узнали в бригаде: заказал к трем часам горючее, хоть не гляди на часы — ровно в три Митя подъедет к твоему комбайну.

Голодное брюхо к работе глухо: комбайнеры рано уезжали с делянок домой. Пономарев подобрал повариху, дал ей лошадку, бидон, посуду, и комбайнеры начали подкрепляться прямо на стерне. Расставит повариха миски, усядутся все в кружок, подмостив под себя телогрейки, и ну таскать ложками горячий борщ. А потом еще на три-четыре часа— за штурвал самоходки.

Сдержало свое слово и правление колхоза, добавило бригаде комбайнов. Как выстроятся уступом сразу все — поля как не бывало!

Хлеб убрали дотла, ничего не оставили

на поживу зиме. Косьбу вели ранними утрами и ночами, пока подмороженный стебель крепок, зерно вымолачивается без остатка.

Кончилась уборка, но хлопот не убавилось.

Пришла вдова Епишина, пригорюнилась у притолоки, по-бабьи подперев подбородок рукой.

— Как жить, Володя? Кланялась-кланялась Вязьмину, ничего, прах его возьми, не сделал.

— А что тебе надо, Аграфена Максимовна?

— Домик перевезти с заимки Болдаково в деревню. Сколь можно бедовать на отшибе? Одной мне не сручно. Помочь нужна.

Перевезли вдовью избу в деревню, поставили в общий порядок.

Заодно выручили и семью Жукаускаса. Старательные оба сверх меры, что муж, что жена. Не нахвалятся ими на ферме. Но жить негде. Пономарев нашел выход: красный уголок открыли на ферме, а домик, что предназначался для него, перетряхнули, подвели снизу пару новых венцов, накрыли крышу шифером и отдали Жукаускасу. Две пары рук остались в бригаде. А такие работящие руки, ой, как нужны в Тютрино!

Вскоре приметили женщины и другое. Придет кто из них к бригадиру за лошадью— в лес ли съездить за дровишками, на мельницу ль свезти зерно смолоть, соломы ли подбросить с поля коровенке, — никому отказа нет. Особенно вдовам и солдаткам, у кого мужья в армии. И без всяких магарычей. Только сама честно работай в колхозе, не увиливай.

Другой вес приобрело слово бригадира. От Вязьмина отмахивались, как от осенней мухи. Пономарева нельзя не послушаться.

К тому ж Володя знал всю подноготную односельчан.

— Тетка Катерина, ты что на ферму не ходишь?

— А ребенка на кого оставить? Твоей, что ли, Валентине подбросить? Была б бабка...

— Так у тебя ж две золовки через дом живут! Вот и чередуйтесь втроем, хоть понедельно. Да и свекровь не за горами.

Вот и поди поспорь с таким! Самую горластую бабенку урезонит.

К тому же все знали — бригадирова женка до рождения Олюшки дня не пряталась за спину мужа, как и все, работала на ферме дояркой.

Дополнительные штрихи к облику молодого бригадира я получил, поговорив с механиком бригады Александром Озеровым.

— Случись какой воскресник, Пономарев всегда впереди, не отсиживается дома.

Морщинистое лицо механика освещается медленной улыбкой.

— Когда-то учительки наши грамоте его учили: Клавдия Степановна да Евдокия Максимовна. Так он и их улестил на покос ехать! Рук-то не хватает. А сенокосы наши далеко, аж на Бахтайском стане, за сорок километров. Так одними воскресниками и взяли сено. Уж и смеялись учительки: «Выучили эксплуататора на свою голову!»

— А возьми кормушки на ферме, — вступает в разговор механик по электродойке Иннокентий Тютрин. — И тут он. До скольких разов я Вязьмину толковал: текут кормушки, скотина в сырости. Бесполезно! А пришел Пономарев, добыл цементу, заделали кормушки, стали коровы в сухом спать. Или взять ямину эту, что перед коровником: пока животина доберется до стойла — все вымя в навозе. А Володя дал людей, подводы — яму засыпали шлаком.

Мелочи? Может быть. Но из них складывается хозяйственная жизнь всей бригады.

Года три копился навоз на фермах, мешал животноводам, лежал мертвым капиталом. При Пономареве очистили все дворы, вывезли под сахарную свеклу до восьмисот тонн навоза.

Разный народ в бригаде. И к каждому колхознику нужен свой подход.

Пономарев понимает это.

Когда бригадир нашел зерно в соломе за комбайном Филиппова, он не стал упрекать комбайнера, а вызвал механика и вместе с ним помог Филиппову отрегулировать деки. Что ругать человека, если он старается, но опыта еще маловато! Зато когда Пономареву случилось как-то ехать по пашне и копыта коня застучали по твердой земле, трактористу Сапрунову пришлось услышать много неприятных слов. И не помогли никакие оправдания, вроде:

— Это кусок твердый попался, а на пыхуне плуг по раму уйдет.

Пришлось злостному бракоделу заново перепахать испорченную делянку.

Не одни текущие дела заботят бригадира. Думает он и о будущем.

Издавна трактора и автомобили в Тютрино стоят под открытым небом. Непорядок! И Пономарев уже договорился с Шибиковым: бригада заготовит шлаку, а с весны начнется формовка стен автотракторных мастерских и гаража. Машины будут в тепле.

Как ни трудно в бригаде с рабочими руками, все же Пономарев выделил трех чело-

век на строительство новой зерносушилки. Никуда не дал отрывать их, пока не срубили сушилку. А вслед затем построили и водокачку.

Нет, видно, не всегда верна старая пословица. Бывает и так: молодо, да не зелено.

2. За хлеб насущный

Ночью Василий Никитович проснулся, затаил дыхание. «Перестал? Нет, по-прежнему льет...»

На стеклах слезились и сползали крупные капли. Равномерный дробный стук дождя по крыше не ослабевал.

В одном белье Колосок встал с постели, отдернул занавеску. На миг в зеркале отразилась его кряжистая фигура в белом.

В желтоватом свете уличного фонаря огромная лужа вздувалась сотнями пузырей. Напитанная до предела земля уже не принимала в себя воду, и она стояла на деревенской улице, заполняла глубокие колеи, затекала во дворы. Вот уже неделя, как над Малым Кутуликом висели нескончаемые серые тучи, беременные дождем. Деревня, колхозные поля утопали в густой дождевой сетке.

Колосок уронил сильные руки между колен, привалился крутым плечом к оконному косяку, не сводя горестного взгляда с залитой дождем улицы. «Да будет ли конец этой напасти?»

Память услужливо разворачивала свиток воспоминаний.

Как хорошо начинался год! Как много сделала его пятая бригада, чтоб собрать хороший урожай!

Припомнилось, как в январе радовались колхозники Малого Кутулика. Снег укрыл землю роскошной, местами полутораметровой пышной шубой. Вдобавок по полям прошли со снегопахами трактора, подняли везде высокие валы.

В конце апреля, как обычно, вышли изпод снега озимые. Хлеба отлично перенесли зиму под надежным укрытием, вскоре же буйно зазеленели на черной сытой земле.

Задолго до этого дня в бригадной кузнице не умолкал веселый перестук молотков. Андрей Орлов, в прожженной искрами телогрейке, вместе со своим неизменным напарником молотобойцем Василием Сидоровым ладил к весне плуги, бороны, сеялки, заново обтягивал шинами колеса бричек и ходков.

Привели в порядок инвентарь, не задерживались и с ремонтом основной техники, благо Аларская РТС под боком, чуть не за околицей Малого Кутулика. Не то что капитальные, даже средние и текущие ремонты бригада никогда не делала сама, всегда отправляла трактора в мастерские. А тут еще две новехоньких «Беларуси» подбросило правление колхоза. Сила!

Колосок нащупал на комоде пачку папирос, с наслаждением втянул в себя ароматный дымок.

И с семенами в лучшем виде встретили весну. Наталья Донченко, Екатерина Шаманова и Мария Широколобова сначала подработали семена, потом протравили их, чтоб обезопасить от головни. С марлевыми повязками на лице (с ядохимикатами не шутят!) женщины целыми днями возились около машины. Зато и семена же подготовили — зернышко к зернышку!

А горючее? Колхозный бензовоз до тех пор сновал между Кутуликом и деревней, пока не заполнил до краев все свободные емкости.

Василий Никитович набросил на плечи жесткий, негнущийся плащ, сунул ноги в сапоги и вышел в сенцы. Здесь дождь барабанил по тонкой тесовой крыше так громко, что заглушал все остальные звуки ночи.

Сырость охватила тело, заставила зябко передернуть плечами. Василий Никитович вернулся в дремотное тепло избы. Обняв ручонками мать, младшенький сладко посапывал, не ведая огорчений отца.

Сбросив плащ, Василий Никитович снова прилег на постель.

...Грохот опрокинутого ведра заставляет Василия Никитовича очнуться. Оказывается, он все же задремал. Люба уже хлопочет у печки. В окно заглядывает мутный рассвет. А по стеклам по-прежнему — дождевые капли.

На улице — ни души. Вытягивая из чавкающей грязи пудовые сапоги, Колосок идет в раскомандировочную хмурый, сосредоточенный. Идет больше по привычке, чем по необходимости. Задания колхозникам известны еще с вечера. Перемены погоды нет. Убирать пшеницу невозможно. Надо по-прежнему ждать.

Ждать... Колосок представляет себе, что делается сейчас в поле, и сердце его сжимается острой тоской. Вот уже вторую неделю скошенная пшеница лежит в валках. Хорошо еще, где стерня высокая. Там по крайней мере валки не касаются земли, продуваются ветерком. А где пшеница прилегла вплотную к земле?.. Там уже не валки, а сплошной войлок, потник. Колосья проросли, переплелись свежими побегами в одну массу. Попробуй подыми такую хедером комбайна...

В раскомандировочной сине от табачного дыма. Народу много, но все молчат. Каждый думает свою думу. И когда только наука обуздает природу? Рядом, в Омской области, все погорело от солнца. Трава и та уничтожилась. А в Иркутской области ждут не дождутся ясного солнышка, уж и забыли, какое оно бывает. На глазах погибает урожай!

Все так же молча колхозники сдвигаются, освобождают место на лавке своему бригадиру. Колосок садится и тоже лезет в карман за папиросами. Его круглое загорелое лицо спокойно, но во взгляде лихих светлых глаз вопрос: «Упали духом мужички. Да, незадача получается». Пока сизый столбик пепла все нарастает на папиросе, Колосок вспоминает. Председатель колхоза «Сибиряк» Дмитрий Павлович Шибиков передал долгосрочный прогноз: с середины августа ожидаются затяжные дожди. Но солнце палило так жарко, нагретый воздух так дрожал и переливался на горизонте, что не хотелось верить метеосводке. «Опять, поди, врут, ветродуи»!

Все же Колосок схитрил: для начала наметил к раздельной уборке пшеницу похуже — за прудом, около хутора, на Коломинке. «А самолучшая пшеничка пусть пока на корню доспеет. Так-то оно вернее будет».

Наутро Николай Филиппов и Валентин Вязьмин вывели свои комбайны, в сцепе с тракторами, на пшеницу. Расчет был хорош — всю пшеницу и овес убрать раздельным способом; валки подбирать через три-четыре дня; к пятнадцатому сентября рассчитаться с государством.

Распланировали ладно, но стихия опрокинула все наметки.

За неделю комбайны срезали около двухсот гектаров пшеницы и все шестьдесят гектаров гороха. Работали, сколько хватало духу у комбайнеров, весь световой день. Из Иркутска прибыли пять грузовиков, из Черемхово — двадцать пять рабочих, чтоб помочь в перевозках на элеватор. Все складывалось отлично.

И — дождь.

Василия Никитовича он застал на горохе. Первые тяжелые капли упали на сухую почву, и вокруг заплясали веселые пыльные фонтанчики. Потом дождь смочил землю, она потемнела, и звук падающих капель стал иным. Колосок с тревогой обвел взглядом горизонт. «Ну, как и вправду надолго зарядит?»

Все же Василий Каковлин успел на своем самоходном «СК-3» подобрать и обмолотить горох с двадцати гектаров, взять сто пятьдесят центнеров. А потом дождь усилился, и комбайн замер на приколе. Еще раньше остановились комбайны на пшенице.

Столбик пепла отвалился от папиросы, развеялся на затоптанном полу. Василий Никитович встрепенулся.

— Значит так, товарищи: продолжаем уборку кукурузы и вспашку зяби. Кто в ночной смене был — на отдых.

На конном дворе Колосок вывел из конюшни лошадь, заложил ее в легонькую двуколку и поднял капюшон брезентового плаща.

Улица оставалась безлюдной. Казалось, все живое попряталось под крыши.

Двуколка поднялась на изволок, и вокруг посветлело. Со стороны кукурузного поля донесся бодрый шум моторов. Колосок повеселел, шлепнул мокрыми вожжами по конской спине.

Василий Никитович даже засмеялся вслух, вспомнив, как он и его односельчане встретили в свое время южанку: «Мудрят наверху, навяливают мужикам кукурузу. А того не смыслят, что здесь — Сибирь!»

И правда, в первый год уродилась не кукуруза, а что-то невообразимо тщедушное. Бледные хилые пучки сиротливо торчали в буйной поросли жабрея. Мужики ругались: «Посеяли... псу под хвост. Сколь хлеба на этой деляне потеряли».

Но районные власти настойчиво требовали продолжать сев кукурузы, отводить под нее лучшие поля.

И на третий год невзгоды кончились. Южанка показала себя во всей красе. Двухметровая шумящая стена поднялась в поле. Никогда еще скот не получал в таком изобилии сочный вкусный силос. По шестьсот центнеров зеленой массы дал каждый гектар. Это против ста-то центнеров хваленой зеленки!

Одним ударом бригада запасла силоса на два года. И нынешней весной кукурузу сеяли любовно. Отвели под зябь для нее южные склоны на высоких местах с суглинистой почвой. Сев начали с двадцатого июня, в хорошо прогретую землю, и не как-нибудь, а по мерной проволоке, квадратно-гнездовым способом. Выждали дней десяток, чтобы дать вылезти разбойничьим головам сорняков, а потом пустили по ним бороны и с корнем выдрали овсюг, жабрей, осот. Когда обозначились гнезда, пустили вдоль рядков культиваторы, разрыхлили почву в междурядьях и заодно уничтожили уцелевшие сорняки.

Зато и вымахала же красавица! Глядеть любо. Одно обидно — нечем стало подкормить королеву. Что для нее пятьсот тонн на-

воза на такую площадь! Бригадные кукурузники Петр Родионов и Михаил Гайдар долго ходили следом за Колоском: «Василий Никитович, раздобудь аммиачной водички!» А где ее взять?

А какую силу придает эта чудо-вода кукурузе! Последний раз внесли ее в почву в пятьдесят восьмом году. И три года получали добавку по пятьдесят центнеров зеленой массы на гектар. А до чего наглядно действие аммиачной воды! Там, где сосок резервуара забивался, кукуруза взошла неохотно и росла плохо. И гадать не надо — получила в этом месте земля подкормку или нет. Без разговоров штрафовали трактористов за халатность. Кукуруза сама наглядно рапортовала, как по писаному.

Лошадь подвезла двуколку к меже и остановилась. Слезай, мол, хозяин. Приехали.

Глянцевитые от влаги, широкие листья кукурузы обвисли. Дождь шумел все с той же нестерпимой, как зубная боль, настойчивостью. Но крепкие стебли стояли прямо и бодро. А главное, здесь не было мертвящей тишины, как на пшеничных полях. Над зеленой стеной вился синий тракторный дымок. Лязгали гусеницы. Шумел силосоуборочный комбайн. Искрошенные стебли сплошной массой валились в кузов грузовика, быстро заполняя его.

Временами колеса комбайна, облепленные грязью, превращались в какой-то каток и совсем переставали вращаться. Но два трактора продолжали неумолимо тащить комбайн вперед. Следом, буксуя в невылазной грязи, держась под хоботом, из которого лилась зеленая масса, тащился грузовик. Несмотря ни на что, уборка шла!

Забрызганные грязью по самую макушку, мокрые, но оживленные, механизаторы окружили бригадира. Как ни трудно приходилось людям, но довольно того, что они не сидели сложа руки, не изнывали в ожидании погоды, и это вливало в них новые силы. Впервые за день Колосок услышал смех:

— У Степана-то одни уши торчат из грязи!

— Да и ты сродни хавронье!

Такой же измазанный, как и все, к бригадиру подошел шофер.

— Василь Никитич, надо в поле закладывать силос. Прошлый раз чуть сцепление не порвал, пока через плотину пробился.

Колосок и сам понимал, что в такую распутицу возить силос к ферме невозможно. Недолго и машины угробить.

— Ладно. К обеду пригоню бульдозер, выроем траншею, будем силосовать на месте.

— А ночью как?

— Костры разожжем. А нет — трактор поставим, пусть фарами светит, — напористо сказал Колосок. Вид работающих людей разбудил присущую ему энергию. И что он так скис? Часть гороха успели обмолотить. Засилосована уже половина кукурузы. Идет вспашка зяби. А кончатся эти проклятые дожди, на пшеницу выйдут все комбайны.

Радовались дождю грибы, задорно расталкивали шляпками мокрую лесную подстилку. Колосок соскочил с двуколки, двинул сапогом. Батюшки! И грузди, и березовики, и волнушки... Недаром бабы пропадают в лесу. Филиппиха, говорят, вторую кадушку солить собирается.

Но короткая вспышка энергии угасла. Понуро висели осклизлые ветви в лесу. Вода струилась по листьям, капала за воротник. Такой светлый, праздничный березовый лесок казался сейчас хмурой еловой чащобой.

По пути к Малому Кутулику бригадир заехал еще на зяблевый клин, удостоверился, что подъем зяби идет успешно, трактора обеспечены горючим.

В деревне Василий Никитович сдал лошадь конюху, но направился домой не сразу. Высоко поднимая ноги, по улице брел один из самых старых колхозников, Фирсов.

— Как располагаешь, Григорий Николаевич, будет еще солнце? Или так до самой зимы и дотянем?

Колосок хотел пошутить, но голос выдал тревогу. Что если и в самом деле снег накроет пшеницу?

— Будет, — уверенно прошепелявил Фирсов, обнажая одинокий зуб в красных деснах. — Нынче осень долго простоит. Лишь бы в валках хлеб не пропал, а на корню ничо ему не подеется.

Василий Никитович вздохнул, но спорить не стал. Хотелось надеяться, что старик прав, что опыт не обманывает его.

Снова беспокойная ночь...

И неотвязные мысли о мокрых — хоть выжми! — валках пшеницы; о картошке, которая тоже не вечно может сидеть в воде; об угрозе, нависшей над районом, областью.

Легче было бы, если б знал: плохо у тебя, зато у соседей уродилось. Не ты, другие прокормят страну. Но парторг колхоза Александр Савельевич Юсупов не радовал новостями. Померзли озимые на Украине, на Волге, в центральных областях. Сожгло хлеба во всей Западной Сибири. Надеялись на целину, но и там огнем прошлась засуха. Худо, худо... Тут каждый пуд зубами вырывать надо, а у них в бригаде пшеница на глазах гибнет!

Приходило следующее утро, но все так же нагло лез в окна, барабанил по крыше моросящий дождь, так же пузырились бездонные лужи на раскисшей улице...

Только в первой декаде сентября вылилась вся влага, припасенная тучами.

Шибиков и Юсупов собрали бригадиров:

— Теперь жмите на уборку. Днем и ночью. Учтите, с восемнадцатого числа опять ожидается дождь, а за ним снежок, заморозки.

Как же ожила деревня, как воспрянули духом жители Малого Кутулика, едва солнце проглянуло сквозь многослойную пелену туч!

К счастью, на этот раз прогноз не оправдался. Ни капли не упало больше на многострадальную землю. А ничего другого колхозникам и не требовалось.

Закипела работа.

До часу ночи без смены стояли за штурвалом комбайнеры Николай Филиппов и Валентин Вязьмин. Испытанные мастера заждались погоды и требовали только людей на копнитель да автомашин побольше, чтоб не стоять с полным бункером зерна.

В пять дней были подобраны все валки, столько дней пролежавшие под дождем. На элеватор пошли первые грузовики с зерном. А вслед затем бригада переключилась на прямое комбайнирование — пшеница доспела всюду, незачем стало валить ее. Пригодились и горожане: кто стал на погрузку зерна, кто на копнители. У всех чесались руки поработать в полную силу. А тут еще пошла самая лучшая пшеничка, по восемнадцати центнеров с гектара, с тугим, тяжелым колосом. Выстояла, не подвела!

Подобрали и срезанный горох. Многие стручки успели раскрыться, и горошины высыпались на землю, буйно проросли. Все же еще полтораста центнеров намолотили, вернули семена. В такую осень и на том спасибо.

Двадцать восьмого сентября в Кутулик ушла последняя автомашина с зерном. Не было при ее отправке ни речей, ни красных полотнищ. Семь тысяч пятьсот центнеров хлеба бригада колхоза «Сибиряк» сдала государству.

Михаил Давыдов

САМОЛЮБИЕ

Заметки журналиста

С трибуны называли фамилии тех, кого рекомендовали для избрания в президиум. Совершенно случайно я взглянул в этот момент на своего соседа, известного в наших краях работника. Тот с огромнейшим вниманием слушал оратора, даже вторил ему шепотом. Было очень забавно.

— А может, мне только так кажется? — подумал я.

Нет. В самом деле губы соседа шептали те же фамилии. И чем ближе подбирался оратор к букве, с которой начиналась фамилия соседа, тем напряженнее и внимательнее становился тот.

Но вот список прочитан. В числе избираемых его не оказалось. И я увидел оттопыренные губы, поблекший взор. Обиженный, он даже отвернулся от сцены, видно, для того, чтобы не смотреть, как будут занимать места члены президиума, в состав которого его не избрали сегодня. Как странно! Его всегда избирали. Почему же сейчас? Что случилось? Самолюбие было явно задето. Настроение испорчено. Он не слушал ни доклада, ни прений... Был, что называется, сам не свой...

А я думал:

— Самолюбие... Что это за штука такая? Самолюбивый человек — хорошо это или плохо?

И вспомнился мне еще один аналогичный случай.

Было это минувшим летом в доме отдыха. Выдался на редкость погожий день. И отдыхающие затеяли поездку в Коты, на биологическую станцию профессора Кожова. Организовать экскурсию поручили массовику Дине. Превеликая затейница, она мигом связалась с мотористом катера (в Коты надо плыть по Байкалу на катере), прихватила аккордеон, с которым разлучалась разве что ночью, и бодро скомандовала:

— К пирсу!

Высыпали все, хотя знали, что катер небольшой и добрая половина вернется от пирса назад. Подошли к причалу. Дина оглянулась и ахнула:

— Батюшки! Вас ведь на три таких катера. Как быть-то?

Кто-то предложил:

— Выбирайте по своему вкусу, Диночка. Остальные дома останутся.

Предложение приняли, и Дина начала отбор.

— Саша и Катя, на борт, — командовала она. — Сережа и Зоя... Боря и Вера...

Подбиралась молодежь. И никто в этом не находил ничего удивительного. Никто не высказывал претензий. Впрочем... Издали наблюдая эту картину, я заметил, что одной очень известной у нас особе Динины команды не приходятся по вкусу.

«Э, да ты ждешь, когда назовут твое имя, — мелькнула мысль. — А тебя, голубушка, ведь не возьмут. Тебе ведь за сорок, пожалуй, ближе к пятидесяти. Не для тебя эта компания, что подбирается. Не обижайся, староват стала... Нет, пожалуй, не рискнет Дина уехать без тебя, — начал было я колебаться, — такая известность, без тебя ведь нигде не обходятся, даже там, где можно и нужно обойтись. Так уж повелось. И ты это знаешь. Ты веришь в собственную необходимость и, пожалуй, существуешь-то именно

для того, чтобы быть выдвинутой, избранной, приглашенной...»

Катер забирал в море. Мы кричали с берега:

— Счастливого плавания!

А знакомая наша стояла насупившись, недоумевая:

«Как это так случилось, что уехали без меня?»

Самолюбие было задето. Настроение испорчено. От пристани она шла одна, отвергнув ухаживание маститого художника, знакомство с которым постоянно подчеркивала. Надо заметить, она любит, когда за нею ухаживают знаменитости, полагая и это в порядке вещей.

— Вчера он вышел на этюды. Подошла к нему, присела, сделала ряд замечаний. Согласился. У вас, говорит, такой тонкий вкус. Вы, говорит, поэт, художник...

И хотя вкуса у нее вообще никакого не было, ее почему-то старались убедить в обратном. А потом, за глаза, над нею же и смеялись. А вот сегодня Дина щелкнула ее по носу. И испортила настроение на весь день. Заметно оживилась эта дама только к вечеру, когда на Байкале вдруг поднялась волна и подул сильнейший ветер.

— Какая погода! — воскликнула она, и в голосе слышались нотки злорадства. — Какая погода! Хорошо, что я не поехала...

Она сказала это так, будто именно сама и отказалась от поездки, забыв, что ее просто не взяли.

В этот же день наблюдал я и другое.

Отдыхал вместе с нами Степан Степанович Позднов, знаменитый по Сибири врач, заведующий кафедрой и заведующий клиникой. И вот сегодня приехали к нему его помощники — врачи, сестры...

— Степан Степанович, — перебивая друг друга, докладывали они Позднову, — ремонт закончен. Так мы ординаторскую прихлопнули. Правильно вы говорите: несколько лишних коек для больных лучше, чем клуб для врачей и сестер...

«Клубом» Степан Степанович называл именно эту ординаторскую. Он мне как-то рассказывал:

— Зачем этот клуб? Разве для того, чтобы здесь студенты-практиканты анекдоты травили? Прихлопнуть его, прихлопнуть. А у дверей каждой палаты поставить столик для лечащего врача. Нет, не для того, чтобы все время там торчать. Нечего делать — иди гуляй или книгу читай — твое дело. Но быть поближе к больному — это раз, а во-вторых, ординаторскую закроем — коек для больных прибавится. Я им, батенька, перед отъездом этого ерша подпустил. Пусть думают. Согласятся, а?

Так вот они и приехали сообщить, что согласились. За шестьдесят километров приехали. В собственный выходной день.

И это, конечно, польстило его самолюбию. Да он и не скрывал своей радости, вечером за ужином хвастал:

— Видели? Прикатили. Вот ведь как везет человеку...

— Это кому же?

— Да мне. Какой народ, а? Умный, душевный. С хорошим народом работаю. Это, батенька, большая радость, когда тебя народ поддерживает.

Мне и еще один говорил то же самое — Рябцовский, бригадир экскаваторщиков с большого шагающего на Южном разрезе в Черембассе, депутат Верховного Совета СССР.

Случилась однажды на экскаваторе большая авария. Результат заводского недосмотра. Дело казалось совсем безнадежным: пока вызовут представителя завода, пока тот приедет и организует ремонт... Рябцовского в ту пору на разрезе не было, отдыхал после смены.

— Надо, други, к Иосифу ехать, — предложил кто-то.

Бригадир, узнав об аварии, чуть не с космической скоростью примчался на разрез. И принял смелое решение ремонтировать экскаватор без представителей завода, своими силами. Был в этом решении риск. Большой риск. Потому что не оказалось в бригаде нужных приспособлений и инструментов. Потому что авария была серьезная. И не имела бригада никакого опыта такого сложного ремонта. Но были у бригадира глубокие знания техники, точный расчет и беспредельная вера в людей.

И отремонтировали.

Когда мы стояли на борту забоя и Рябцовский рассказывал мне об этом, я читал на его лице неподдельную гордость и радость. Человек гордился. Гордился тем, что други не забыли про него в такой ответственный момент. И тем, что обладает знаниями, позволяющими принять смелое решение. И тем, что народ в бригаде верит ему...

Ведь и у Рябцовского есть самолюбие: он не хочет отставать от других, хочет быть впереди. Приятно, когда к нему обращаются за помощью, за советом.

На разрезе помнят один случай. Бригадиром на экскаваторе номер восемьдесят пять был Дмитрий Токарев. Хороший механизатор, а организовать работу бригады не мог. И та

систематически отставала. Все уже привыкли к этому. Иосифу Рябцовскому предложили «вывести бригаду в люди».

— Добьешься, а? — спросили его.

— Пожалуй, добьюсь, — ответил Рябцовский. И работал так, что уже через три месяца смог сказать Токареву:

— Принимай, браток, нашу красавицу. Сам видишь, передовой на разрезе экскаватор. Бригадирствуй.

Вот какие воспоминания вызвал факт неизбрания моего соседа в президиум собрания. Я думал: конечно, у каждого человека есть самолюбие. Когда говорят, что у человека нет ни капельки самолюбия — значит говорят, что этот человек безвольный, беспринципный даже.

Но как же должно быть трудно жить человеку с больным самолюбием. Его никто не обижает, а ему кажется, что его обидели. Сделаешь такому правильное замечание по работе или по поводу его поведения в жизни, а он воспримет это как личное оскорбление. Уж не болезненное ли самолюбие рождает эгоизм, придирчивость, мнительность? Ты мне сделал замечание, покритиковал меня — подожди, припомню!

А как, видимо, нарушается рабочий ритм человека, самолюбие которого бывает чем-нибудь задето? Он, как это случилось с моим соседом, буквально выбит на целый день из колеи. Не работает. У него все валится из рук. Он только и думает, почему его сегодня обошли, почему так обидели? Хотя никто не обижал его, никто не обходил.

Человек с больным самолюбием никогда не сможет правильно оценить явление, если оно связано с ним. Не сможет глубоко и объективно проанализировать свои поступки, свое поведение. Плохо такому живется.

Но есть другое самолюбие. Хорошее, по-настоящему человеческое. Как у Позднова. Как у Рябцовского. Оно делает жизнь прекрасной. Вдохновляет на добрые дела. Всегда ведет вперед. И, может быть, рождает подвиг. Такому человеку чужды мелкие обиды, самомнение, зависть успеху других. Он не обидится на критику, не перестанет после этого здороваться с тем, кто его критиковал. Потому что он скромен и честен.

И так мне хотелось рассказать все это моему соседу, в общем-то, славному малому и добросовестному работнику. «Ничего ведь не произошло, — хотелось мне сказать ему,— ровным счетом ничего! Не избрали тебя в президиум? Ведь это даже и тебе самому должно бы надоесть. Да и президиум теряет свое значение, если всегда состоит из одних и тех же людей.

П. Петров

НЕПОВТОРИМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

(Из неизданного и забытого)

В деревне, когда я еще был ребенком, о Максиме Горьком говорили, что он ведет спор с царем за бедный народ, что ходит по лачугам и под балалайку распевает: «Солнце всходит и заходит».

Приносили эти слухи в деревню рабочие с железной дороги, ссыльно-поселенцы, вечные бродяги-поденщики.

Рассказчики говорили еще много несуразного. Но все они понимали, что писатель Горький — защитник бедноты, ее певец. Созданный детским воображением образ писателя оставался памятным, но далеко еще неясным долгое время. В царской казарме, на фронте о Горьком запрещалось говорить. Подлинную сущность творца «Буревестника» для меня раскрыла революция. В деревне, на фронтах гражданской войны, шагая через смерть, я урывками читал Горького и будто всегда чувствовал около себя присутствие великого писателя.

Увидеть Алексея Максимовича, тем более говорить с ним, конечно, не мечталось даже тогда, когда появились теплые упоминания Горького о моей книжке «Борель».

Я не помышлял, что Горький будет читать мои первые опыты и напишет о них. Тем более что о той же книжке еще раньше рецензенты давали совершенно различные отзывы: одни сильно хвалили, другие отчаянно ругали.

И вдруг человек, к голосу которого прислушивался весь мир, послал мою первую книжку в подарок сибирским горнякам. Поверить этому было трудно. Несколько дней подряд я заглядывал в журналы «Наши достижения», «Резец» и в газету «Известия», где были напечатаны заметки Алексея Максимовича. Более желанного судью представить было невозможно.

Горький открыл меня, заставил работать дальше. Еще большей неожиданностью явилось письмо Алексея Максимовича из Италии. В Сорренто я ему нерешительно послал вторую книжку «Саяны шумят». Ответа, разумеется, не ждал, по крайней мере прямого. Но Горький и тут изумил. Письмо он послал в Иркутск воздушной почтой, написал его собственной рукой. Оказывается, он уже прочитал книжку и отправил ее Томскому с предложением напечатать в Москве.

Но вот случилось то, о чем никогда не думалось. Я увидел его на трибуне Первого съезда писателей. Колонный зал дрогнул, будто под зданием колыхнулась земля. Это аплодировали все делегаты. Они рванулись с мест к вышедшему из-за кулис Горькому, будто хотели заключить в объятия взволнованно остановившегося вождя литературы, беззаветного бойца за социализм.

Вот он, оглушенный криками, скромно поднял руку, жестом надеясь прекратить овации. Но еще громче раздались приветствия, крики и аплодисменты. И казалось, что на стенках балконов от встревоженного воздуха зашевелились портреты классиков мировой литературы.

На руках делегаты имели уже готовый отпечатанный доклад Алексея Максимовича. Но этого мало. Всем хотелось увидеть его самого, услышать голос. А Горькому все еще не давали говорить. Алексей Максимович снял серый пиджак.

Не скоро успокоились делегаты, не скоро справился с волнением Алексей Максимович. На ресницах великого писателя блеснули слезы — горячий прием растрогал его.

Но вот он подошел к председательскому столику, оглянул партер, балконы и, будто забыв, что ему нужно открыть съезд, на мгновение задумался.

«Нет, художники неправильно пишут с него портреты, — слышен шепот среди делегатов. — Смотрите, и седины мало, и глаза такие ясные — юношеские. А усы! Они скрашивают открытое энергичное лицо. Почти ни одной черты не уловлено художниками в этой невыразимо простой величественной фигуре Горького».

Долго избирается президиум. Алексей Максимович уже улыбается, здоровается с членами президиума, о чем-то разговаривает: шутит или высмеивает ненужные излишества в избирательном церемониале.

На трибуну Горький прошел бодро, лицо озабоченное слегка, в руках трепетала брошюра — его доклад.

Тверже зазвучал голос. Досадно было, когда кашель вынуждал докладчика делать перерывы, паузы. Включили радиоусилитель. Ухо улавливало все оттенки сильного чистого голоса. Алексей Максимович быстро овладел собой и аудиторией. В начале доклада сердито махнул в сторону досужих фоторепортеров, подступивших целой армией к трибуне, и сказал с улыбкой:

— Уберите эти дурацкие фонари...

Через день Алексей Максимович появлялся в президиуме, и каждый раз его встречали восторженными приветствиями.

По окончании работы съезда Горький охотно согласился сняться с группой сибиряков и принять сибирскую делегацию. Писатель Зазубрин посоветовал мне побеседовать с Алексеем Максимовичем в интимной обстановке. Это казалось невероятным: Горький изнемогал от бесчисленных делегаций. О разговоре забылось. Но через несколько дней Зазубрин позвонил в гостиницу и сообщил, что Горький просил меня зайти к нему на сорок минут раньше сибирской делегации.

Автобус дожидать не хватило терпения. На Тверском бульваре долго кричал вслед кто-то знакомый, но разговаривать было некогда. Твердо запомнился адрес: Малая Никитская, 6. Ищу вход, а в мыслях: в какой обстановке живет этот человек? О чем он будет разговаривать? О чем спросить его?

Зеленые ворота. Около них чернобородый человек.

— Товарищ, нельзя.

— Я по вызову.

— Надо справиться.

Подошел один из секретарей Горького. Заглядывает в блокнот, проверяет расписание минут, давно обещанных разным посетителям на сегодня. Но секретарю утруждать себя не пришлось. К калитке подошел Алексей Максимович. Он только что умылся, еще блестит невысохший ершик светлорусых волос, лицо свежее, чистое, и кажется совсем не старым. Услыхал фамилию, легонько отстранил секретаря и крепко пожал руку, так крепко, что сразу почувствовалась мощь Горького.

В столовой подали кофе с золотистой пенкой на поверхности. Алексей Максимович отхлебнул, посмотрел в окно, шутя пожаловался:

— Ну и народ у меня. Форточку не открой. Есть дают не то, что хочется. Спать укладывают по часам. Думать и то мешают.

Я молчал. Не хотелось деловым будничным разговором портить доброе настроение хозяина. Вошел П. П. Крючков. Лукаво оглянув его с головы до ног, Алексей Максимович стукнул ладонью по столу и с досадой сказал:

— Эх, прозевали, черти.

— В чем дело?— поинтересовался секретарь.

— В том, что вас еще в постели собирались окатить водой наши женщины. А вы оказались сухим.

Когда Крючков вышел, Горький спросил:

— Книжка печатается в Москве?

— Полтора года ждал ответа. Приехал справиться лично, — ответил я, поняв, что Алексей Максимович спрашивал о «Саянах шумят».

— Вы пишите. Выберу время, обязательно прочитаю ваши книжки...

В короткой беседе Алексей Максимович затронул ряд литературных вопросов, он сказал, что Сибирь — великий край, что о ней еще очень мало написано, почти нет в литературе показа старой и новой сибирской деревни... Вспомнив о параде московской молодежи, проходившем во время съезда, сделал характерный жест рукой, по которому нетрудно было угадать радость, воскликнул:

— Вот о ком надо писать. Видали? Такие молодые, сильные, красивые... Не могу без слез... Одолевают старческие немочи, но так и пошел бы с ними...

Алексей Максимович от волнения закашлялся дольше обычного, схватился рукой за грудь. В приемную входила делегация сибиряков.

Уходя от Горького, я чувствовал себя помолодевшим на десять лет. Обаяние этой личности, мудрая простота останутся памятны до конца дней. Иначе и быть не могло. Ведь я виделся и беседовал с величайшим писателем, с гражданином мира, с беспримерным борцом за счастливого человека на земле.

Наталия Флорова

ЧЕЛОВЕК-КОСТЕР

(К 60-летию со дня рождения Павла Григорьевича Маляревского)

...Иркутяне часто встречали его. Человек с большим портфелем в руках шел летящей походкой по заснеженным улицам. Снег поскрипывал под его шагами деловито и весело. Он всегда торопился. Куда? Почему?

Если бы мы пошли за ним, нам пришлось бы прибавить шагу и побывать в один день за кулисами театра, в отделении союза писателей, областном архиве, научной библиотеке и... Словом, всего не перечтешь. Везде у него были дела и интересы, без которых он не мог жить.

Сейчас зима... Снег все так же поскрипывает и кажется, вот-вот вывернется из-за угла знакомая юркая фигура и блеснет любопытный взгляд из-под мохнатой шапки.

Мы идем по улицам родного города, но больше не встречаем этого удивительного человека. Мы думаем о нем, вспоминаем. Думы наши и воспоминания, хотя и окрашены грустью, но светлы и оптимистичны. Как же еще можно думать о человеке, оставившем в память о себе сотни маленьких искорок добра и красоты!? Он зажег эти искорки в душах людей, с которыми общался, для которых творил.

* *
*

Быть может, это натяжка — искать в творчестве писателя прямые параллели его личному человеческому облику. Но почему-то, когда вспоминаешь спектакли, поставленные по произведениям драматурга Павла Григорьевича Маляревского, хочется думать о нем самом.

Если бы вдруг случилось чудо и герои разных произведений Маляревского встретились — это была бы довольно пестрая и удивительная компания. Бурятскому ученому Доржи Банзарову пришлось бы пожать лапу Коту в сапогах, а рабочему-горняку, участнику Ленских событий 1912 года — познакомиться с нашими современниками студентами мединститута, дискутирующими на тему о применении павловского учения в практической медицине.

Необыкновенное любопытство к различным сторонам жизни, способность увлекаться многим и в каждом вопросе приобретать глубокие познания, находить зерно для художественного воплощения — эти качества Маляревского человека и художника породили многообразие тем и жанров в его творчестве.

Его увлекало все. Он был фантазер и затейник. Он не любил серости, ему всегда хотелось праздника, красоты и правды. Так родились сказки. Ведь только в сказке уживается безудержная фантазия и старая, как мир, а потому простая правда.

И зашагали по тюзовским сценам нашей страны (да и не только нашей) Кот в сапогах, Баир, Аламжи, весело застучал копытцами Конек-Горбунок, запела свою песенку Репка.

Дети восторженно встретили старых знакомых — они их узнали! В зрительном зале — радость и полное взаимопонимание между зрителями и автором! Автор был хитрецом. В старые сказки он вдохнул новую жизнь. И юный зритель начинал видеть в Синей Бороде, хитром Галсане, в коварных Кроше и Жабе силы, которые мешают людям жить сегодня. Отважного юношу Вэна и героя Кота он любил за ум, справедливость, мужество — за качества, которые каждый должен воспитывать в себе сегодня.

Вероятно, любовь к фантазиям и сказкам, полным оптимизма, давала Павлу Григорьевичу необыкновенный заряд энергии, которую он тратил щедро, безудержно и которая в свою очередь питала его сказочные творения.

На переплетении сказки с суровой романтической действительностью рождались необычные фантастические пьесы, где за ярким, феерическим, искристым вымыслом крылись глубокие социальные обобщения. Антифашистская, страстная пьеса «Падение острова Блютенбайль», фантазия-исследование «Поэма о хлебе», фантазия-предвидение «Камень-птица». Вместе с драматургом читатель и зритель отправлялись в небывалые головокружительные приключения, а в сердце, в мыслях оставались искорки, из которых возгоралось пламя любви и ненависти.

Самая обыденная вещь, мимо которой мы проходили равнодушно, могла привести его в восторг, породить рой мыслей и художественных ассоциаций. Он умел воспринимать окружающий мир с непосредственностью ребенка. Но при этом умел извлекать из бурных эмоций мысли глубокие, философски объемные. Это сделало его сказочником. Это сделало его писателем.

...Незаметным, самым рядовым человеком, с неизменной коричневой папкой в руках вышел на сцену герой пьесы «Костер» доктор Седых. В нем, как и в авторе пьесы, скромность и даже застенчивость жили рядом со стойкой целеустремленностью. Они — Никита Седых и Павел Маляревский — твердо шли по жизни, знали, чего хотят, не отступали и не кривили душой ни в чем и никогда.

Идейный противник Никиты Седых пенкосниматель Лесковский был личным врагом и самого драматурга. Маляревский ненавидел фальшь, позу, карьеризм. Его идеалом был мир красоты и поэзии, который надлежало завоевать в борьбе. За этот мир сражаются его герои, то воюя против ненавистного Богдыхана в древнем Китае, то сея хлеб на современных сибирских полях.

Вспомним о выдуманной нами встрече героев Маляревского. Конечно, это было бы удивительно. Трудно поверить, что умирающий от чахотки обитатель сырого барака на Ленских приисках Трифон Черных и поэтическая красавица Мэй из похожей на песню пьесы-легенды «Меч Китая» вышли из-под одного пера. Но удивительнее всего то, что эти разные герои нашли общий язык. Их, пришельцев из разных эпох, стран и жанров, драматург сделал единомышленниками. Пастух Аламжи в пьесе «Счастье» говорит: «Человек всегда должен стремиться к счастью». Эти слова могут служить эпиграфом ко всей драматургии Маляревского. Его герои говорят и поют о счастье, которое появляется на сцене то в облике прекрасной девушки, то в облике серебряного Кролика, то вдруг зазвучит революционной песней или взмоет ввысь сверкающим фантастическим металлом-птицей.

Человек должен быть счастлив! Во имя этого борются герои Маляревского, преодолевая «крутые перекаты» жизни, несправедливости социального устройства. Во имя этого искал, спорил, смеялся, писал и жил сам драматург.

А что такое счастье? Это борьба во имя лучшего на земле! Это жизнь, озаренная большой целью!

* *
*

...Падают снежинки, крутясь в свете фонарей, освещающих фасад Иркутского областного драматического театра. Сотни людей ежедневно наполняют его уютный зал. На сцене театра шли пьесы драматурга Маляревского. Весь репертуар театра много лет формировался при непосредственном участии заведующего литературной частью театра Маляревского.

Мы помним спектакль «Мать своих детей». Он нравился, волновал. Но кто из зрителей знал, что эту забытую пьесу Афиногенова вспомнил, отыскал и предложил к постановке Маляревский!? Театр пробуждал большие мысли, вызывал благородные чувства. В этом был труд и заслуга Маляревского, который был душой всей жизни театра.

Это Маляревский принес в 1951 году в театр большой праздник, когда его пьеса «Канун грозы» и спектакль были удостоены Государственной премии.

У маленьких иркутян свой театр — ТЮЗ. Он отчасти обязан Маляревскому своим рождением. Его пьесы-сказки здесь держали экзамен — впервые видели свет рампы. Они стали значительной частью репертуара театра; их традиции жили и живут в других сказочных спектаклях.

Молодой коллектив театра мужал и рос, испытывая на себе благотворное влияние талантливой, обаятельной личности своего драматурга.

И даже на афише Иркутского театра Музыкальной комедии появилось имя Маляревского. В годы Великой Отечественной войны театр поставил оперетту Заславского «Под небом Праги». Либретто для нее написал Маляревский. А к юбилею драматурга была осуществлена постановка родившегося в стенах театра музыкального варианта сказки «Чудесный клад».

Вот уже четверть века связана театральная жизнь Иркутска с именем Маляревского. И, пожалуй, не только и не столько потому, что на сценах наших театров шли его произведения, а потому, что Павел Григорьевич жил театром. Ни одна премьера или театральная конференция не проходили мимо него. Горести и радости театров он воспринимал, как личные, и с обычной горячностью мог отстаивать свое мнение, прийти в восторг от актерской удачи, увлечься оригинальным режиссерским замыслом, с жаром поддержать все талантливое, все, в чем заключалась крупица настоящего искусства.

При Иркутском отделении Всероссийского общества — прекрасная библиотека, где собрана литература и иконография по истории театра. Художники, артисты, режиссеры находят здесь богатый материал для работы. И они благодарны Маляревскому — библиотека создана по его инициативе и при его непосредственном участии.

Павел Григорьевич жил делами и событиями современного сибирского театра. Он интересовался и его историей. Годами по крупицам собирал он материал и вот мы держим в руках книгу «Очерки по истории театральной культуры Сибири».

Есть люди, вся жизнь которых связана с нашим городом. Их деятельность оставила вехи, которые вошли в его историю, стали его достоянием. К таким людям относится Павел Григорьевич Маляревский, драматург, лауреат Государственной премии. Его творчество, мысли и мечты продолжают жить в ударе театрального гонга, за стеклом книжного шкафа библиотеки ВТО, в горящих глазах юных зрителей, во взволнованных голосах актеров, в хрусте снега, в снежинках, роящихся у фонарей театрального подъезда.

* *
*

...Лапы елей свисают до земли. Пахнет хвоей и дымом костра. Старый охотник-бурят Доржи рассказывает древнюю легенду о человеке с горячей кровью, со щедрым сердцем: «Без огня нет жизни на земле. Человек — костер». Герой, рожденный писателем, вдруг заговорил о нем самом. Такие люди есть не только в легендах — они живут рядом с нами. Таким был Павел Григорьевич Маляревский.

У него был талант писателя. Его имя называют одним из первых, когда речь заходит о советских драматургах-сказочниках. Но был у него и другой, возможно, не менее значительный талант — умение быть настоящим человеком, жить взволнованно, распространять вокруг себя энергию, увлеченность красотой, искусством, правдой.

М. Научитель

Л. Б. КРАСИН В ИРКУТСКЕ

Для нас, современников великой эпохи строительства коммунизма, будут всегда бесконечно дороги имена тех, кому впервые довелось поднимать знамя марксизма в нашей стране, кто, не страшась репрессий царизма, тюрем и ссылки, посвятил себя делу победы революции.

Именно такой была жизнь одного из первых марксистов в России Леонида Борисовича Красина. Участие в студенческом движении Петербурга в конце восьмидесятых годов прошлого столетия, активная пропагандистская и организаторская работа в социал-демократической группе М. И. Бруснева, неоднократные аресты, тюрьмы, ссылка, революционная работа в Харькове, затем в Баку, участие в первом ленинском ЦК, руководство особой боевой технической группой ЦК в годы первой русской революции, ответственнейшая хозяйственная и дипломатическая деятельность с первых дней существования советского государства — таков далеко не полный перечень славных боевых революционных дел Л. Б. Красина, носившего партийную кличку «Никитич».

Были и ошибки в большой, поистине многогранной деятельности Л. Б. Красина, за что в свое время его критиковал В. И. Ленин. Однако Леонид Борисович умел вовремя понимать свои заблуждения и с помощью ленинской критики решительно исправлять их. Он до конца дней своих был настоящим коммунистом-ленинцем. По словам Н. К. Крупской, «Владимир Ильич не только ценил, но и любил Красина. Красин же знал, что в своей работе он всегда найдет у Владимира Ильича помощь, может обо всем с ним поговорить, посоветоваться, высказать свои сомнения, рассказать о трудностях, встречающихся в работе». (Леонид Борисович Красин («Никитич»). М. Л., 1928, стр. 140).

С деятельностью Л. Б. Красина во время его ссылки в Восточной Сибири в середине 90-х годов прошлого столетия во многом связано начало распространения марксизма в Иркутске, организация здесь первого марксистского кружка. Он начал борьбу с либеральными народниками и областниками.

* *
*

Леонид Борисович — коренной сибиряк. Он родился в Кургане 15 июля 1870 г. На живописных берегах сибирских рек Тобола, Ишима и Туры прошло его детство. Учился Красин в Тюмени в реальном училище, а после его окончания, с осени 1887 года, — в Петербургском технологическом институте.

Революционная деятельность Красина началась с первых дней его студенчества. Он оказался активным участником, а затем и руководителем студенческих выступлений, нелегальных и полулегальных организаций студентов-технологов. В Петербурге, в землячестве сибирских студентов, Красин стал серьезно изучать общественные науки, особенно политическую экономию. После прочтения работ Н. Г. Чернышевского и другой распространенной тогда нелегальной литературы кружок сибирских студентов с осени 1889 года штурмовал 1-й том «Капитала» Карла Маркса. В это время закладывались основы марксистского мировоззрения Красина, тогда же он впервые принял первое боевое крещение в идейных спорах с народниками.

В 1889 году в Петербурге возникла социал-демократическая группа М. И. Бруснева, представлявшая уже более зрелый шаг в развитии первого этапа социал-демократического движения по сравнению с существовавшими ранее группами Д. Н. Благоева и П. В. Точисского. Ядро брусневцев формировалось из студентов-технологов, из среды которых вышел и сам руководитель группы Михаил Иванович Бруснев. В 1890 году в социал-демократическую группу был привлечен Л. Б. Красин. Вскоре он стал одним из руководителей ее интеллигентского центра и ближайшим помощником Бруснева. Много внимания Красин уделял и рабочим кружкам, завоевав большую популярность у своих слушателей. Об этом впоследствии вспоминала одна из активных участниц группы Бруснева ткачиха В. И. Карелина. О большой популярности Леонида Борисовича среди рабочих Петербурга писала и Н. К. Крупская. Марксиста Леонида Красина хорошо помнили участники кружков Нижнего Новгорода. Вместе с братом Германом он был выслан туда весной 1891 года после вторичного исключения из института, последовавшего немедленно за участием братьев в знаменитой демонстрации на похоронах Н. В. Шелгунова (Н. В. Шелгунов — известный русский публицист, участник революционно-демократического движения, один из последователей Н. Г. Чернышевского.) В то время в Нижнем уже существовала марксистская группа, созданная там учениками Н. Е. Федосеева по казанскому кружку П. Н. Скворцовым и М. Г. Григорьевым. Появление Красина здесь было очень кстати:

пригодились его знание марксизма и пропагандистский опыт.

В Нижнем в то время была влиятельная группа народников. Между марксистами и народниками здесь разгорались горячие споры. Л. Б. Красин сразу же стал их активнейшим участником, а его выступления производили особенно большое впечатление. Несмотря на молодость, он успешно полемизировал с известными авторитетами народничества. Очевидец этого, тогда еще народник, а затем марксист С. И. Мицкевич писал, что Красин буквально поражал всех своими знаниями марксизма. Он выступал так уверенно и определенно, что быстро забивал своих противников, приводимые им аргументы были гораздо сильнее, чем у них.

Весной 1892 года, в связи с провалом, значительная часть бrusневцев во главе с руководителем группы была арестована. 6 мая в Нижнем жандармы схватили Л. Б. Красина. Через несколько дней его отправили в Москву в Таганскую тюрьму, где в одиночной камере № 505 он находился до конца марта 1893 года. После этого Красина выпустили на поруки.

Дознание по делу социал-демократической группы Бруснева закончилось только к концу следующего года. Административное решение по бrusневцам застало Красина в Воронеже. Здесь ему объявили «высочайшее повеление» о новом одиночном тюремном заключении в течение трех месяцев и последующей трехгодичной ссылке в один из северо-восточных уездов Вологодской губернии.

Нелегким было скитание по царским тюрьмам. Но сильный духом молодой революционер стойко выдерживал все испытания. Впоследствии Леонид Борисович писал, что пребывание в тюрьмах он использовал как своеобразный «университет». Здесь Красин изучил иностранные языки, перечитал немало специальной литературы, здесь ухитрялся пополнять свои марксистские знания.

* *
*

Первоначально назначенное Красину место ссылки в один из северо-восточных уездов Вологодской губернии было заменено Иркутском, где в то время жила его семья. Ему разрешили не по этапу, а за собственный счет выехать к месту гласного надзора полиции.

В Иркутск он прибыл в конце мая 1895 года. Через два дня после его приезда полицмейстер доносил губернатору о том, что 25-го мая при проходном свидетельстве Воронежского полицмейстера от 9-го апреля за № 125 прибыл в Иркутск и остановился по Луговой улице в доме сибиряковского приюта сын надворного советника Леонид Борисович Красин. За ним учрежден надзор и о нем сообщено начальнику жандармского управления» (ГАИО, ф. 32, оп. I, д. 4407, л. 5). Донесение полицмейстера красноречиво говорило о той обстановке, в какую попал Красин в Иркутске с первых шагов появления.

Интересные сведения о семье Красиных, о жизни и работе Леонида Борисовича в ссылке содержатся в делопроизводстве бывшей Иркутской администрации. К приезду Леонида Борисовича в Иркутск материальное положение его семьи значительно ухудшилось в связи с тяжелой болезнью матери. Заботы о семье легли на его плечи.

Прежде всего Красину пришлось подумать о работе. Наиболее подходящим местом, где бы он мог приложить свои знания и силы, было строительство Сибирской железной дороги, которое шло тогда полным ходом. Это было приемлемо тем более потому, что до приезда сюда он работал уже на строительстве Балашевско-Харьковской дороги и приобрел некоторый опыт.

Уже в первые дни пребывания в Иркутске Леонид Борисович получил приглашение работать на одном из участков строительства. Но местные власти были против, боясь дать разрешение на выезд из города. На ходатайство, посланное 9 июня 1895 года, вскоре пришел ответ: «МВД не признало возможным дозволять лицам политически неблагонадежным поступать для работ на Сибирскую железную дорогу. Вследствие сего административно-ссыльному Л. Красину отказано в удовлетворении ходатайства о разрешении отлучек из Иркутска» (ГАИО, ф. 32, оп. I, д. 4407, л. 13). В связи с этим пришлось начать с менее интересной работы. Леонид Борисович выполнял большие чертежные и картографические работы, связанные со строившейся дорогой. По поручению 16-го участка Среднесибирской железной дороги он трудился над составлением детальных чертежей ледорезов, над проверкой присылаемых с линии строительства расчетов отверстий мостов. В это же время он выполнил географическую карту Енисейской губернии, предназначенную для предстоящей тогда всероссийской выставки в Нижнем Новгороде.

К весне 1896 года Л. Б. Красину все же удалось, наконец, преодолеть сопротивление твердолобой администрации.

Уже в то время Л. Б. Красин показал блестящие способности инженера. Он всегда стремился к знаниям, к новому в науке и технике и умел применять это в жизни. По словам М. И. Бруснева, его правилом было смело браться за всякое дело. Он был уверен, что при хорошей теоретической подготовке можно преодолеть любые трудности, какие бы ни встали в новом деле.

Интересный случай, происшедший с Леонидом Борисовичем в Иркутске, описан с его слов М. И. Брусневым. «Он рассказал мне, — вспоминал Михаил Иванович, — о своем поступлении на службу на постройку Сибирской железной дороги, где он сразу же занял выдающееся положение инженера, будучи всего-навсего исключенным с 3-го курса студентом. Он явился к главному инженеру по стройке дороги очень рано. Его попросили обождать, пока инженер встанет. В кабинете стоял теодолит новой конструкции, еще у нас не применявшийся и только что полученный из-за границы. Л. Б. геодезией никогда не занимался, если не считать краткого курса, прослушанного несколько лет тому назад в технологическом институте. «Пока инженер умывался и одевался, я, — говорил Л. Б., — успел рассмотреть инструмент и оценить его настолько, что при разговоре с инженером мог говорить и о геодезии вообще и специально об этом инструменте с такой уверенностью, что обворожил своими познаниями инженера». (Леонид Борисович Красин («Никитич») М.-Л., 1928, стр. 79).

Для Красина была характерна разносторонность и многогранность интересов. Обладая кипучей энергией, он вникал во все, что происходило вокруг. Несмотря на большую занятость, Леонид Борисович находил, например, время для того, чтобы подумать над вопросами городского строительства в Иркутске. Его статьи о плане и нивелировке города, о городском трамвае печатались в «Восточном обозрении».

В связи с работой на строительстве железной дороги Красину нередко приходилось выезжать из города. Полицейский надзор за ним не ослабевал. Документы показывают, что каждая поездка на линию оформлялась специальными разрешениями генерал-губернатора. Так, например, поездка на несколько дней на железнодорожную станцию Половинка в середине ноября 1896 года была совершена на основании разрешения, полученного для Красина начальником 16-го участка

строительства инженером Придоновым. Двухдневная задержка с возвращением в город уже вызвала тревогу в полиции.

В условиях ссылки работа на железной дороге давала Красину многое. Он совершенствовал свой инженерно-технический опыт. «Служба на железной дороге, — вспоминал он, — помимо более чем достаточного заработка, повела и к сокращению срока моей ссылки...» (Л. Б. Красин («Никитич»). Большевики в подполье. М., 1932, стр. 45). Вернувшись в начале декабря 1896 года после поездки на линию, Леонид Борисович узнал о том, что срок ссылки сокращен ему на одну треть. Об этом стало известно в конце ноября из сообщения департамента полиции. На бумаге, пришедшей из Петербурга, губернатор написал: «Срок надзора оканчивается 1-го апреля 1897 года» (ГАИО, ф. 32, оп. I, д. 4407, л. 24).

Ссылка Леонида Борисовича в Иркутск совпала с тем периодом, когда здесь не было еще не только социал-демократической организации или первых марксистских кружков, но вообще марксистов. Общественная жизнь города, как и всей Сибири, в то время во многом определялась политической ссылкой, народнической по своему составу, взглядам, традициям. К приезду Красина в Иркутске жили многие сосланные в Восточную Сибирь или уже вышедшие с каторги участники организаций революционного народничества. Часть из них отошла от прошлой деятельности, отказалась от революционной борьбы с царизмом. Некоторые из бывших революционеров переходили на позиции либерального народничества, а кое-кто шел и к буржуазному либерализму. Процесс разложения и поворот, который переживало движение народников в те годы, был здесь представлен довольно наглядно.

В Сибири большим влиянием тогда пользовалось и областничество. Народники, областники и либералы держали в своих руках основную часть сибирских газет и определяли их направление. Наибольшим авторитетом из сибирских органов печати пользовалось издававшееся в Иркутске «Восточное обозрение», вокруг редакции которого группировались основные литературные силы и общественность.

Марксистская ссылка в Восточной Сибири тогда только еще зарождалась. К середине 90-х годов через Иркутск уже прошли на каторгу и в ссылку первые марксисты (первым из марксистов прошел через Иркутск на Карийскую каторгу осенью 1885 года участник группы «Освобождение труда» Л. Г. Дейч), но в городе их еще не было. Красин оказался здесь первым представителем нового в революционном движении России, марксистского, социал-демократического направления. Поэтому его появление внесло свежую струю в революционную среду города. Бывший в те годы редактором «Восточного обозрения» И. И. Попов писал в воспоминаниях о том, что «Л. Б. Красин был «первой ласточкой» нового направления революционной мысли, появившейся в Иркутске» (И. И. Попов. Минувшее и пережитое. Л., 1924, стр. 219).

Красин быстро вошел в общественную жизнь Иркутска и Сибири в целом. В то время в городе среди обширной колонии политических ссыльных и местной интеллигенции существовали довольно тесные контакты. По свидетельству современников, здесь нередко устраивались вечера, на которых разгоралось обсуждение социальных проблем. Бывший тогда в ссылке Феликс Кон впоследствии писал, что такие вечера часто устраивались редактором «Восточного обозрения» И. И. Поповым, политическими ссыльными Лянды, Любовцем, Хлусовичем и некоторыми дугими. «На них приглашались и ссыльные и местные. Здесь постоянно велись беседы на революционные темы в связи с текущими событиями и в связи с партийными группировками в России» («Леонид Борисович Красин («Никитич»)». М.—Л., 1928, стр. 132). Причем одной из наиболее излюбленных тем постепенно становилась критика марксизма. Однако «громить» учение Карла Маркса и его последователей в России было легко, пока в Иркутске не было ни одного марксиста. Красину, явившемуся первым из них, сразу же пришлось вступить в единоборство с многочисленным идейным противником.

Полемика между Л. Б. Красиным и противниками марксизма в Иркутске разгоралась очень остро. В числе политических ссыльных здесь были тогда сосредоточены значительные теоретические силы народничества. Чаще всех Леониду Борисовичу приходилось вести дискуссии с Коваликом, Лянды, Корниловым. Опыт идеологических схваток с народниками, приобретенный им еще в Петербурге и Нижнем Новгороде, оказался здесь очень кстати. По свидетельству очевидцев, в этих спорах «Красин был категорически самоуверен, резок и нетерпим». Хотя в этих спорах он был в меньшинстве, но его блестящий ум, глубокие знания марксизма, горячая убежденность в правильности учения К. Маркса помогали ему побивать многочисленных оппонентов. Один из главных его идейных противников в Иркутске И. И. Попов вспоминал о нем, как о «правоверном марксисте», «образованном, начитанном человеке, знающем языки».

За короткий срок Л. Б. Красин приобрел большое влияние среди политических ссыльных и революционно настроенной молодежи Иркутска. Сказывалось присущее ему свойство располагать к себе людей, близко сходиться с ними. Многие справедливо считали его одаренным, талантливым человеком и прислушивались к его мнению. Пламенные марксистские выступления Красина во время дискуссий с народниками в Иркутске не в одном из его идеологических противников заронили искру сомнения.

По свидетельству современников политические ссыльные относились к Леониду Борисовичу очень тепло, по-товарищески. Резкие споры не мешали хорошим отношениям с ними. Красин и сам писал, что «хотя споры и доходили до величайшей страстности, но это не мешало всей ссылке относиться ко мне, как к младшему брату, и личные дружеские отношения из этой эпохи сохранились у меня на всю жизнь» (Л. Б. Красин («Никитич»). Большевики в подполье, М., 1932, стр. 45).

Л. Б. Красин, установив контакт с политической ссылкой Иркутска, постоянно поддерживал связь и с теми, кто проходил через здешний этап, содержался в местной тюрьме. По словам М. И. Бруснева, политические ссыльные, шедшие тогда через Иркутск, находили у Леонида Борисовича самый дружеский, сердечный прием и материальную помощь. В одну из своих поездок на линию железной дороги глубокой осенью 1896 года, недалеко от Иркутска Красин встретил в очередной партии ссыльных, шедших по Ангарскому тракту, своего друга и товарища по борьбе Михаила Ивановича Бруснева, путь которого лежал в далекий Верхоянск. В течение месяца Бруснева содержали в Иркутской тюрьме и Красин навещал его там. Он поддерживал связь с ним и в Верхоянске.

С именем Л. Б. Красина связано начало деятельности марксистов в Иркутске. Вокруг него стали группироваться те, кто появился здесь после его приезда. Постепенно в городе складывалась первая марксистская группа, в которой Леонид Борисович играл руководящую роль. В нее входили Ромм, Шилингер, М. Цукасова и некоторые другие. Первый марксистский кружок здесь пополнялся не только приезжими. По свидетельству Феликса Кона, Красин сумел распространить знание марксизма и среди рабочих и учащейся молодежи. Авторитет его был исключительно высок.

Борьба марксистов с либеральными народниками в России к середине 90-х годов достигла большой остроты. Во главе русских марксистов стоял В. И. Ленин, и работы, написанные им в тот период, уже нанесли серьезный удар по либерально-народнической идеологии. Борьба, развернувшаяся тогда в Иркутске, представляла одно из звеньев идеологической борьбы, характерной в целом для революционного и общественного движения того периода. Достаточно было появиться в Иркутске первому марксисту, как горячие схватки с народниками стали здесь в центре общественной жизни.

В Сибири возникновение социал-демократических организаций происходило в начале 900-х годов. Большую роль в подготовке условий, необходимых для их создания, сыграли первые марксистские кружки, возникавшие в городах Сибири во второй половине 90-х годов, в том числе и такой кружок в Иркутске, одном из важнейших центров края.

Красину не пришлось еще начать пропаганду непосредственно среди рабочих города. Сам Леонид Борисович впоследствии очень скромно оценил деятельность своих коллег по первому Иркутскому кружку. Он писал, что «дальше политических споров и рефератов по вопросам марксизма дело не пошло, и ни о какой практической работе среди местного пролетариата в Иркутске тогда помышлять было нельзя, за полным почти отсутствием промышленных предприятий» (Л. Б. Красин («Никитич»). Большевики в подполье. М., 1932, стр. 45). Это было недалеко от истины: по сравнению с теми промышленными центрами, в которых ему уже приходилось работать в предыдущие годы, Иркутск был еще слаб в промышленном отношении и не имел многочисленного пролетариата. Естественно, что Л. Б. Красин остро ощущал отсутствие здесь условий для широкой пропаганды марксизма в рабочих кружках. В Иркутске приходилось начинать с того, что в Петербурге или Нижнем Новгороде было уже пройденным этапом.

Однако условия здесь очень быстро менялись. Потребовалось всего лишь несколько лет, чтобы Сибирь на всем ее гигантском протяжении превратилась в широкое поле деятельности для революционной социал-демократии. Вместе с завершением строительства железной дороги, быстрым ростом добычи каменного угля, золотодобывающей и обрабатывающих отраслей промышленности рос и мужал сибирский пролетариат. Уже в начале 900-х годов он прочно занял свое место как один из передовых отрядов революционного рабочего класса России. Посеянные Красиным первые семена марксизма в Иркутске дали свои всходы, явившись необходимой предпосылкой развернувшейся здесь вскоре деятельности социал-демократических организаций.

* *
*

Ведя пропаганду марксизма в Сибири, борясь с либеральными народниками и областниками, Л. Б. Красин осенью 1896 года написал работу «Судьбы капитализма в Сибири». Впервые она была опубликована в газете «Восточное обозрение» в октябре этого же года.

Непосредственным поводом для выступления Красина в печати послужило опубликованное в сентябре 1896 года в «Восточном обозрении» изложение лекции И. И. Попова «Восточная Сибирь на всероссийской выставке 1896 г.», прочитанной им в Нижнем Новгороде («Восточное обозрение», № 105, 6. IX—1896 г.).

Главный тезис этой статьи сводился к тому, что в Сибири капитализм не имеет условий для развития и дальнейший ее прогресс будет связан исключительно с крестьянским хозяйством. В духе буржуазных либералов и либеральных народников он проповедовал идею союза «правительства и общества». «Перед Сибирью теперь два пути, — писал Попов, — один — блестящий путь западно-европейского капитализма, другой — тернистая дорога развития существующих народных форм жизни в более высокие. Недавно опубликованная, высочайше утвержденная реформа поземельного устройства Сибири, выдвинувшая принцип государственной собственности на землю, при дружной работе правительства и общества будет направлять эволюцию народного хозяйства в сторону второго пути и спасет Сибирь от стремительного потока развития капиталистических форм» («Восточное обозрение», № 105, 6. (IX—1896 г., стр. 3).

Естественно, что марксисты не могли согласиться с подобными взглядами. Они повели решительную борьбу. Разоблачение глубоко ошибочных и политически вредных положений лекции И. И. Попова выпало на долю Л. Б. Красина, что и явилось одной из задач его статьи «Судьбы капитализма в Сибири».

Однако появление работы революционного марксиста Красина имело и более глубокие основы. Она явилась неизбежным результатом развернувшейся тогда в Сибири идейной борьбы марксистов против либеральных народников, отражавшей характерную для того времени ступень в развитии социал-демократического движения.

Редакция «Восточного обозрения» с большими колебаниями пошла на публикацию марксистской статьи. Хотя И. И. Попов впоследствии и утверждал, что они руководствовались исключительно побуждениями революционной солидарности, открывая страницы газеты для социал-демократа (И. И. Попов. Минувшее и пережитое. Л., 1924, стр. 219), но дело заключалось далеко не в этом. Статья была опубликована в либерально-областнической газете в первую очередь в связи с тем, что благодаря деятельности Красина в то время в Иркутске заметно возросло влияние марксизма, повысился интерес к социально-экономическим проблемам современности. С этим не могла не считаться редакция «Восточного обозрения».

По-видимому, сыграла свою роль и чрезвычайная популярность темы, так как вопрос о судьбах капитализма волновал многих и авторитет газеты, несомненно, выигрывал от широкого обсуждения этой проблемы. В примечании, предпосланном статье Красина, прямо указывалось, что редакция газеты не согласна с ее содержанием, но, принимая во внимание важность поднятых вопросов, идет на публикацию статьи в качестве дискуссионной, «оставляя за собой право возвратиться к этим вопросам впоследствии» («Восточное обозрение» № 121, 13. X—1896 г., стр. 2).

Субъективизму своих идейных противников Леонид Борисович противопоставил марксистский метод анализа общественных явлений, с помощью которого только и можно было вскрыть закономерности развития социально-экономических отношений Сибири и определить направление эволюции. Он подчеркивал, что исследователь в определении жизнеспособности того или иного экономического явления должен исходить прежде всего из реального положения вещей, а не из своих личных побуждений. Он сравнивал исследователя общественных явлений с хорошим врачом, который в поисках болезненных процессов руководствуется не своей любовью или антипатией к личности пациента, а тем, что он видит и слышит в организме больного. Вскрывая явно ошибочные, построенные на субъективизме выводы Попова, автор «Судеб капитализма в Сибири» писал: «Наша задача состоит в том, чтобы, основываясь на ряде положительных фактов, представляемых современной сибирской действительностью, выяснить, насколько справедлива мысль об

особенности тех путей, которыми пойдет экономическая эволюция Сибири, насколько верны надежды на развитие здесь «при дружной работе правительства и общества» «народных форм жизни» («Восточное обозрение» № 121, 13. X. 1896 г., стр. 2).

Критика либерально-народнических взглядов и анализ экономики Сибири были построены Красиным на широком применении марксистской экономической теории, в частности, главной работы К. Маркса «Капитал». Его статья в своей первой части содержала марксистское определение капиталистического способа производства, вскрывала тайну капиталистической эксплуатации, подчеркивала одно из важнейших положений марксистского анализа, состоящее в том, что капиталистическое производство принимало самые разнообразные формы не только прямо, но и косвенно, подчиняя себе труд рабочих и проникая во все сферы экономической жизни. Капитал эксплуатировал труд не обязательно в собственной мастерской, но и за ее пределами, причем эти отношения воспроизводились все вновь и вновь, расширяя и умножая формы зависимости трудящихся масс от капиталистической эксплуатации.

Прослеживая затем шаг за шагом социально-экономические отношения, существовавшие в крупной промышленности, в мелком производстве «кустарей» и сельском хозяйстве Сибири, Красин убедительно доказывал, что здесь развивался капитализм, что товарно-капиталистическая форма являлась господствующей. Капиталистический характер производства был присущ не только фабрично-заводской промышленности Сибири, но в значительной степени и «кустарным промыслам», представлявшим уже капиталистическую работу на дому. Товарно-капиталистический характер принимало и сельское хозяйство, в котором господствовал кулак и усиленно шел процесс разложения мелкого крестьянского производства. Строительство железнодорожной магистрали, по мнению автора, явилось мощным толчком экономическому развитию, каждый шаг которого в тех условиях неизбежно оказывался «новым успехом товарного и капиталистического производства» («Восточное обозрение» № 123 18, X. 1896 г., стр. 3).

Такова была картина действительного состояния экономики Сибири. Марксистский анализ показал, что все надежды на то, что Сибирь минует капитализм и пойдет по какому-то «особому» пути, являлись абсолютно несостоятельными. Статья Красина нанесла удар по областническим и либерально-народническим иллюзиям. Раскрывая тенденции развития сибирской экономики, Красин дал глубокое марксистское обоснование неизбежному росту сибирского промышленного и сельского пролетариата, развертыванию рабочего движения. Его статья подводила читателей к выводам о том, что и для Сибири не за горами время больших революционных событий, главную роль в которых будет играть рабочий класс.

По широте и глубине постановки и рассмотрения затронутых автором проблем работа «Судьбы капитализма в Сибири» далеко вышла за пределы задач критики лекции Попова. Значение ее определяется тем, что она впервые в сибирской печати дала марксистский анализ социально-экономических отношений Сибири, раскрыв основную тенденцию их развития и обосновав тем самым неизбежность роста пролетариата и его роли в общественном прогрессе.

Выступление революционного марксиста в печати показывает, что борьба против либерального народничества принимала в Сибири большой размах. Статья Красина вызвала ряд ответных выступлений со стороны его идейных противников. Но для него путь на страницы газеты был уже закрыт. Редакция «Восточного обозрения» под разными предлогами отказала в публикации новой работы Красина по этому вопросу. Однако Красин уже пробил здесь «первую брешь в твердыне народничества». Острота и значительный размах дискуссии показывает, что она носила далеко не местное значение, представляя одно из звеньев в тех больших идеологических сражениях, которые обеспечили победу марксизма в революционном движении России.

***

Деятельность Л. Б. Красина в сибирской ссылке открыла первую страницу в истории марксизма и революционной социал-демократии в центре Восточной Сибири. Хотя она не завершилась еще непосредственно созданием в Иркутске социал-демократической организации, что произошло несколько позже, однако сыграла большую роль в подготовке необходимых для этого предпосылок.

Гласный надзор полиции заканчивался 1 апреля 1897 года. Это не означало еще получения полной свободы. В конце марта департамент полиции сообщил в Иркутск о том, что впредь до особого распоряжения Красину запрещалось жительство в столицах и в Петербургской губернии. Кроме того, ему в течение двух лет был закрыт въезд в университетские города, в Ярославль и в Ригу. Гласный надзор полиции теперь был заменен негласным.

Однако это продолжалось недолго. Фортуна и на этот раз улыбнулась Леониду Борисовичу. Благодаря настойчивости родственников ему было выхлопотано разрешение завершить прерванное образование в Харьковском технологическом или Рижском политехническом институте. Воспользовавшись полученным разрешением, Леонид Борисович вскоре покинул Иркутск. Новые встречи, новые революционные дела ждали его там, где вскоре развернулась кипучая деятельность ленинской гвардии по созданию великой революционной партии российского пролетариата. Красин занял свое место в ее славных боевых рядах. Уже в начале 900-х годов он стал широко известен как один из организаторов революционного социал-демократического движения.

Ю. Климов

«ДЕРЕВЕНСКИЕ ГЛАВЫ» РОМАНА К. ФЕДИНА «КОСТЕР»

Писательское мастерство — животрепещущая, всегда современная, вечно острая проблема, ибо нет и не может быть предела художественному совершенствованию. «Как передать свое чувство, свою мысль, как выразить их в образе и притом именно по-своему, отлично от других, — кто из нас не мучился этими поисками, не мучился уже и в зрелые годы, уже казалось бы, достигнув мастерства». Эти слова, сказанные К. Фединым на IV Пленуме правления Союза писателей СССР, выражают самую суть литературного творчества — вечный труд, беспрерывный поиск, неустанную учебу.

Художественное мастерство определяется прежде всего тем, в какой степени овладел писатель главным материалом своего творчества — языком. Как бы ни радовала глаз изящность архитектуры, какой бы искусной ни была планировка здания, оно не будет иметь ценности, если на его постройку пошел сырой, недоброкачественный кирпич. Признанные мастера литературы всегда ориентировали молодежь на освоение неисчерпаемых богатств нашего могучего языка.

В этой статье мы ставим целью показать К. Федина — художника слова. Предметом исследования избрано последнее произведение писателя, роман «Костер», причем не вся опубликованная уже часть, а лишь первые две главы. Обращение к этому материалу обусловлено не столько соображениями относительной композиционной целостности, сколько своеобразной манерой изложения, оригинальностью стиля деревенских глав. Когда в 1961 году в журнале «Новый мир» было опубликовано начало романа, читателей привлекла и захватила стихия живой поэзии, ароматной народной речи. Колоритный, живописный рассказ, характерные крепко сбитые диалоги, картины родной природы придали деревенским главам неповторимую свежесть, оригинальность, лиризм.

Критик В. Смирнова по свежим следам писала автору «Костра»: «В общем, начало очень щедрое и многообещающее и все-таки неожиданное (я еще не улавливаю композицию всего романа, но что-то мерещится уже). Густо написано и при этом лирично, словно автор сам что-то вспоминает вместе с героями.

...А вообще такое введение в текст «народной речи», даже в авторскую речь — это ведь труднейший и рискованный прием, а у Вас ни одной фальшивой ноты! Здорово!»

В. Смирнова превосходно уловила основную тенденцию стиля — слияние глубокой и сильной лирической струи со стихией простой, безыскусной народной речи. На этих сторонах стиля мы и остановим свое внимание.

К. Федин справедливо отмечает, что основой в литературе является искусство рассказа. Перед художником, приступающим к воплощению творческого замысла, всегда встает определенная сложность: как вести повествование — от первого или от третьего лица, каков должен быть словарь, как организовать ритмику произведения и т. д.

Безусловный успех «деревенских глав» в том, что писатель сумел создать неповторимый образ лирического героя, рассказчика, от имени которого ведется повествование.

Убедительность и правда языка автора — в глубокой народности и реалистичности. К теме народа, к теме деревни Федин обратился не случайно. В годы борьбы с фашистским нашествием здесь во всей полноте проявилось величие духа народного. Ключом к раскрытию идейного замысла этой части произведения могут служить слова нового героя трилогии — Матвея Веригина: «На деревне стоим. Надо — она дерется. Надо — замиряется. Да всегда пашет».

Развертывается нить рассказа вокруг основного события: приезда в Коржики Матвея Веригина. Через предысторию семьи кузнецов Веригиных писатель дает четкий разрез жизни деревни на протяжении нескольких десятилетий. Вот тут-то атмосферу времени и крестьянского мироощущения превосходно передает язык.

«У кузнеца Антона Веригина, дедушки Матвея, было два сына — близнецы Илья и Степан. Илью отец оставил у себя в кузнице: он выдался хоть и слабее, но сноровистее брата, которого отправили искать городских заработков. В деревне толком не знали, сколько городов перевидал Степан, много ли переменил хозяев и велики ли заработки — от него долго не было ни вести, ни повести». Уже определенный подбор лексических единств («искать городских заработков», «переменил хозяев») создает обстановку времени. Совершенно очевидно, Федин берет понятия и образы, рожденные в глубинах народных. Густая, нерафинированная речь придает стилю характерный народный аромат. Художник, преломляя действительность как бы через видение человека из народа, достигает правдивости, живости рассказа, экспрессии. Здесь все дело

в качестве слова. Вместе с народными образами и понятиями врывается на страницы романа жизнь дореволюционной деревни. Слышно, как мучительно стонет и бедствует разоренная царем Россия. Какие горькие, берущие за душу слова родились в народе и злой недоле: «...не пускай ты меня, горькую солдатку, по миру, чего буду я с малыми ребятами делать, куда пойду с Матвейкой да с Миколкой, с племянниками твоими родными, заставь за себя вечно богу молить, как за отца родимого, не истребуй ты, пожалуйста, с меня деньги, какие у меня, горемычной, деньги, нынешний год опять сколько посеяли, столько сняли, а я одна-одинешенька, с ног сбилась, ночей не сплю, из головы не идет прокормиться бы чем...»

Такое письмо отправила жена Ильи Веригина его брату. Автор не дал ей имени, но образ этой женщины вырастает до обобщения большой силы: сколько подобных солдаток мыкало горе, не находя выхода из черной недоли. По общему настрою, по лексике письмо напоминает плачи русских женщин. Видимо, не случайно названо оно в тексте «слезницей».

Народная лексика врастает не только косвенно, но и прямо в авторскую речь. Приводить примеры — значит переписывать страницу за страницей. Чтобы показать, как сколачивается фраза, возьмем на выборку кусочек текста: «Хоть и вдовец с двумя ребятишками, Илья считался бы неплохим женихом — в руках его было доброе ремесло. Но он хворал. Долго ли коротко ль маяться с болящим да вдруг овдоветь с чужими ребятами на горбу — на такую долю не польстится даже труженица без ропота и расчета».

За этими строками видится мудрое и светлое лицо рассказчика — человека бывалого, много повидавшего на своем веку, хорошо понимающего многотрудную крестьянскую жизнь, слышится неторопливая, плавная речь сказителя с характерными сказочными интонациями и формулами. Здесь что ни слово, то исконное русское, народное, бесхитростное и прямое. Мы не ощущаем, вместе с тем, никакой надуманности, претенциозности, выспренности. Каждое словечко емкое, круглое, крепкое, и все они сцеплены незыблемой связью, сплавлены в единый полновесный слиток. Совершенно невозможно опустить или заменить одно слово другим без того, чтобы не разрушилась целая конструкция. По словам Л. Толстого, язык истинно художественного произведения — это язык «с единственно нужным размещением единственно нужных слов». Ну вот, например, «ремесло», замените его идентичным понятием «профессия» или даже «дело», стилистически более близким, и вы почувствуете, что исчезнет свой особый привкус, растворится и ослабнет какой-то присущий только ему настой. Также и замена «хворал» на «болел» взорвало бы и уничтожило всю фразу. Характерная деталь — в следующей фразе, чтобы избежать повтора писатель должен был найти синоним к определению «хворый», но опять намеренно избегает прилагательного «больной», как нехарактерного для крестьянской речи того времени, а значит, стилистически неоправданного, и берет «болящий», которое соответствует всей стилевой направленности.

Хочется остановить внимание еще на одном слове — «доля». В художественном произведении территория слова не ограничивается рамками информации, сообщения. Его смысловое значение живет рядом с экспрессивной наполненностью, дающей слову запах, вкус, цвет. Когда писатель ищет нужное слово, это не значит, что ему необходима лишь нейтральная оболочка мысли. У Льва Толстого есть великолепное определение художественного слова в отличие от нехудожественного. Великого писателя поразила проницательность яснополянского школьника Федьки Морозова, который однажды в сочинении на заданную тему написал: «Кум надел бабью шубенку». Сразу не догадаешься, — пишет Толстой, — почему именно бабью шубенку, — а вместе с тем чувствуешь, что это превосходно и что иначе быть не может. Каждое художественное слово, принадлежит ли оно Гёте или Федьке, тем-то и отличается от нехудожественного, что вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений».

Слово «доля» в нашем отрывке вызывает целый рой ассоциаций, оно несет не только мысль, но и указание на определенный градус на шкале экспрессии. Русское народное творчество придало ему свой особый колорит.

Фольклорный оттенок присущ и словосочетаниям «ни вести, ни повести», «долго ли, коротко ль», кажется, что они перекочевали в авторскую речь прямо из русских народных сказок. Федин охотно прибегает к устойчивым сказочным и былинным формулам. Шелковой вязью вплетаются в повествование поэтические обороты народного творчества. Вот как своеобразно пользуется ими автор для портретной характеристики Матвея Веригина: «Завистливым он не был (отец Матвея — Ю. К.), но тут взглянет на Матвея, как он, молодцуясь, одергивает свою чистую рубаху, огребает кудри округ белого лба и статно умещается за стол как раз против Мавры, — взглянет Илья и увидит себя рядом с ним чуть что не хилым, и опять защемит горечь». Конечно, портрет Матвея можно было бы дать и другими словами, но, значит, это было бы и совсем другое произведение. Читатель не только наглядно может представить себе образ молодца, но видит его глазами отца парня, понимает его чувства, вместе с ним ощущает и ту горечь, которая подступает к сердцу старика. Былинные образы являются здесь отнюдь не для стилизации под фольклор, они выполняют художественную задачу. Хворому Илье именно таким богатырем из русской былины и должен казаться молодой, красивый сын.

Словарь деревенских глав «Костра» своеобычен, красочен, живописен. Золотыми блестками рассыпаны в речи повествователя мудрые народные пословицы и поговорки. Порой бывает трудно различить, что здесь принадлежит народу, а что — изобретательности писателя.

Пословица — это экстракт жизненного опыта, накопленного народом на протяжении многих столетий. Умелое использование пословиц освобождает писателя от излишней затраты слов, одним росчерком дает явлению или событию живость, законченность, оценку.

Автор очень скупо, лаконично, меткой пословицей сумел передать атмосферу целого исторического периода: «Старые лесные дороги новоселы перерывали канавами, заваливали сучьями, чтобы народ не заезжал, куда не след: от лишнего глаза добра во двор не жди. Стали жить по заветному — всякий Демид себе норовит». И немного дальше: «Деньги вошли в силу, и, казалось, куда деньга пошла, там и копится: богатые пузатели, бедные тощали». Автор схватил самую существенную особенность НЭПа в деревне: тягу хозяев побогаче на хутора, оживление частнособственнических интересов. Скучную и длинную описательность заменили живые, яркие, образные пословицы. Уже в самом имени Демид, в удачно найденной пословице спрессован образ кулака.

Остановимся еще на одном творческом приеме автора «Костра». В романе постоянно ощущается дыхание времени, определенной эпохи. Достигается это и, между прочим, введением в текст слов, рожденных этой эпохой: «Никогда прежде не повторялось издавнее словцо кулак так часто, как в эту годину, и сама она навечно запечатлелась в памяти своим именем — раскулачивание». Ту же характеристику времени с помощью характерных для него слов наблюдаем и в сле-

дующем отрывке: «Потом наступила новая пора, пришло в Коржики новое слово — НЭП, и это убавило смелости одним, понабавило другим».

Своеобразие стиля «деревенских глав», как мы отмечали выше, состоит в слиянии колоритной народной речи с глубоким лиризмом. Лирическое начало связано с образом Матвея Веригина. Много лет назад оставил он родные Коржики. Служба в армии, работа шофером в Москве придали новые черты его духовному облику, но Матвей не утратил кровной связи со своей родной средой. Общение с городской культурой сделало духовную жизнь героя богаче, глубже, осознаннее. Разбирая произведение одного молодого автора, К. Федин писал: «Нет, не так изживаются существенные различия между городом и деревней в наши дни. Все происходит проще, естественнее, здоровее. Характеры не **истончаются**, а оттачиваются, сохраняя свои особенности, свою историческую, природную **стать**. Не в том дело, что были грубы, а стали субтильны, как это произошло с вашей героиней. А в том, думаю я, что небыкновенно быстро, властно и умно люди развили в себе чувство хозяина земли и тех заложенных в них способностей и талантов, которые прежде дремали либо были подавлены.

Вот почему той части, где речь идет о России дореволюционной, несвойственна и лирическая окраска стиля. И, напротив, в повествовании о новых героях, о новом времени густота народной речи значительно разреживается, усиливается поэтическая струя. Лирические куски, отражая настроение героя, содержат в себе гораздо большее поэтическое излучение. Тогда-то и кажется, что автор «сам вспоминает» что-то вместе с героями, заражается этими воспоминаниями читатель.

«Чем дольше не был в доме, где вырос и оставил свои ранние годы, тем беспокойнее стучит сердце, когда опять приближаешься к родному порогу.

Кажется, давно уже все позабылось, поросло мохом и грибами, да вдруг выглянет на повороте дороги какая-нибудь дряхлолетняя сосна, по которой карабкался мальчишкой, — висел где-то на суку, под небесами, посвистывая Соловьем-разбойником, — и сами остановятся ноги.

Глядишь, глядишь на разлапую вершину и дивишься: да неужели ты все еще прежняя, какой была тогда? А я-то думал — уже больше ничего не повстречаешь былого, все переменилось или ушло. Но забвение — только дымка: дунет ветром — ее нет».

Весь отрывок — своеобразное стихотворение в прозе, которое могло бы существовать независимо от текста. Оно не оставляет равнодушным, пробуждая в душе воспоминания, которые есть у каждого. Воспоминания вообще имеют огромную чувственную силу, тем более если они касаются самой нежной поры жизни. Но дело не в воспоминаниях только, а в способе, которым автору удается всколыхнуть чувства и думы читателя. Попробуем разобраться в этом.

В приведенном отрывке сталкиваются две временные плоскости — далекое детство и сегодняшняя зрелость. Отсюда своеобразное строение фразы с противопоставлением: «Чем дольше не был в доме, тем...» «Кажется, все позабылось, да вдруг что-то напомнит...» и т. д.

Особо выразителен эпитет «дряхлолетняя», не дряхлая, а древняя, многолетняя. Не одно поколение мальчишек карабкалось на ее сучья, потом взрослело, старилось, а она все стоит нетленным свидетелем бездумного, шаловливого детства. Раздумья героя у этой сосны означены повторяющимся глаголом «Глядишь, глядишь». Затем следует глубоко взволнованный вздох: «а я-то думал». Завершающим аккордом, как афоризм, звучит последняя фраза: «Но забвение — только дымка: дунет ветром — ее нет». Весь этот поэтический кусочек подернут легким флером задумчивой грусти о ясных днях детства, унесенных бурным потоком времени. Он служит введением в мир узнавания и воспоминаний, концентрирует чувства, которые будут владеть героем в период его короткого отпуска. Экономно и в то же время живо, взволнованно создается поэтическая атмосфера.

Так же чеканно выполнена одна из самых лирических сцен романа — утренняя рыбалка братьев. Начинается она коротким звонким пейзажем: «Это были июньские ранние зори. Сквозь береговые заросли ветелок и ольхи пробилась на водную гладь медно-алая россыпь восхода». Как броско, пластично, ощутимо показан рассвет! Затем в поэтический пейзаж вплетается самая «низкая проза». Обстоятельно замечается, как были выбраны для начала самые жирные червяки, как рыбаки поплевали на них для-ради удачи. И опять молниеносный пейзажный снимок. Картины природы даны как бы через восприятия героев, вернее — одного героя, Матвея: когда рыболов занят выполнением древнего, требующего особого внимания ритуала, по сторонам глядеть некогда, в поле зрения попадает лишь самое яркое, самое существенное. Но вот наступил такой момент, когда глаза уже устали смотреть на поплавки, словно вмерзшие в неподвижную поверхность воды. Следуя психологической правде образа, писатель теперь уже подробнее, детальнее рисует окружение. Хочется обратить внимание на одну подробность, которая несет известную поэтическую и психологическую нагрузку, становится многозначительным символом. «Вдали, у береговой кромки острова, вынырнула черноголовая птичка, приподнялась над водой, всхлопнула крыльями, отряхнулась, сунулась легкими пловками туда-сюда, точно что-то потеряла, и вновь нырнула, показав острый хвостик. Ярко-светлые круги побежали по воде, шире, шире, и первый, медленно теряя яркость, докатился до плавников и чуточку качнул их».

Дело здесь вовсе не в том, чтобы ввести яркий штрих, дающий картине большую глубину и правдивость. Значение содержания этого образа становится ясным несколько позже.

Осталось у Матвея в родных местах больное воспоминание — первая любовь, вспыхнувшая в белоствольной роще. Любовь была несчастной. Шумные и стремительные городские годы заглушили сердечную рану. Знакомые места, ясные розовые зори с предельной яркостью вызывали в памяти нежный девичий образ. Матвей не раз, конечно, подумал об Агаше, подумал с грустью, сохранившей остроту утраты. Автор не говорит нам об этом прямо. Подводные, едва уловимые чувства, может быть не совсем понятные и герою, откристаллизовались в чудесной маленькой сценке. Черноголовая уточка развеяла дымку забвения, и, как дряхлолетняя сосна напомнила о детских годах, так и она жгуче осветила в памяти пору юности. Под впечатлением этих воспоминаний проходит утро, и в это самое утро Матвей встречает живую, реальную Агашу — больную, уставшую женщину с увядшими щеками и губами: время оставило свой след и здесь. Инерция памяти сильна: «С огнем узнавания вспыхивает в памяти солнечный лес, и пылающий красками юный облик, и первое нескончаемое рукопожатье». Резкая контрастность очень действенна, она в данном случае стократ усиливает поэтический колорит, к контрастному оттенению охотно обращаются все мастера литературы, как к сильнейшему средству воздействия на читателя. После встречи Матвея с Агашей писатель дает расшифровку символа: ничего не остается таким, каким оно было — все изменяет время, — Матвей впервые ясно понял это: «И когда нашел ответ,

с болью думая о прежней Агаше, воображение повторило ту минуту восхода, когда он следил с Антоном на пруду за уточкой. исчезнувшей бесследно. Так было с Агашей: ранним утром нежданно вынырнула она перед его глазами, всплеснула солнечными брызгами, да и канула в воду навсегда. Ушло на дно счастье, затянулось илом—нечего его искать! Пришла пора другим счастьем жить, другим и дорожить...»

Сильное лирическое чувство сопутствует картинам природы. Это не развернутые, самостоятельные, выгравированные в манере Тургенева пейзажи. Своеобразие фединских пейзажей в «Костре» — в их относительной краткости, немногословности, немедленном и бодром воздействии на героя.

Вот, например, в самом начале романа дано отчетливое и прозрачное изображение весеннего леса: «В рябине лоснившихся зайчиков прочерчивались полунагие розовые стебли, раскачиваемые ветром, и казалось — слышно было, как стебли ласково хлещут и прищелкивают по молодой листве. Весь этот шелест несся поверх леса, а по самой чаще, низом, глухо пробирался шорох еловых лап, окропленных остриями почек, пестревших своей оранжевой чешуей». Молодой свежестью веет от пробудившейся природы. Именно это и ощущает Матвей, окунувшись в зеленое, шумное раздолье: «Благоуханье почвы с ее травами, смолистой хвои, пряной бересты оживило, как после речного купанья». И сравнение Федин берет особо выразительное, резко ощутимое, вызывающее хорошо знакомые каждому ассоциации.

Картины природы родной страны бесконечно дороги и близки сердцу человека. Порой простые, самые обычные, будничные пейзажи способны породить глубокое волнение в душе человеческой. Набрасывая этюды с натуры, Федин следует традициям своих великих предшественников — Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова... Красоту, поэзию писатель находит в самом знакомом, тысячу раз повторенном. Удивительно близка по духу пушкинской живописи следующая зарисовка из «Костра»: «Вот рано утром наперегонки завинтились печные дымы над избами; вот нечаянно долетели с дальнего поля трескучие выхлопы мотора, будто целая орава ребят начала щелкать орехи; вот на бельевую веревку опустилась сорока и закачалась, поднимая и вздергивая долгоперый хвост, и процокотала в ответ орехам свое горластое трра-та-та-та.

И сжалось сердце: мой дом, мой дом».

Нет ничего экзотического, диковинного в этом отрывке, а мы чувствуем вместе с героем, как сладко замирает и сжимается сердце. Константин Паустовский справедливо заметил однажды: «Если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой, вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать».

Умение писателей увидеть явление по-своему, с новой, не освещенной до него стороны, причем пользуясь обычными средствами, доставляет читателю чистую радость открытия.

Размеры журнальной статьи не позволяют раскрыть и показать все особенности творческой манеры автора «Костра». За пределами анализа остались такие стороны художественного мастерства, как характеристика персонажей посредством их речи, диалогов и т. д. Все эти вопросы требуют особого рассмотрения.

ТРИ КНИГИ—ТРИ ДРУГА

Книга для детей, даже самых маленьких,—разговор о большом мире чувств и мыслей, о многообразии жизни. В этом отношении к литературе для детей предъявляются те же требования, что и к литературе взрослых. Но у книги детской — свои законы, без учета которых ни один художник слова не найдет ключа к сердцу своего читателя. Такие законы, думается, можно свести к трем: увлекательность, поучительный смысл, живой, разговорный язык, с первой фразы располагающий к задушевной беседе. Еще одно — менее обязательное, но важное: юмор. Высмеять, насмешить, поставить в неловкое, нелепое положение какого-нибудь лентяя, неумеху, лгунишку или труса — прекрасный способ обличения в детской книге. Да и вообще писатель, умеющий развеселить, рассмешить ребят умной шуткой — добивается многого.

Что же касается «маршрута» произведения — сюжета, своеобразия его, — то тут писатель волен на любой поворот. Доказательство тому — три книги Иркутского книжного издательства.

Леонид Огневский. **Как мы заблудились в тайге.**

Автор заставляет своих читателей «заблудиться» в тайге вместе с Генкой — маленьким, боязливым Генкой, хорошо усвоившим со слов своей мамы, что он — трусишка — и куста побоится. Насчет куста мама немного преувеличивала, а вот драчуна Федьки Запекина, умевшего и на березу взобраться и выстрелить из ружья, — Генка в самом деле боялся.

Прошли сутки, наполненные событиями, казавшимися Генке необыкновенными. Главное же — эти события вызвали у мальчугана не испытанное прежде чувство долга перед товарищами, сознание своей самостоятельности. И все изменилось — Федька, умевший уважать смелых и сильных людей, говорит с прежним «замухрышкой», как с равным, а сам Генка преисполнен спокойной уверенностью бывалого человека. И мы верим в такое скорое превращение, верим благодаря писателю, воплотившему в мыслях и поступках Генки — его ребячье бескомпромиссное стремление стать таким, как идеал его: учитель Павел Петрович, старшеклассник Тимур и чуть-чуть Федька Запекин.

Иван Пантелеев. **Тапочки.**

Если Леонид Огневский раскрывает характер своего маленького героя, показывая, как преодолевает он страх, то Иван Пантелеев от лица своих героев ведет разговор о проблемах более сложных: о дружбе и товариществе, о воспитании воли, честности, благородства. Интересное происшествие не служит для писателя самоцелью. Он увлекает изображением характеров, более того, — развитием этих ребячьих, по-своему сложных характеров. Потому-то все герои запоминаются и внешним обликом и духовным складом. Просто, задушевно Иван Пантелеев подводит рассказы к развязке, не ставящей последнюю точку. Читатели-дети должны призадуматься над тем, чем же окончится история с тапочками; как и чем сможет Зеленый — Петька — искупить свою вину не только перед родителями и фронтовым другом отца, но и перед своей пионерской совестью. И в спорах вокруг злоключения первой пьесы Кольки Корнева («Как я стал писателем») придется разобраться самим ребятам. Даже в конфликте учительницы Елены Михайловны и директора школы они смогут иметь собственное мнение.

Рассказы Ивана Пантелеева будят мысль, заставляя волноваться, искать верного решения, а это — драгоценно для детской книги.

Такого же интеллектуального воздействия на юных читателей, но совершенно иными средствами достигает Юрий Самсонов.

Юрий Самсонов. **Максим в стране приключений.**

Повесть Юрия Самсонова соткана из фантастических приключений Максима, проникшего в «страну чудес». Не трудно представить, как увлеченно, затаив дыхание последует за Максимом мальчишка, жаждущий подвига, или девочка, смелостью напоминающая героиню повести — Еловую Шишку. Ребята полюбят и находчивого карлика Бульбуля — третьего в маленькой дружной группе спасителей страны чудес от нашествия войска Топуса Второго — войска всесильных «пузырей».

Не туристом, не человеком, озабоченным только своей свободой, а благородным борцом за прекрасную «страну чудес» станет тот, кто вместе с Максимом, Еловой Шишкой и Бульбулем пройдет через повесть Юрия Самсонова.

Фантастика повести, заключенная в реалистическую рамку (начало и конец), настолько психологически мотивирована, что не вызывает даже у взрослого читателя необходимости привыкать к условностям и остроумным выдумкам автора. С первой до последней строки все столь же правдоподобно, сколь и фантастично. Но главное, пожалуй, в «пульсе» книги — в мысли ее, не бьющей в глаза, а воплощенной в образы,— в мысли о красоте подвига, о величии смелого, отзывчивого и умного человека.

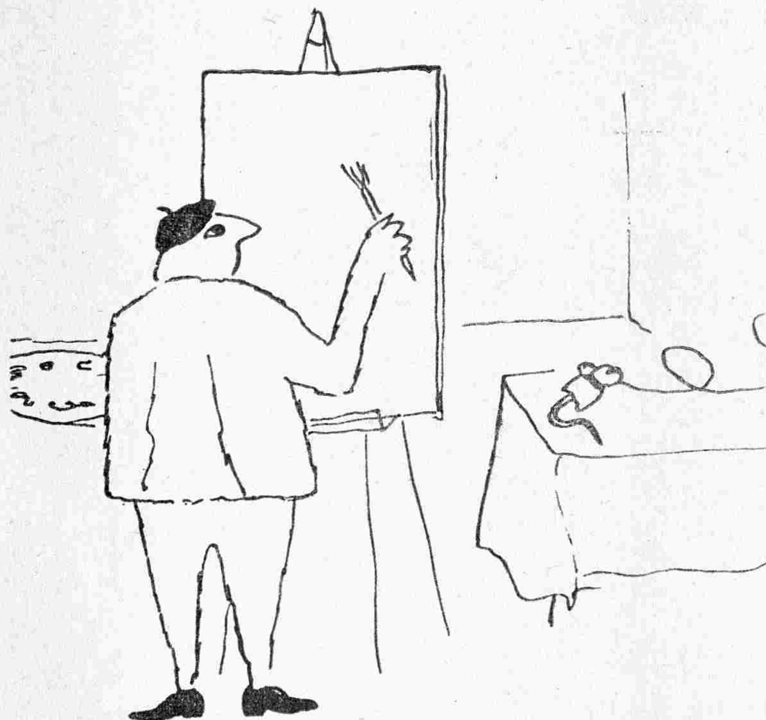
Верно найденный стиль, тон повести Юрия Самсонова во многом определяется ее юмором. Если в кни-

ге Леонида Огневского ощутима улыбка автора, скрытая под серьезностью, с какой Генка говорит о своих бедах и радостях, а Иван Пантелеев наделяет юмором своих героев, то Юрий Самсонов, ни к кому особо не «прикрепляя» чувство юмора, делает его своим главным оружием в обличении зла: тирании, лицемерия, нелепой самонадеянности и хвастовства. Юмор пронизывает ткань повествования и особенно сказывается в деталях, рисующих внутреннее убожество врагов «страны чудес». Какой огромный смысл кроется хотя бы в том, что пузыри толстеют от лести, худеют от малейшего порицания и совершенно сникают от правды.

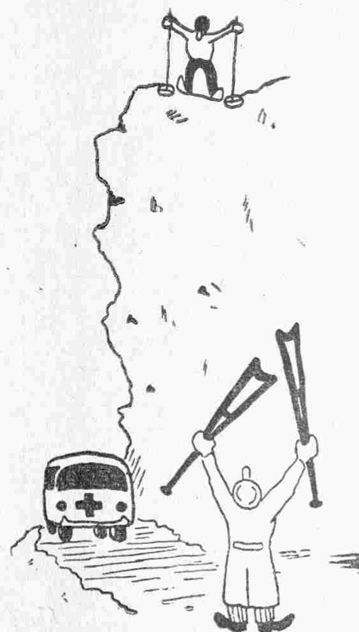
Долгая, серьезная работа Юрия Самсонова над повестью дала прекрасные результаты. Требовательный к себе писатель удалил все лишнее, эффектное, но затруднявшее чтение. Ярче выделил основную проблему — победы разума, отваги над глупостью, бездарностью, самодурством. Короче — книга стала именно такой, какой поймут и полюбят ее юные читатели.

А. Р.

Сатира и юмор



В. Смагин. Тонкая натура.

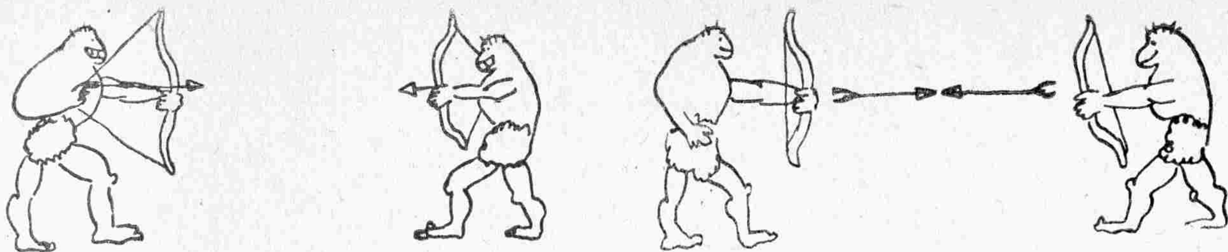


П. Сумин. Бросайте лыжные палки, они вам больше не понадобятся.

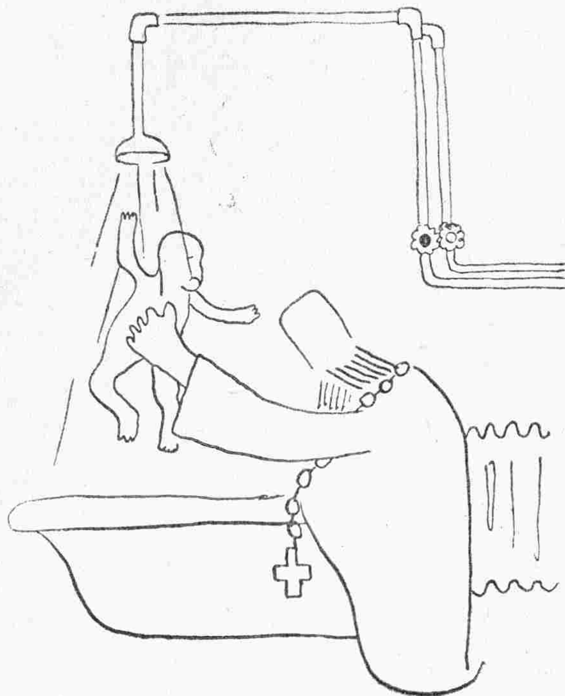




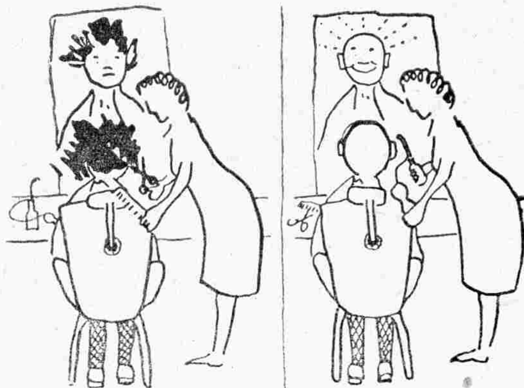
В. Смагин. Юморист.



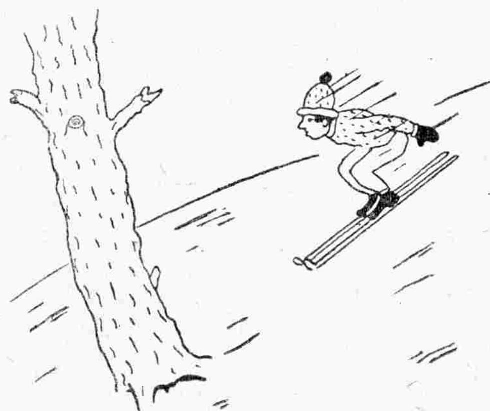
В. Грачев. Упражнение на точность попадания.



В. Грачев. Крещение в благоустроенной церкви.



В. Грачев. К весне.

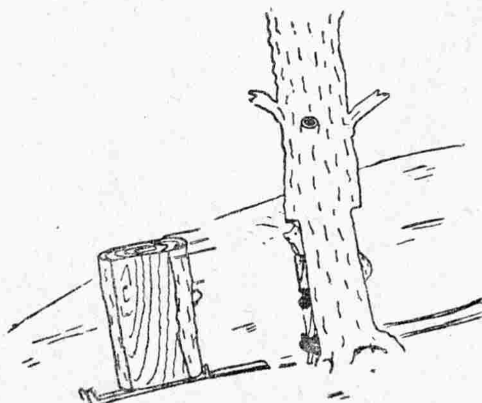




П. Сумин. Глубоко задумался.



П. Сумин. Без слов.



П. Сумин. Без слов.

Л. Ханбеков

ПЕРЕНЕСИТЕ МУЖЕСТВЕННО ЭТИ ШАРЖИ... ДРУЖЕСТВЕННЫЕ

Марку Сергееву, автору многочисленных сборников стихов, очерков, детских и взрослых книг



«Бывают разные усталости,
неповторимые, как дни...»

Талант мой, ты не знаешь жалости!
То ты могуч, то слаб и хил.
Бывают разные усталости,
Бывают разные стихи...
А мне хотелось бы,
Хотелось бы,
Чтоб каждый был, как хлеб, земля,
Чтоб каждый в жизни был у дела,
Как «шпалы» и как «тополя».

Анатолию Преловскому, автору сборников стихов с лесным уклоном «Багульник», «Просека» и других

Хочу, друзья, сейчас сказать я
О том, как жил, о том, как был,
Шел «Просекой»,
«Рукопожатьем»
Свою дорогу я рубил.
О том, как вырастил «Багульник»,
И на этюды в горы шел,
И вас сейчас спросить могу ли,
Отцвел он или не отцвел?
А что сказать мне о березах?
Они по-прежнему грустят,
Что не пишу о них, белесых...
Лес рубят — сборники летят.



Вик. Лесовик

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Шептал он в сотый раз,
Как вновь:
— Моя ты первая любовь!
Его не упрекнешь в обмане
За донжуанские дела:

Встречались раньше
Тани,
Мани,
А Люба — первая была.

РЕВИЗИЯ

Проводит ревизию Мышкин
У Кошкина, зава столовой,
И в акте отнюдь не излишки
Он пишет рукою суровой.
Ах, Кошкин!

Он как ни старался,
А Мышкину в лапы попался.
Возможны такие коллизии
Лишь только во время ревизии.

НИ ПУХА НИ ПЕРА

За несусветную муру
Лихих собратьев по перу
В газете на летучке крыли,
Да так, что пух летел из крыльев.

Они с прошедшего утра
Собратья по перу и пуху...
Им скажем для поднятья духа.
Друзья!
Ни пуха ни пера.

Макар Серегин

МЫСЛИ В РОЗНИЦУ

Когда гости узнали, что на обед будет курица, — они приехали с первыми петухами.

* * *

Это зеркало неверно отражает мою действительность...

* * *

В доме была хорошо организованная паника.

* * *

Из детей, которых находят под кустом, вырастают кустари, а из тех, кого приносят аисты — аистократы.

* * *

Племянник одного грозного редактора любил повторять: «Мой дядя — самых честных правил!»

* * *

Вероятно, в этом городе круглый год была гололедица: в домах только и знали, что говорили на скользкие темы.

* * *

...Одни идут по стопам своих учителей, другие — по стопкам.

* * *

Очень любил иностранные слова. Цыгана, который воровал лошадей, называл «коньспиратором».

* * *

Он сказал так много слов и о столь многом, что речь его охарактеризовали одним словом — бутербред!

Альманах «Ангара» № 1

Редактор *С. Н. Маневич*

Худож. редактор *Е. Г. Касьянов*

Техн. редактор *А. В. Пономарева*

Корректор *Л. В. Глаголева*

Сдано в набор 21 января 1964 г. Подписано к печати 31 марта 1964 г. Печ. л. 14,76. Уч.-изд. л. 16,04. Бумага 84 x 108[1]/16. Заказ № К-31. Тираж 2000. НЕ 03231. Цена 60 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство, ул. Горького, 36.

Типография № 1 Иркутского областного управления по печати, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11.

60 к.

